



ISSN 2412-8562(print)
ISSN 2658-7777(online)
doi: 10.32603/2412-8562

ДИСКУРС
Том 7. № 2/2021

DISCOURSE
Volume 7. No. 2/2021

Санкт-Петербург
Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

Saint Petersburg
ETU Publishing house

2021

ДИСКУРС

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-62347 от 14.07.2015.

Подписной индекс по объединенному каталогу «Пресса России» 71225.

Учредитель и издатель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина)» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).

Издается с сентября 2015 г., выходит шесть раз в год.

Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ, индексируется и архивируется в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), является членом Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ) и CrossRef.

Языки: русский, английский.

Редакция журнала: 197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 5, тел. / факс: +7 (812) 234-10-13, e-mail: discourse@etu.ru, <http://discourse.etu.ru>

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор

А. Ф. Иванов, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный электротехнический ун-т «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), СПб., Россия

Заместитель главного редактора

Н. К. Гигаури, канд. техн. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный электротехнический ун-т «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), СПб., Россия

Ответственный секретарь

М. Ю. Лютиков, канд. ист. наук, Санкт-Петербургский государственный электротехнический ун-т «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), СПб., Россия

Г. А. Баева, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный ун-т, СПб., Россия

Е. В. Боднарук, д-р филос. наук, доц., Северный (Арктический) федеральный ун-т им. М. В. Ломоносова, Архангельск, Россия

А. О. Бороноев, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный ун-т, СПб., Россия

С. С. Бразевич, д-р социол. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный ун-т, СПб., Россия

А. В. Волков, д-р филос. наук, проф., Петрозаводский государственный ун-т, Петрозаводск, Россия

П. П. Дерюгин, д-р социол. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный ун-т, СПб., Россия

Д. Ю. Дорофеев, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский горный ун-т, СПб., Россия

Ю. А. Дубовский, д-р филос. наук, проф., Пятигорский государственный ун-т, Пятигорск, Россия

С. М. Елисеев, д-р полит. наук, проф., Ун-т при межпарламентской ассамблее ЕВРАЗЭС, СПб., Россия

В. И. Игнатъев, д-р филос. наук, проф., Новосибирский государственный технический ун-т, Новосибирск, Россия

А. А. Изгарская, д-р филос. наук, доц., Новосибирский государственный ун-т, Новосибирск, Россия

Е. Н. Лисанюк, д-р филос. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный ун-т, СПб., Россия

Б. В. Марков, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный ун-т, СПб., Россия

Т. В. Мельникова, д-р филос. наук, доц., Сибирский федеральный ун-т, Красноярск, Россия

В. П. Милецкий, д-р полит. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный ун-т, СПб., Россия

С. И. Росенко, д-р социол. наук, проф., Национальный государственный ун-т физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, СПб., Россия

И. Б. Руберт, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный экономический ун-т, СПб., Россия

Е. Г. Соколов, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный ун-т, СПб., Россия

А. В. Солдатов, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный морской технический ун-т, СПб., Россия

А. Ю. Сторожук, д-р филос. наук, вед. н. с., Ин-т философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия

Е. В. Строгеецкая, канд. полит. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный электротехнический ун-т «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), СПб., Россия

Н. А. Трофимова, д-р филос. наук, доц., Высшая школа экономики, СПб., Россия

В. В. Тузов, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный электротехнический ун-т «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), СПб., Россия

С. В. Чебанов, д-р филос. наук, проф., Санкт-Петербургский государственный ун-т, СПб., Россия

С. И. Черных, д-р филос. наук, доц., Новосибирский государственный аграрный ун-т, Новосибирск, Россия

А. А. Шумков, д-р филос. наук, доц., Санкт-Петербургский государственный электротехнический ун-т «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), СПб., Россия

С. В. Шустова, д-р филос. наук, доц., Пермский государственный национальный исследовательский ун-т, Пермь, Россия

В. В. Щербина, д-р социол. наук, проф., Российский государственный гуманитарный ун-т, Москва, Россия

М. П. Яценко, д-р филос. наук, доц., Сибирский федеральный ун-т, Красноярск, Россия

Balkrishna Vithal Bhosale, Ph. D., Prof., University of Mumbai, Mumbai, Indian

Kristina Štrkalj Despot, Ph. D., Prof., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Croatia

Nesteruk Aleksey, Ph. D., Prof., University of Portsmouth, Portsmouth, United Kingdom

Zhang Baichun, Ph. D., Prof., Beijing Normal University, Beijing, China

Цели и тематика:

Журнал «ДИСКУРС» – периодическое международное рецензируемое научное издание – представляет результаты научных исследований российских и зарубежных ученых и ориентирован на социогуманитарные проблемы развития общества. Материалы публикуются по трем направлениям, соответствующим группам научных специальностей:

- Философские науки (онтология и теория познания; этика; логика; философия науки и техники; социальная философия; философская антропология; философия культуры).

- Социологические исследования (теория, методология и история социологии; социальная структура, социальные институты и процессы; политическая социология; социология культуры; социология управления).

- Теоретическое и прикладное языкознание (германские языки; теория языка; прикладная и математическая лингвистика).

Цель журнала – создание и развитие профессиональной коммуникационной платформы для междисциплинарного диалога и дискуссий по актуальной социогуманитарной проблематике. Публикации в журнале бесплатны.

Задачи:

- публикация оригинальных результатов научных исследований по различным вопросам философского, лингвистического, культурологического

и социологического характера, полученных широким кругом авторов – как признанных ученых и специалистов, так и начинающих свой путь в профессии молодых исследователей из научных организаций России и зарубежных стран;

- осуществление коммуникации между российскими и зарубежными специалистами – философами, социологами, лингвистами, работающими в научных организациях разных ведомств;

- интеграция возможностей мультидисциплинарного подхода к гуманитарным исследованиям;

- усиление возможностей интеграции отечественных научных школ в международное научное сообщество.

Полные сведения о журнале, его редакционной политике, принятых этических стандартах, требования к подготовке статей, архив и дополнительная информация размещены на сайте <https://discourse.etu.ru>



Материалы журнала доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License

DISCOURSE

The Journal is registered by Federal Service for Supervision of Communication, Information Technology and Mass Media (PI No FS77-62347 of 14.07.2015).
Subscription index in "Press of Russia" catalogue 71225.

Founder and publisher: Saint Petersburg Electrotechnical University
Founded in 2015. Issued 6 times a year.

Accepted Languages: Russian, English.

The Journal is included in the list of peer-reviewed scientific publications of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation. Indexed and archived in the Russian Science Citation Index (RSCI). It is a member of the Association of Scientific Editors and Publishers and CrossRef.

Editorial address: Saint Petersburg Electrotechnical University, 5 Prof. Popov Str., St Petersburg 197376, Russia.
Tel.: +7 (812) 234-10-13, e-mail: discourse@etu.ru, <http://discourse.etu.ru>

THE EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief

Andrey F. Ivanov, Dr. of Sci. (Philos.), Prof., Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

Deputy Editor-in-Chief

Nina K. Gigauri, Can. of Sci. (Eng.), Assoc. Prof., Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

Executive Secretary

Mikhail Yu. Lyutikov, Can. of Sci. (History), Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

Galina A. Baeva, Dr. of Sci. (Philol.), Prof., Saint Petersburg University, St Petersburg, Russia

Elena V. Bodnaruk, Dr. of Sci. (Philol.), Assoc. Prof., Northern (Arctic) Federal University Named after M. V. Lomonosov, Arkhangelsk, Russia

Asalkhan O. Boronoev, Dr. of Sci. (Philos.), Prof., Saint Petersburg University, St Petersburg, Russia

Svyatoslav S. Brazevich, Dr. of Sci. (Sociol.), Prof., Saint Petersburg University, St Petersburg, Russia

Aleksey V. Volkov, Dr. of Sci. (Philos.), Prof., Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia

Pavel P. Deryugin, Dr. of Sci. (Sociol.), Prof., Saint Petersburg University, St Petersburg, Russia

Daniil Yu. Dorofeev, Dr. of Sci. (Philos.), Prof., Saint-Petersburg Mining University, St Petersburg, Russia

Yurii A. Dubovskiy, Dr. of Sci. (Philol.), Prof., Pyatigorsk State University, Pyatigorsk, Russia

Sergei M. Eliseev, Dr. of Sci. (Polit.), Prof., University associated with IA EAEC, St Petersburg, Russia

Vladimir I. Ignatyev, Dr. of Sci. (Philos.), Prof., Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia

Anna A. Izgarskaya, Dr. of Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

Elena N. Lisanyuk, Dr. of Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Saint Petersburg University, St Petersburg, Russia

Boris V. Markov, Dr. of Sci. (Philos.), Prof., Saint Petersburg University, St Petersburg, Russia

Tatyana V. Melnikova, Dr. of Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Vladimir P. Miletskiy, Dr. of Sci. (Polit.), Prof., Saint Petersburg University, St Petersburg, Russia

Svetlana I. Rosenko, Dr. of Sci. (Sociol.), Prof., Lesgaft National State University of Physical Education, Sport and Health, St Petersburg, Russia

Irina B. Rubert, Dr. of Sci. (Philol.), Prof., Saint-Petersburg State Economic University, St Petersburg, Russia

Evgeniy G. Sokolov, Dr. of Sci. (Philos.), Prof., Saint Petersburg University, St Petersburg, Russia

Alexander V. Soldatov, Dr. of Sci. (Philos.), Prof., State Marine Technical University, St Petersburg, Russia

Anna Yu. Storozhuk, Dr. of Sci. (Philos.), Leading Researcher, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the RAS, Novosibirsk, Russia

Elena V. Strogetsckaya, Can. of Sci. (Polit.), Assoc. Prof., Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

Nella A. Trofimova, Dr. of Sci. (Philol.), Assoc. Prof., Higher School of Economics, St Petersburg, Russia

Victor V. Tuzov, Dr. of Sci. (Philos.), Prof., Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

Sergei V. Chebanov, Dr. of Sci. (Philol.), Prof., Saint Petersburg University, St Petersburg, Russia

Sergei I. Chernykh, Dr. of Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Novosibirsk State Agrarian University, Novosibirsk, Russia

Andrei A. Shumkov, Dr. of Sci. (Philol.), Assoc. Prof., Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

Svetlana V. Shustova, Dr. of Sci. (Philol.), Assoc. Prof., Perm State University, Perm, Russia

Vyacheslav V. Shcherbina, Dr. of Sci. (Sociol.), Prof., Russian State University for the Humanities, Moscow, Russia

Mikhail P. Yatsenko, Dr. of Sci. (Philos.), Assoc. Prof., Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

Balkrishna Vithal Bhosale, Ph. D., Prof., University of Mumbai, Mumbai, India

Kristina Štrkalj Despot, Ph. D., Prof., Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb, Croatia

Nesteruk Aleksey, Ph. D., Prof., University of Portsmouth, Portsmouth, United Kingdom

Zhang Baichun, Ph. D., Prof., Beijing Normal University, Beijing, China

Aim and scope: DISCOURSE The Journal is a periodical international peer-reviewed scientific publication. The Journal presents the results of scientific research of Russian and foreign scientists and is focused on the publication of materials on the socio-humanitarian problems of the development of society. The Journal publishes papers in three areas for the corresponding groups of scientific specialties:

- Philosophical sciences (ontology and theory of knowledge, ethics, logic, philosophy of science and technology, social philosophy, philosophical anthropology, philosophy of culture);
- Sociological research (theory, methodology and history of sociology, social structure, social institutions and processes, political sociology, sociology of culture, management sociology);
- Theoretical and applied linguistics (Germanic languages, language theory, applied and mathematical linguistics).

The goal of the Journal is the establishment and development of a professional communication platform for interdisciplinary dialogue and discussions on actual socio-humanitarian issues within the thematic areas of the Journal.

All publications in the Journal are free.

Mission of the Journal:

- Publication of the original results of scientific research on various issues of a philosophical, linguistic, cultural and sociological nature, received by a wide range of authors – both recognized scientists and specialists, and starting their career in the profession of young researchers and scientific organizations in Russia and foreign countries.
- Communication between Russian and foreign specialists – philosophers, sociologists, linguists working in scientific organizations of various departments;
- Integration of the capabilities of a multidisciplinary approach to humanitarian research;
- Strengthening the integration of domestic scientific schools in the international scientific community.

Full information about the Journal, its editorial policies, accepted ethical standards, requirements for the preparation of papers, an archive and additional information are available at <https://discourse.etu.ru>



All the materials of the journal are available under a Creative Commons Attribution 4.0 License

СОДЕРЖАНИЕ

Оригинальные статьи

ФИЛОСОФИЯ

Черноскутов Ю. Ю. О силлогистике Дж. Буля	5
Мамина Р. И., Почебут С. Н. Цифровой этикет и его специфика: философско-методологический аспект.....	16
Серова Н. В. О судьбе темпоральной экзистенции человека в техногенную эпоху: между мгновениями и минутами.....	28

СОЦИОЛОГИЯ

Пашковский Е. А. Особенности коммуникации совместно проживающих людей в период самоизоляции.....	40
Simone E. "My Daughter is not like That": A Qualitative Study of Parental Perception on Child Sexual Abuse Risk.....	56
Игнатушко И. В. Общероссийское голосование как институт демократии: обоснование, последствия, перспективы.....	81
Строгеецкая Е. В., Бетигер И. Б. Парадигма смарт-образования: ожидаемые результаты и реальный опыт студентов	94

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

Панкратова С. А. Роль образности в кинопроизведении (на примере технических образов в зарубежных фантастических фильмах). 108	
Тимралиева Ю. Г. Зевгма как прием прагматического фокусирования в художественном тексте (на материале немецкого языка)	118
Polyakov O. M. Linguistic Data Model for Natural Languages and Artificial Intelligence. Part 6. The External Logic.....	127
Ульяницкая Л. А. Критика гендерного языкознания с позиций феминистской лингвистики	135
Правила представления рукописей авторами	156

CONTENTS

Original papers

PHILOSOPHY

Chernoskutov Yu. Yu. On the Syllogistic of G. Boole	5
Mamina R. I., Pochebut S. N. Digital Etiquette and Its Specification (Philosophical and Methodological Aspect)	16
Serova N. V. On the Fate of the Temporal Existence of Man in the Technogenic Epoch: between Moments and Minutes	28

SOCIOLOGY

Pashkovsky E. A. Features of Communication of People Living Together during the Period of Self-isolation	40
Simone E. "My Daughter is not like That": A Qualitative Study of Parental Perception on Child Sexual Abuse Risk.....	56
Ignatushko I. V. All-Russian voting as an institution of democracy: justification, effects, perspectives	81
Strogetskaia E. V., Betiger I. B. The Smart Education Paradigm: Expected Outcomes and Real-Life Student Experience	94

LINGUISTICS

Pankratova S. A. The Role of Imagery in Film Creation (on the Example of Technical Images in Western Sci-Fi Films)	108
Timralieva J. G. Zeugma as a Method of Pragmatic Focusing in a Literary Text (Based on the Material of the German Language)	118
Polyakov O. M. Linguistic Data Model for Natural Languages and Artificial Intelligence. Part 6. The External Logic.....	127
Ulianitskaia L. A. The Critique of Gender Linguistics from the Perspective of Feminist Linguistics	135

УДК 162.2

<http://doi.org/10.32603/2412-8562-2021-7-2-5-15>

Оригинальная статья / Original paper

О силлогистике Дж. Буля

Ю. Ю. Чернокутов✉

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

✉ju.chernoskutov@spbu.ru

Введение. Статья посвящена исследованию особенностей теории категорического силлогизма, представленной в работе Дж. Буля «Математический анализ логики». Эта составляющая наследия Буля оказалась маргинальной в историко-логических исследованиях, что обуславливает новизну и актуальность настоящей работы.

Методология и источники. Проводится формальная реконструкция техники алгебраического представления категорического силлогизма, изложенной в оригинальных трудах Буля. Исследуется зависимость особенностей методов, используемых Булем, от принципов символической алгебры и теории сигнификации, заимствованной им у Р. Уэтли. Осуществлен сравнительный анализ сигнификативных подходов, лежащих в основании теорий силлогизма Буля и Brentano, после чего дается объяснение причин расхождения их результатов.

Результаты и обсуждение. Показано, что Буль заимствует принципы сигнификации из работы Р. Уэтли «Элементы логики». В частности, интерпретация содержания терминов суждения как классов в соединении с методами символической алгебры предопределяет ключевые особенности теории силлогизма Буля и ее неожиданные результаты. В отличие от Уэтли, Буль проводит этот подход максимально последовательно, благодаря чему преодолевает ограничения, накладываемые теорией Аристотеля. Это выражается прежде всего в пренебрежении различием терминов суждения на субъект и предикат, порядком посылок, а также возможностью получения заключений с отрицательными терминами. Вместе с тем Буль упустил из виду, что в его теории доказуема правильность модусов Bramantip и Fresison. При внешнем сходстве теорий суждения Буля и Brentano силлогистика Буля оказалась более гибкой. В его теории возможен вывод частного заключения из общих посылок, чего нет у Brentano, а также вывод заключения из двух отрицательных посылок, что не допускается в силлогистике Аристотеля.

Заключение. Последовательная интерпретация Дж. Булем сигнификации терминов как классов в соединении с методами символической алгебры привела к построению очень гибкой и богатой результатами теории силлогизма.

Ключевые слова: Буль, силлогистика, класс, символическая алгебра, Brentano, история логики, философия логики.

Для цитирования: Чернокутов Ю. Ю. О силлогистике Дж. Буля // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 5–15. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-5-15

Финансирование: работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-011-00895 «Логическое исследование сигнификативных явлений: семантика и прагматика»).

© Чернокутов Ю. Ю., 2021



Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 11.01.2021; принята после рецензирования 12.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

On the Syllogistic of G. Boole

Yurij Yu. Chernskutov✉

Saint Petersburg State University, St Petersburg, Russia

✉ju.chernskutov@spbu.ru

Introduction. This article focuses on the investigation of Boole's theory of categorical syllogism, exposed in his book "The Mathematical analysis of Logic". That part of Boolean legacy has been neglected in the prevailed investigations on the history of logic; the latter provides the novelty of the work presented.

Methodology and sources. The formal reconstruction of the methods of algebraic presentation of categorical syllogism, as it is exposed in the original work of Boole, is conducted. The character of Boolean methods is investigated in the interconnections with the principles of symbolic algebra on the one hand, and with the principles of signification, taken from R. Whately, on the other hand. The approaches to signification, grounding the syllogistic theories of Boole and Brentano, are analyzed in comparison, wherefrom we explain the reasons why the results of those theories are different so much.

Results and discussion. It is demonstrated here that Boole has borrowed the principles of signification from the Whately's book "The Elements of Logic". The interpreting the content of the terms as classes, being combined with methods of symbolic algebra, has determined the core features of Boolean syllogism theory and its unexpected results. In contrast to Whately, Boole conduct the approach to ultimate ends, overcoming the restrictions imposed by Aristotelean doctrine. In particular, he neglects the distinction of subject and predicate among the terms of proposition, the order of premises, and provide the possibility to draw conclusions with negative terms. At the same time Boole missed that the forms of inference, parallel to Bramantip and Fesison, are legitimate forms in his system. In spite of the apparent affinities between the Boolean and Brentanian theories of judgment, the syllogistics of Boole appeared to be more flexible. The drawing of particular conclusion from universal premises is allowable in Boolean theory, but not in Brentanian one; besides, in his theory is allowable the drawing of conclusion from two negative premises, which is prohibited in Aristotelian syllogistic.

Conclusion. Boole consistently interpreted signification of terms as classes; being combine with methods symbolic algebra it led to very flexible syllogism theory with rich results.

Key words: Boole, syllogistics, class, symbolic algebra, Brentano, history of logic, philosophy of logic.

For citation: Chernskutov Yu. Yu. On the Syllogistic of G. Boole. DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 5–15. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-5-15 (Russia).

Source of financing: the work was supported by a grant of Russian Foundation for Basic Research (project No. 18-001-00895 "Logical investigation of the significative phenomena: semantics and pragmatics").

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 11.01.2021; adopted after review 12.03.2021; published online 23.04.2021

Введение. Дж. Буль излагает теорию силлогизма, построенную на основе предложенной им техники символического исчисления, в работе «Математический анализ логики» [1]. Во второй, более известной, работе «Законы мышления» [2], где методы логического

исчисления излагаются более систематично, вследствие чего логику Буля излагают как правило, по этой работе, теория силлогизма не затрагивается. Буль разработал общую технику решения логических уравнений, в рамках которой традиционная силлогистика представляет собой не самый важный фрагмент. Даже в первой из упомянутых работ, где она исследуется, эта теория занимает промежуточное положение, оставаясь в тени общей теории решения элективных уравнений. Булева теория силлогизма крайне редко привлекает внимание. Так, в подробнейшем исследовании Н. И. Стяжкина [3] она даже не упоминается. Достойный внимания, но далеко не полный обзор можно найти, например, в [4]. Здесь мы хотели бы отчасти восполнить этот пробел, показав связь некоторых специфических свойств этой теории с принятой им теорией сигнификации.

Как хорошо известно, Буль впервые заинтересовался логикой, наблюдая за спором А. Де Моргана и У. Гамильтона о приоритете в квантификации предиката. С содержанием этой науки он ознакомился по книгам Р. Уэтли [5] и Г. Олдрича [6]. В своей первой логической работе «Математический анализ логики» Буль применяет уже опробованную им алгебраическую технику (в значительной степени заимствованную у Д. Ф. Грегори) к представлению логики Уэтли. Таким образом, логическую систему Буля можно рассмотреть как применение методов символической алгебры к логике классов, как она представлена в «Элементах логики» Р. Уэтли. Первое было частично освещено нами в [7]. Здесь мы бы хотели остановиться на втором.

В Британской логике, в частности в работах Уэтли, долгое время не использовались категории объема и содержания, которые после А. Арно и П. Николя стали фундаментальными в континентальной логике¹. Немецкие логики строились как теория понятий с объемом и содержанием; Уэтли, а за ним и Буль, строит логику как теорию имен, обозначающих классы. Так, во введении к «Математическому анализу логики» Буль решительно утверждает: «Логика делает возможной не что иное, как существование в нашем духе общих понятий – наша способность мыслить классы и обозначать общим именем их индивидуальные члены» [1, с. 4].

В этом он добросовестно следует за Уэтли, в логике которого базисным сигнификативным понятием служит именно понятие класса. Во втором издании «Элементов логики» он регулярно обсуждает «термины, называемые “общими”, как обозначающие любой из индивидов целого класса» [5, с. 47]. По его мнению, в отличие от единичного, «общий термин обозначает несколько индивидов: т. е. может прилагаться к любому из них, поскольку охватывает их в единой сигнификации» [5, с. 60]. Вместе с тем класс задается не перечислением составляющих его предметов, но свойствами, которыми должен обладать всякий предмет, для того чтобы быть зачисленным в данный класс. Соответствующие разъяснения он приводит в восьмом издании своего труда: «Очевидно, что мы относим предмет к известному классу вследствие того, что он обладает известными свойствами, а не наоборот» [8, с. 61]. Поэтому для того, чтобы мы могли говорить о классе, не требуется действительное существование входящих в него предметов; какое-либо описание может задавать и возможный класс. Как пишет Уэтли, «слово *класс* употребляется без различения, существуют ли в действительности несколько предметов, которые подходят под опи-

¹ Исключение составляют эдинбургский профессор У. Гамильтон, с 1842 г. У. Томсон в Кембридже. В 1847 г. это различение начинает использовать А. Де Морган.

сание класса, или нет» [8, с. 61]. Там же он дает некое подобие определения класса, отсутствовавшее в первом издании: «Под “Классом” в настоящем трактате имеется в виду не только “название” [Head] или “общее описание”, которому действительно соответствуют несколько вещей, но и такое, к которому *может* быть отнесено неопределенное число вещей, а именно ровно столько, сколько может “соответствовать описанию”» [8, с. 60].

Однако в теории суждения и силлогизма Уэтли основывается на некоем соединении теории классов и атрибутивной трактовки суждения. В частности, аксиома силлогизма излагается им в следующих словах: «Всё, что универсально предидируется (т. е. утверждается или отрицается) о каком бы то ни было классе вещей, может тем же образом (соответственно утверждаться или отрицаться) предидироваться о любой вещи, содержащейся в этом классе)» [5, с. 31].

Методология и источники. Буль, как уже было замечено выше, последовательно идет за Уэтли в понимании концепции класса. Он воспроизводит его мнение, что общее имя предназначено для указания на произвольный предмет класса, соответствующего этому имени, что класс представляет собой мыслимую совокупность предметов, от которых не требуется актуального существования, что различные индивиды попадают в один класс на том основании, что обладают одинаковыми качествами.

В соответствии с этими разъяснениями Буль различает два способа обозначения. Прописными буквами X, Y, Z он выражает общие имена, которые служат именем любого из индивидов, входящих в класс, а строчными буквами x, y, z – результат отбора из некоей совокупности всех элементов соответствующего класса, иначе говоря, x обозначает класс, каждый член которого является X. Универсальный класс, или универсум, обозначается как 1, пустой класс – 0.

Операция отрицания трактуется как дополнение до универсума: $1 - x$ следует понимать как класс всех не-x. С элективными символами могут производиться операции умножения и сложения. xu обозначает класс объектов, каждый из которых является членом как x, так и u; $x + u$ – класс всех объектов, принадлежащих либо x, либо u, но не обоим. В качестве основных законов, которым подчиняются элективные символы, Буль указывает дистрибутивность (1), коммутативность (2) и так называемый индексный закон (3):

$$(1) x(u + v) = xu + xv;$$

$$(2) xy = yx;$$

$$(3) x_n = x.$$

К этим законам он добавляет «аксиому», гласящую, что «эквивалентные операции над эквивалентными предметами дают эквивалентные результаты» [1, с. 18]. Во времена Буля современные принципы построения дедуктивных систем еще не были разработаны. В соответствии с этими ныне принятыми принципами то, что он называет аксиомой, скорее является правилом преобразования, а три «основных закона символических форм» фактически не используются Булем как аксиомы в нынешнем понимании. Добавим также, что он, явно не оговаривая, применяет привычные алгебраические преобразования, такие, как замена равного равным. В дальнейшем мы также не всегда будем явно указывать на их употребление.

Следует заметить, что Буль различает и не смешивает логику как исследование деятельности духа и символический аппарат преобразований. Согласно своим разъяснениям

он предлагает некий алгебраический механизм, отличный от арифметической алгебры только принятием индексного закона $x^2 = x$. Появление этого закона объясняется тем, что, в отличие от арифметической алгебры, здесь переменные («элективные символы»)² могут принимать только значения 0 и 1, для которых этот закон выполняется и в арифметической алгебре. В «Законах мышления» он характеризует их как «количественные символы», удовлетворяющие закону $x(1 - x) = 0$ [2, с. 80]. Последний выводится из индексного закона посредством нехитрых алгебраических преобразований. Уравнения этого механизма могут интерпретироваться как суждения традиционной логики, а некоторые преобразования над этими уравнениями – как выведение заключений из посылок.

В «Законах мышления» он описывает это так: «Поскольку формальные процессы рассуждения зависят только от законов символов, а не от природы их интерпретации, эти символы x, y, z позволительно обрабатывать так, будто это количественные символы вышеописанного рода. Мы можем отложить в сторону логическую интерпретацию символов данного уравнения; превратить их в количественные символы, допускающие значения 0 и 1; выполнить над ними в качестве таких все требуемые процессы решения; и в завершение вернуть им логическую интерпретацию» [2, с. 69–70].

Тем не менее он не может не заметить, что интерпретация результатов подобного символического метода как форм Аристотелевского силлогизма возможна только после принятия весьма искусственных ограничений, не связанных с природой этого алгебраического метода. На это мы еще укажем в соответствующем месте ниже.

Базисные формы суждений традиционной логики выражаются следующими уравнениями, в которых x соответствует субъекту, а y – предикату:

Общеотрицательное:

$$xy = 0.$$

Общеутвердительное:

$$xy = x \text{ или } x(1 - y) = 0.$$

Для выражения частных суждений Буль вводит символ неопределенного класса v . С его помощью частноутвердительное высказывание выражается как

$$v = xy,$$

а частноотрицательное как

$$v = x(1 - y).$$

Эти уравнения он называет каноническими. Как выяснится далее, некоторые формы вывода не могут быть реализованы с помощью только этих способов выражения. Поэтому в вычислительных целях он вводит менее общие дополнительные уравнения. Так, для выражения частноутвердительного высказывания используется также уравнение:

$$vx = vy,$$

по поводу которого Буль замечает, что оно является менее общим, чем каноническое, поскольку не подразумевает, что класс v включает в себя *все* индивиды, общие для классов x и y . Аналогично частноотрицательное иногда удобно выражать уравнением

² В то время в английском математическом словаре еще не было термина «variable» (переменная); вместо него использовалось слово «символ».

$$vx = v(1 - y),$$

имея в виду то же уточнение, что и для уравнения частноутвердительного высказывания.

С помощью символа неопределенного класса v можно выражать и общее суждение:

$$x = vy.$$

В отличие от канонического уравнения, последнее выражает его частный случай, когда не только все X есть Y , но также только некоторые Y есть X ; каноническое уравнение не подразумевает обязательность этого ограничения. Аналогично общеотрицательное высказывание может быть представлено с помощью уравнения

$$x = v(1 - y),$$

с теми же уточнениями, которые были сделаны для неканонического представления общеутвердительного высказывания.

Использование символа v в качестве неопределенного коэффициента образует одну из главных технических особенностей логической системы Буля. С одной стороны, на него распространяются все законы элективных символов, в частности, $v^2 = v$. С другой стороны, под ним очевидно не подразумевается самостоятельный фиксированный класс, как это имеет место с остальными символами. Поэтому, например, из $x = v$ и $v = y$ нельзя вывести $x = y$ [9, с. 163]. Наконец, если этот символ появляется в выражении вида vxy , то в зависимости от того, путем каких преобразований получено это выражение, v относится либо только к x , либо только к y , т. е. может интерпретироваться как содержащее либо только «некоторые x », либо только «некоторые y ». Это значит, что закон коммутативности не всегда выполняется для выражений, содержащих символ v .

Результаты и обсуждение. Прежде чем перейти к теории силлогизма, сделаем несколько замечаний о неизбежных отклонениях от традиционного Аристотелевского анализа, вносимого подобным алгебраическим представлением.

Если оба термина суждения берутся как символы, обозначающие классы, то нет оснований для атрибутивной трактовки суждения. Последнее не является тогда предикацией свойства предмету, но выражает отношение между классами. А в таком случае и различие субъекта и предиката не относится к сути исчисляющего алгебраического механизма. Как следствие, хотя в теории силлогизма вывод заключения из посылок по-прежнему происходит благодаря элиминации среднего термина, различие большего и меньшего терминов становится искусственным ограничением. Буль считает это традиционное требование не более чем результатом необязательного соглашения: «Если бы договорились, что больший термин должен занимать в заключении первое место, то можно было бы построить логическую схему, которая в некоторых отношениях менее удобна, чем существующая, но в других отношениях более превосходна. <...> Возможно, что в общепринятом упорядочении [*arrangement*] больше удобства, но следует помнить, что это *только* упорядочение» [1, с. 33].

Еще одна важная особенность является прямым следствием предыдущей. Отсутствие необходимости учитывать порядок терминов в суждении приводит к возможности получения заключений, которые нельзя получить в традиционной теории. Например, уравнение $x(1 - y) = 0$ можно интерпретировать не только как «все X есть Y », но и как «ни один X не есть не- Y », или «ни один не- Y не есть X ». Как следствие, мы получаем возможность делать дополнительные заключения, не учитываемые в силлогистике Аристотеля.

В силу особенностей упомянутой выше взаимосвязи между символическим исчислением и его логической интерпретацией в системе Буля все указанные традиционные различия могут появиться только на стадии интерпретации. А именно, если мы интерпретируем результаты алгебраического решения уравнения как Аристотелевы формы. В собственно алгебраическом аппарате преобразований эти различия не отражаются.

Что касается техники преобразований, позволяющих элиминацию символа, представляющего средний термин, то она может быть довольно разнообразной, учитывая гибкость алгебраического аппарата. Основным методом, поначалу предложенный Булем, состоит в том, чтобы представить посылки уравнениями формы:

$$am + b = 0;$$

$$a'm + b' = 0,$$

где m – средний термин; тогда в результате его удаления будет получено уравнение:

$$ab' - a'b = 0,$$

которое выражает заключение.

Рассмотрим, например, модус Barbara. Его посылки

$$\text{Все } M \text{ суть } Y,$$

$$\text{Все } X \text{ суть } M$$

в виде уравнений могут быть представлены так:

$$m(1 - y) = 0, \text{ или } (1 - y)m = 0;$$

$$x(1 - m) = 0, \text{ или } xm - x = 0.$$

В правой паре уравнений $1 - y$ соответствует коэффициенту a , x – коэффициентам a' и b' , коэффициент b равен 0. Соответственно получаем решение $x(1 - y) = 0$, что интерпретируется как «все X есть Y ».

Однако Буль практически сразу отказывается от этой техники в пользу более простой. Уравнения, соответствующие посылкам, можно преобразовать так, чтобы средний термин m в одном из них содержался в правой части равенства, а в другом – в левой части. Тогда его можно будет удалять при перемножении уравнений посылок. Так, в случае Barbara мы имеем:

$$m = my$$

$$\underline{x = mx}$$

$$mx = mxy, \text{ или}$$

$$x = xy.$$

В окончательном решении mx в обеих частях равенства заменено на x на основании уравнения второй посылки.

Обоснование вывода, соответствующего модусу Barbara, можно представить и в более привычном современному читателю виде – как последовательности высказываний, полностью соблюдая принципы предлагаемого Булем исчисления:

1. $m = my$ посылка;
2. $x = mx$ посылка;
3. $x = mxy$ 2, m/my (1);
4. $x = xy$ 3, mx/x (2).

Комментарий справа от уравнения 3 сообщает, что оно получено из уравнения 2 заменой t на tu на том основании, что об их равенстве сообщается в уравнении 1. По этому образцу следует понимать и комментарий к уравнению 4, и комментарии в дальнейших примерах.

Поскольку, как было сказано выше, различие крайних терминов на больший и меньший не находит отражения в алгебраическом представлении Буля, нет повода и для деления силлогизмов на фигуры. Буль классифицирует формы вывода по наличию в уравнениях коэффициента v . В итоге выделяются следующие классы возможных форм вывода:

1. Ни одно из уравнений не содержит v (обе посылки и заключение являются общими высказываниями).
2. v вводится при решении уравнения (из общих посылок выводится частное заключение).
3. v содержится в одном из уравнений (одна из посылок и заключение являются частными высказываниями).

Первый класс включает шесть традиционных модусов: Barbara, Bramantip, Celarent, Camenes, Cesare, Camestres. Поскольку различием крайних терминов и, как следствие, порядком посылок здесь можно пренебречь, члены пар Barbara и Bramantip (последний позволяет получить общее заключение «все P есть S»), Celarent и Camenes, Cesare и Camestres представляют фактически одну форму вывода.

Второй класс включает три традиционных модуса: Darapti, Felapton, Fesapo. Кроме того, в предлагаемом Булем символическом исчислении здесь можно вывести заключения из таких соединений посылок, которые не дают допустимых модусов в традиционной Аристотелевой силлогистике. Это AE в первой и третьей фигурах, а также EE во всех четырех фигурах. При этом AE в первой фигуре отличается от Fesapo только порядком посылок. Это же касается EE в первой и четвертой фигурах.

В этом классе вывод частного заключения из общих посылок возможен благодаря использованию упоминавшихся неканонических уравнений, т. е., например, «все X суть Y» представляется уравнением $x = vy$, а «ни один X не есть Y» – уравнением $x = v(1 - y)$ или, учитывая неограниченную обратимость общеотрицательных высказываний, уравнением $y = v(1 - x)$.

Покажем в качестве примера, как можно вывести заключение из посылок EE в первой фигуре. Вывод из посылок

Ни один M не есть Y,
Ни один X не есть M

можно представить следующей последовательностью уравнений:

$$\begin{aligned} 0 &= tu && \text{посылка;} \\ t &= v(1 - x) && \text{посылка;} \\ 0 &= v(1 - x)y && 1, t/v(1 - x) (2). \end{aligned}$$

Полученное в последнем пункте уравнение интерпретируется как высказывание «Некоторые не-X не есть Y» или «Некоторые не-X есть не-Y».

Буль не включил в этот класс AA четвертой фигуры. По его мнению, жесткий порядок посылок является искусственным ограничением, поэтому он считает этот модус тождественным AA первой фигуры. В результате в его системе исчез собственно модус Bramantip. Однако нетрудно показать его правомерность. Мы имеем посылки:

Все Y есть M,
Все M есть X.

Вывод заключения из этих посылок можно представить следующими уравнениями:

1. $y = vt$ *посылка*;
2. $vx = t$ *посылка*;
3. $y = vx$ 1, t/vx (2).

Уравнение, полученное на шаге 3, как мы помним, есть неканоническое представление «некоторые X есть Y». Соответствующее доказательство можно построить и с помощью собственно Булевской техники перемножения посылок:

$$\begin{aligned}y &= vt \\ \underline{vx} &= t \\ vxy &= vx,\end{aligned}$$

откуда получаем:

$$vx(1 - y) = 0 -$$

уравнение, которое Буль тоже интерпретирует как «Некоторые X есть Y».

Третий класс включает модусы Darii, Ferio, Baroco, Festino, Datisi, Disamis, Bocardo, Ferison, Dimaris. Помимо них, здесь возможно выводить заключения из посылок OE в первой фигуре; OA, IE во второй фигуре; AO, IE, EO, OE в третьей; IE и EO в четвертой. Мы склонны считать недоразумением, что в число допустимых модусов этого класса Буль не включил EI в четвертой фигуре (Fresison). Действительно, в полном соответствии с его предписаниями можно показать, что эти посылки позволяют выводить требуемое заключение:

- $$\begin{aligned}t &= v(1 - y) && \text{посылка;} \\ vt &= vx && \text{посылка;} \\ v(1 - y) &= vx && 2, t/v(1 - x) (1).\end{aligned}$$

Уравнение, полученное на шаге 3, согласно разъяснениям Буля, должно интерпретироваться как «некоторые X не есть Y».

Полезно и познавательно сравнить теорию силлогизма Буля с соответствующей теорией Brentano.

Ф. Brentano считает, что все суждения являются экзистенциальными, утверждая либо отрицая существование предмета, заданного произвольным набором признаков. Он показывает, что базисные суждения Аристотелевой логики можно свести к экзистенциальной форме [10, с. 161]. Это выглядит так:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| (I) Нек. S суть P | Существуют S, которые P; |
| (E) Ни один S не есть P | Не существуют S, которые P; |
| (O) Нек. S не есть P | Существуют S, которые не-P; |
| (A) Все S суть P | Не существуют S, которые не-P. |

Как можно видеть, здесь утвердительные экзистенциальные суждения соответствуют частным суждениям традиционной логики, а различие частноутвердительного и частноотрицательного сводится к тому, что вторые, в отличие от первых, содержат отрицательный термин. В свою очередь отрицательные экзистенциальные суждения Brentano соот-

ветствуют общим суждениям традиционной логики; отрицательный термин содержит на этот раз общеутвердительное суждение [11, с. 49–50].

Можно заметить очевидное сходство этих Brentановских экзистенциальных форм с каноническими элективными уравнениями Буля. Утверждение существования Brentано переводится в уравнение, в котором элективная функция приравнивается к v , а отрицание существования – в уравнение, в котором эта функция приравнивается к 0 . Однако в теории силлогизма Brentано насчитываются только две формы вывода, которые можно переформулировать так:

1. Если обе посылки отрицательные, то, если в посылках имеют вхождение противоречащие термины, можно выводить отрицательное заключение, содержащее все термины обеих посылок, за исключением указанной противоречащей пары.

2. Если одна из посылок утвердительная, а вторая отрицательная, то, если в посылках имеются вхождения одинаковых терминов, можно вывести утвердительное заключение, в котором этот термин отсутствует, содержатся все оставшиеся термины утвердительной посылки и отрицания всех оставшихся терминов отрицательной посылки.

Первая форма умозаключения Brentано полностью соответствует первому классу выводов Буля, вторая – Булевскому третьему классу. Как можно видеть, силлогистика Brentано не содержит модусов, в которых из общих посылок можно было бы выводить частные заключения. Это как раз те модусы, которые зависят от принятия допущений о непустоте термина субъекта. Технически это одно из следствий использования Булем так называемых неканонических уравнений. Как мы заметили в начале статьи, Буль принимает теорию сигнификации Уэтли, согласно которой общее имя может прилагаться к любому неопределенному члену класса. Поэтому к символам, обозначающим классы, бесконфликтно может быть добавлен неопределенный уточняющий коэффициент v . В семантике Brentано термины, из которых образуется суждение, указывают на интенциональный предмет представления, внутри которого затруднительно производить какие-либо расчленения, соответствующие выделению подклассов. Под этими терминами не мыслится класс предметов.

Заключение. В последующей истории развития алгебры логики неопределенный коэффициент, подобный Булевскому v , более не использовался, а традиционный силлогизм все более решительно вытеснялся на периферию логических исследований. Сигнифактивная теория Уэтли, в которой центральным семантическим понятием стало понятие класса предметов, позволила отойти от традиционной атрибутивной теории суждения. Этого удалось достичь уже не Уэтли, а Булю. Разработанная им теория силлогизма не стала парадигмой новой логики, но показала, что предмет логики допускает более гибкие и разнообразные техники формализации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Boole G. The Mathematical Analysis of Logic. Cambridge: Macmillan, 1847.
2. Boole G. The Laws of Thought. Cambridge: Macmillan, 1854.
3. Стяжкин Н. И. Формирование математической логики. М.: Наука, 1967.
4. Jackuette D. Boole's logic // Handbook of the History of Logic. British Logic in the Nineteenth Century. 2008. Vol. 4. Amsterdam: Elsevier, 2008. P. 331–379. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1874-5857\(08\)80011-8](https://doi.org/10.1016/S1874-5857(08)80011-8).
5. Whately R. Elements of Logic. 2nd ed. London: J. Mawman, 1827.

6. Aldrich H., Sanderson R., Wesley J. A compendium of Logic. 2nd ed., enlarged. London: [s. n.], 1756.
7. Черноскутов Ю. Ю. Развитие семантических идей в Британской логике XIX века // РАЦИО.ru. 2016. Т. 17, № 2 (17). С. 111–133.
8. Whately R. Elements of logic. From the 8th London ed. revised. N.Y.: Harper & Brothers, 1855.
9. Kneale W. Boole and the Revival of Logic // Mind. 1948. Vol. 57. P. 149–175.
10. Brentano Ф. Психология с эмпирической точки зрения // Вопр. философии. 1995. № 2. С. 153–171.
11. Черноскутов Ю. Ю. Ф. Brentano: опыт реформирования силлогистики // Логико-философские штудии. 2010. № 8. С. 46–53.

Информация об авторе.

Черноскутов Юрий Юрьевич – кандидат философских наук (1999), доцент кафедры логики Санкт-Петербургского государственного университета, Университетская наб., д. 7/9, Санкт-Петербург, 199034. Автор 85 научных публикаций. Сфера научных интересов: логика, история логики, философия логики. E-mail: ju.chernoskutov@spbu.ru

REFERENCES

1. Boole, G. (1847), *The Mathematical Analysis of Logic*, Macmillan, Cambridge, UK.
2. Boole, G. (1854), *The Laws of Thought*, Macmillan, Cambridge, UK.
3. Styazhkin, N.I. (1967), *Formirovanie matematicheskoi logiki* [Formation of mathematical logic], Nauka, Moscow, USSR.
4. Jackuette, D. (2008), "Boole's logic", *Handbook of the History of Logic. British Logic in the Nineteenth Century*, vol. 4, Elsevier, Amsterdam, pp. 331–379. DOI: [https://doi.org/10.1016/S1874-5857\(08\)80011-8](https://doi.org/10.1016/S1874-5857(08)80011-8).
5. Whately, R. (1827), *Elements of Logic*, 2nd ed., J. Mawman, London, UK.
6. Aldrich, H., Sanderson, R. and Wesley, J. (1756), *A compendium of logic*, 2nd ed., enlarged, [s. n.], London, UK.
7. Chernoskutov, Yu.Yu. (2016), "Razvitie semanticheskikh idei v Britanskoi logike XIX veka", *RATIO.ru*, vol. 17, no. 2 (17), pp. 111–133.
8. Whately, R. (1855), *Elements of logic. From the 8th London ed. revised*, Harper & Brothers, N. Y., USA.
9. Kneale, W. (1948), "Boole and the Revival of Logic", *Mind*, vol. 57, pp. 149–175.
10. Brentano, F. (1995), "Psychology from an empirical point of view", *Voprosy filosofii*, no. 2, pp. 153–171.
11. Chernoskutov, Yu.Yu. (2010), "F. Brentano: experience of reforming syllogistics", *Logiko-filosofskie shtudii*, no. 8, pp. 46–53.

Information about the author.

Yurij Yu. Chernoskutov – Can. Sci. (Philosophy) (1999), Associated Professor at the Department of Logic, Saint Petersburg State University, 7/9 University emb., St Petersburg 199034, Russia. The author of 85 scientific publications. Area of expertise: logic, history of logic, philosophy of logic. E-mail: ju.chernoskutov@spbu.ru

Цифровой этикет и его специфика: философско-методологический аспект

Р. И. Мамина[✉], С. Н. Почебут

*Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия*

[✉]MaminaRaisa@yandex.ru

Введение. Цифровой этикет – это новый вид этикета, определяющий правила поведенческой культуры в цифровой среде сети Интернет. Показано, что цифровой этикет представляет собой не только новый вид коммуникативного взаимодействия, но и один из новых социокультурных феноменов цифровой цивилизации, а также современное конвергентное знание теоретико-прикладного характера, которое формируется на стыке гуманитарного и технологического знания и в настоящее время находится в процессе своего оформления.

Методология и источники. Работа базируется на применении методологии историко-философского, культурфилософского, аксиологического и междисциплинарного подходов к рассмотрению цифрового этикета как нового коммуникативного феномена новой реальности. В качестве источниковедческой базы использованы работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные этикетной тематике в цифровой и нецифровой среде, а также современные научные исследования, посвященные цифровым коммуникациям, включая цифровую гуманитаристику.

Результаты и обсуждение. На основе представленного в статье анализа к определению этикета и как явления, и как понятия, его сущностных признаков и отличительных характеристик выявляются специфические особенности цифрового этикета, включая ценностные установки, которые детерминированы свойствами Сети третьего поколения (в частности, такими как Digital- и Phygital-взаимодействие, актуализация репутационной составляющей поведенческой культуры в сети Интернет, персонализация брендинга и др.), в целом обозначившие междисциплинарный характер нового этикета и общую тенденцию его развития как цифрового гуманитарного знания.

Заключение. В современных реалиях актуализируются роль и значение поведенческой культуры пользователей Сети персонального и корпоративного уровней. Однако в первую очередь это касается представителей молодого поколения – поколения Z, которое определило персональную свободу как главную ценность своего бытия в социуме. В связи с этим во всей образовательной системе объективируется роль воспитательной компоненты, включая ее этикетную составляющую. В частности, в рамках высшей школы обучение цифровому этикету – это обучение цифровому гуманитарному знанию, которое представляет собой единство образовательного и воспитательного процессов в формировании поведенческой культуры, отражающей вызовы новой эпохи.

Ключевые слова: этикет, ценности, Нетикет, цифровой этикет, репутация, бренд, цифровые гуманитарные науки.

© Мамина Р. И., Почебут С. Н., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.



Для цитирования: Мамина Р. И., Почебут С. Н. Цифровой этикет и его специфика: философско-методологический аспект // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 16–27. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-16-27

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 13.02.2021; принята после рецензирования 11.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

Digital Etiquette and Its Specification (Philosophical and Methodological Aspect)

Raisa I. Mamina[✉], **Stanislav N. Pochebut**

Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

[✉]MaminaRaisa@yandex.ru

Introduction. Digital etiquette is a new type of etiquette that defines the rules of behavioral culture in the digital environment of the Internet. It is also shown that digital etiquette is not only a new type of communicative interaction, but also is one of the new socio-cultural phenomena of digital civilization, as well as modern convergent knowledge of a theoretical and applied nature, which is formed at the intersection of humanitarian and technological knowledge and is currently in the process of its formation.

Methodology and sources. The work is based on the application of the methodology of historical-philosophical, cultural-philosophical, axiological and interdisciplinary approaches to the consideration of digital etiquette as a new communicative phenomenon of modern reality. The works of Russian and foreign authors are devoted to the etiquette theme in the digital and non-digital environment as a source base, as well as modern scientific research are used in digital communications, including digital humanities.

Results and discussion. Based on the analysis presented in the article according to the definition of etiquette as a phenomenon and as a concept, its essential features and distinctive characteristics, the specific features of digital etiquette are identified, including value attitudes that are determined by the properties of the third-generation Network (in particular, such as Digital- and Phygital-interaction, actualization of the reputational component of behavioral culture on the Internet, personalization of branding, etc.), which generally indicated the interdisciplinary nature of the new etiquette and the general trend of its development as a digital humanitarian knowledge.

Conclusion. The role and importance of the behavioral culture of Network users at the personal and corporate levels becomes very important in modern realities. However, first of all, this applies to representatives of the younger generation-generation Z, which has defined personal freedom as the main value of its existence in society. In this regard, the role of the educational component, including its etiquette component, is objectified in the entire educational system. In particular, within the higher school, digital etiquette training is the training of digital humanitarian knowledge, which represents the unity of educational and educational in the formation of a behavioral culture that reflects the challenges of the new era.

Key words: etiquette, values, Netiquette, digital etiquette, reputation, brand, Digital Humanities.

For citation: Mamina R. I., Pochebut S. N. Digital Etiquette and Its Specification (Philosophical and Methodological Aspect). DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 16–27. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-16-27 (Russia).

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 13.02.2021; adopted after review 11.03.2021; published online 23.04.2021

Введение. В эпоху human-to-human коммуникаций, когда человек человеку пользователь и бренд, продавец и покупатель, уже недостаточно уметь только грамотно обращаться с высокими технологиями, важно уметь на основе этой грамотности выстраивать максимально эффективное взаимодействие в сети Интернет. Особое место в выстраивании такого взаимодействия занимает цифровой этикет. Функционально Новый этикет отражает сущность этикетной коммуникации в пространстве виртуального бытия современного социума, однако представляет собой и новый инструмент коммуникативного взаимодействия, и новый социокультурный феномен цифровой цивилизации, и цифровое гуманитарное знание, которое находится в процессе своего оформления. В связи с этим встает вопрос о выявлении методологических оснований, на которых строится все здание цифрового этикета и его особая специфика. Обращение к этим основаниям, с одной стороны, начинается с определения этикета как понятия и явления, с другой – с определения его цифровой природы, т. е. свойств нового Web 3.0, которые он с необходимостью отражает.

Актуальность данного исследования определяется также значением цифрового этикета как инструмента управления персональным брендом и деловой репутацией. В новых реалиях, когда информация о любом человеке становится открытой и доступной, персональный брендинг и вопросы репутации, становятся явлением глобального масштаба. Однако прежде всего это касается нового поколения – поколения Z, представители которого родились и живут в цифровом мире, поэтому существенно отличаются от своих предшественников. Цифровой технологический детерминизм, обусловивший изменение шкалы ценностей современного социума, и в частности новой генерации, на фоне информационной перегрузки привел к девальвации ценностных ориентиров, которые всегда определяли основные направления прогрессивного общественного развития. Поэтому обучение цифровому этикету представляет собой одно из особо значимых составляющих процесса формирования как личностного, так и профессионального роста представителей молодого поколения – одновременно воспитательного и образовательного.

Методология и источники. Представленные в работе выводы опираются на методологию историко-философского, культурфилософского, аксиологического и междисциплинарного подходов. Проведенный в статье анализ цифрового этикета в первую очередь базируется на специальной литературе, посвященной напрямую и опосредованно этикетной тематике: «У истоков этикета» А. К. Байбурина и А. Л. Топоркова; «Этикет как феномен культуры» М. И. Козьяковой; «Этикет как культурная универсалия» Л. С. Лихачевой; «Философская теория ценности» М. С. Кагана; «Античная калокагатия как общечеловеческий идеал совершенства» А. В. Семушкина; «О процессе цивилизации» Н. Элиаса; а также на современных научных исследованиях, посвященных цифровым коммуникациям, включая цифровую гуманитаристику, в частности, «Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия», публикации и электронные издания.

Результаты и обсуждение. *Этикет как понятие и явление.* Возникновение термина «этикет» относят к временам правления Людовика XIV, в переводе с французского «la etiquette» означает манеру поведения. Появление нового термина позволило, по оценке специалистов, перевести его из имплицитного в эксплицитную фазу существования. «Название, – пишет М. И. Козьякова, – было присвоено уже наличествующей практике, поскольку явление возникло гораздо раньше». При этом автор обращает внимание на то,

что родиной этикета является не Франция, как это принято считать, а Италия эпохи Возрождения, «где игровой элемент культуры господствующей элиты – “желание прекрасной жизни” (Й. Хейзинга) считается характерной чертой Ренессанса» [1]. Однако этикет – это не только правила красивого поведения и общения господствующей элиты, это исторически сложившаяся нормативно-этическая система регулятивного характера. По свидетельству этнографов, этикет ведет свое происхождение из архаических праценностей, где наряду с ритуалами, мифами и легендами, традициями и обрядами он выполнял функцию охраны целостности рода и регулировал отношения как внутри рода, так и между родами, поэтому выступал и как важный регулятор внутригрупповых и межгрупповых отношений, и как одно из средств борьбы с социальным хаосом [2].

Вместе с разложением первобытного общества и выделением из совокупного общинного субъекта индивидуального субъекта – первой исторической формы личности, не исчезли, не были вытеснены формы совокупной групповой субъектности. В результате распада синкретического «Мы-сознания» и выделения «Я-сознания» этикет постепенно оформляется в относительно самостоятельную ценностно-обусловленную систему, регулирующую не только внутригрупповые и межгрупповые, но и межличностные отношения, т. е. в новый исторический период этикет выступает уже как система норм, регулирующая отношения людей в социуме на всех уровнях взаимодействия. Однако в первую очередь речь идет о нормировании ролевых отношений, которое традиционно определяется по трем основным критериям: пол, возраст, социальное положение как три основные иерархические структуры поведенческой культуры в социуме: женщина – мужчина; старший по возрасту – младший; старший по социальному статусу – младший. Данную схему называют основой построения этикетного поведения, где в зависимости от ситуации, времени и места действия на первый план выходит та или иная иерархия, хотя возможны и наложения. В то же время специалисты отмечают, что наиболее важное доминирующее значение во все времена занимала статусная иерархия, и хотя ее императивная позиция и была несколько снижена в XX в. в связи с процессами демократизации, доминирование осталось [1].

В целом, исследователи отмечают, что становление этикета представляет собой длительный исторический процесс, «в ходе которого, – пишет Л. С. Лихачева, – постепенно вычленяются, отрабатываются и нормативно закрепляются (приобретают культурные смыслы) определенные формы поведения (взаимодействия) людей» [3, с. 155]. В свою очередь А. И. Титаренко отмечает, что возникают эти формы поведения «не сами по себе, из некоей “чистой субъективности”, а на прочном основании его практической деятельности, которая постепенно приобретает и нравственно-ценностный смысл, функционально закрепляясь в структуре сознания» [4, с. 194]. В связи с этим Л. С. Лихачева особо подчеркивает, что этот смысл имел различное ценностное содержание на различных стадиях развития социума, что было детерминировано общественно-историческим уровнем его развития [3, с. 148]. Однако основополагающие смыслы этикета, которые актуальны и для Новейшего времени, были заложены еще в античной системе воспитания и образования – пайдеей.

Пайдейя (греч. παιδεία – формирование ребенка, образование, воспитанность, культура) – понятие античной философии, означающее универсальную образованность. В рамках пайдеи возникает и развивается важнейшая составляющая древнегреческой модели воспитания – калокагатия. Калокагатия – термин античной этики, составленный из двух

прилагательных: *καλός* – прекрасный и *ἀγαθός* – добрый, приблизительный перевод «нравственная красота». Исследователи отмечают, что в современной философии нет категории, тождественной по смыслу этому понятию. «При всей неуловимости (для дефиниции) своего содержания идея калокагатии вполне определена, – пишет А. В. Семушкин, – в ней запечатлен древнегреческий идеал совершенной личности, примиряющий в себе антиномию физического (внешнего) и ценностного (внутреннего) существования» [5, с. 53]. Ученый также особо подчеркивает, что калокагатия интроспективна, она побуждает не к покорению других, а прежде всего к перевоспитанию и преобразованию себя, отсюда высокий нравственный потенциал калокагатии, реализующий себя, в том числе и в общеобязательных нормах поведения, которые по своей ценностно-практической значимости были доступны не только для избранных [5, с. 56]. В период поздней античности ее идеалы – идеалы образования и воспитания, в том числе и поведенческой культуры, постепенно уходят в прошлое и уступают место новым идеалам новых исторических эпох, но именно древнегреческая пайдейя с ее духовными практиками, включая калокагатию, стала образцом для подражания на все времена.

Начиная со Средних веков и до Новейшего времени основой этикетной нормы становится уже не ее направленность на Другого как ценность, а дифференция социальных принуждений, которая, как подчеркивает Н. Элиас, в условиях социального неравенства была жестко детерминирована нормами ролевого поведения индивидов в соответствии с социальной дифференциацией общества [6, с. 124, 271], т. е. этикет в этот исторический период носил уже сугубо классовый характер. Исследователи особо подчеркивают, что наряду с ярко выраженной дифференцирующей функцией, этикет вплоть до начала XX столетия выполнял также функцию кодекса, регламентирующего правила красивого поведения светской публики европейских монарших дворов, в которых этическая, облагораживающая составляющая имела исключительно формальное значение, в частности, Элиас называет эту функцию «функцией знати» [6, с. 108].

В начале XX столетия вместе с демократизацией общества этикет постепенно возвращает исторически сложившуюся миссию нормативно-этического регулятора «для всех» – как поведенческой культуры, выраженной в практиках вежливого, уважительного поведения и обращения с окружающими, т. е. в новый исторический период система этикетной регуляции существенно меняется в сторону отношения к другому человеку как к ценности. Однако с наступлением цифровой эпохи достаточно зримо обозначились акценты на ценности новой цивилизации, объективированные ее технологической природой. В условиях технологического детерминизма отношение к Другому/Другим как к ценности постепенно утрачивает свое смысловое значение, соответственно, и персональную ответственность каждого по отношению к Другому/Другим, что нашло свое выражение, прежде всего, по отношению к соблюдению норм поведенческой культуры в сети Интернет. Отсюда роль и значение цифрового этикета как нового инструмента нормативно-этической регуляции в виртуальном пространстве цифровой реальности.

Цифровой этикет как новый инструмент коммуникации в Сети. Появление новых ценностей новой цивилизации обусловлено динамикой развития Всемирной Глобальной паутины – Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Однако акценты на эти ценности привели к снижению, а иногда и к полному игнорированию значения коммуникативной культуры в реалиях совре-

менного социума. Прежде всего, это коснулось молодого поколения – поколения Z, представители которого родились и живут в цифровом мире и существенно отличаются от своих предшественников [7, 8]. Особая направленность на себя, которая проявляется в индивидуализме, культе публичности и саморекламы, противопоставлении своего мнения мнению окружающих, во многом определила свободу как главную поведенческую ценность новой генерации в реальном и виртуальном пространствах его бытия. В связи с этим особенно актуальны слова М. С. Кагана, высказанные им еще в конце прошлого столетия по поводу нарастающего значения новых ценностных ориентиров, определяющих становление инновационной, личностно-креативной культуры: «Определенным нормам должна подчиняться самая духовно независимая личность – без этого невозможна совместная жизнь людей, требующая, чтобы свобода каждого была ограничена свободой других, в противном случае поведение человека становится асоциальным – хулиганским, преступным, как минимум эпатажным, и свобода вырождается в произвол» [9, с. 166]. К таким определенным нормам стабилизирующего характера на начальных этапах развития Всемирной Глобальной паутины – Web 1.0, относятся правила сетевого этикета, или Нетикет.

Нетикет – это правила хорошего тона в Сети, которые были разработаны и представлены в первой книге, посвященной этикетному поведению в электронном формате – «Netiquette» (1994), ее автор Вирджиния Ши. Программист по специальности В. Ши, руководствуясь многолетним опытом работы в Силиконовой долине, разработала и предложила вниманию пользователей 10 ключевых правил Нетикета. Несмотря на особую специфику нового вида этикетной коммуникации, в целом эти правила совпадают с правилами письменной и поведенческой культуры, действующими в режиме реального времени, т. е. требуют вежливости, внимания и тактичности по отношению к другим людям.

В нулевые годы сетевой этикет был дополнен Кодексом поведения блогеров – «Blogger's Code of Conduct» (2007), в котором его авторы Т. О'Рейли и Дж. Уэйлс, сформулировали основные правила поведения в Сети в новых условиях [10]. Аналитики отмечают, что правила, разработанные О'Рейли и Уэйлсом, являются достойным продолжением и развитием правил Нетикета В. Ши, основные различия обусловлены появлением блогосферы и новыми функциональными характеристиками Web 2.0. Однако Нетикет в этот временной период все еще рассматривается специалистами как свод определенных правил поведения в сети Интернет, имеющих в основном этическую направленность, поэтому моральный Кодекс поведения блогеров часто называют Netiquette 2.0.

В условиях цифровых реалий, несмотря на то, что правила сетевого этикета и на сегодняшний день все еще не стали достоянием всех пользователей, а многие из них даже не задумываются о значении поведенческой культуры в Сети, Нетикет становится уже только частью, только составляющей нового вида этикетной коммуникации – цифрового этикета, который функционирует в условиях Web третьего поколения и отражает его специфику. В частности, одной из качественно новых характеристик Web 3.0 является взаимодействие Интернета с физическим миром. Новый вид взаимодействия рассматривают как объединение двух реальностей – физической (Physics) и цифровой (Digital), его определяют как Phygital (фиджитал) – взаимодействие [11]. Один из примеров такого взаимодействия – это формат видеоконференции, которая проходит в интерактивном режиме. Данный формат стал особо востребован в условиях коронавирусной изоляции и на сегодняшний день активно используется в политической, деловой, образовательной сферах.

В результате, реализуя сущностные характеристики этикета в виртуальной среде, цифровой этикет, в отличие от Нетикета, который в пространстве Web 1.0 и Web 2.0 был ориентирован исключительно на письменный формат, цифровой этикет формируется как нормативно-этический регулятор коммуникативного взаимодействия в Сети при помощи всех форм этикетной коммуникации: *письменной, поведенческой и речевой*. Соответственно, цифровой этикет можно рассматривать как Netiquette 3.0, как более сложное, системное понятие, по сравнению с Netiquette 1.0 Вирджинии Ши и Netiquette 2.0 Тима О'Рейли [12, с. 37]. В свою очередь это означает, что, с одной стороны, актуализируется новый уровень поведенческой культуры в Сети, обусловленной знанием и владением спецификой цифровых технологий. В соответствующей литературе нормативы этой новой культуры представлены в виде рекомендаций, основанных на разборе ситуаций взаимодействия пользователей с новыми технологиями [13, 14 и др.]. С другой стороны, в новых условиях повышается роль культурно-воспитательной функции этикета, направленной на приобщение индивида к системе ценностей, принятых в обществе, ориентированных на отношение к Другому/Другим как к ценности.

Основные азы этого приобщения должны начинаться с дошкольного воспитания – это поведенческая культура в семье, на улице, в общественных местах; в условиях школы это приобщение к грамоте поведенческой культуры современного социума, включая его виртуальные практики; в условиях высшей школы речь идет уже об обучении цифровому этикету как цифровому гуманитарному знанию, которое включает в себя знание и владение нормами поведенческой культуры в цифровой и нецифровой среде.

Актуальность владения цифровым этикетом обусловлена в том числе и тем, что цифровая эпоха актуализирует значение репутационной составляющей поведенческой культуры в сети Интернет. При этом речь идет о персональной репутации, транслируемой не только в практиках повседневности, но и в виде электронной версии этого реноме – Интернет-профиле каждого субъекта, поскольку сегодня такая информация становится открытой и общедоступной. В частности, Дон Тапскотт, один из апологетов цифровой экономики, особо подчеркивает, что если в материальном мире репутация человека ограничена территориально, т. е. мнением о нем определенного количества людей (работодателя, продавца в местном магазине, его друзей), то в цифровой экономике репутация всех электронных персон становится мобильной, и эта мобильность позволяет любой из этих персон, независимо от места жительства, стать участником цифровой экономики при условии наличия надежной репутации [15, с. 22]. Сегодня вопросы репутации и этичного поведения в бизнесе и отдельных людей, и организаций оцениваются специалистами как факторы экономического порядка, наряду с такими, как труд, капитал и технологии [15, с. 89], поэтому тема репутации, персональный и корпоративный брендинг – это особая тема, одно из важных направлений этой темы – знание и владение навыками цифрового этикета.

Цифровой этикет как цифровое гуманитарное знание. Цифровые гуманитарные науки (в англоязычном варианте – Digital Humanities, или DH) – это новая область знаний, которая объединяет модели и практики социально-гуманитарных дисциплин, использующих информационно-компьютерные технологии (ИКТ) в научных исследованиях и образовательной сфере. Исследователи подчеркивают, что цифровые гуманитарные науки родом из «Гуманитарной информатики», которая была связана с лингвистическим анализом

и машинным переводом текста, позднее ее предметное поле было дополнено другими гуманитарными знаниями. Однако цифровые гуманитарные науки рассматриваются специалистами в области новых технологий не как новый этап развития гуманитарной информатики, а как новая область знаний прикладного характера, в которой речь идет о расширении охвата существующих проблем, поэтому ее относят ко всем исследовательским проектам в гуманитарных науках [16, с. 179–180]. Подобную точку зрения высказывают и представители непосредственно гуманитарного знания, оценивая цифровую гуманитаристику как естественное продолжение и расширение традиционной сферы гуманитарного знания, базирующегося на информационной методологии и новой междисциплинарности, а не как отказ от традиционных гуманитарных запросов [17, с. 3].

На вопрос «Что такое цифровые гуманитарные науки?» в настоящее время все еще нет окончательного ответа и, соответственно, нет обобщающего определения, очерчивающего границы нового направления научного знания. В качестве примера приведем некоторые из принятых сегодня определений: «ДН – применение компьютерных технологий в исследовании и преподавании гуманитарных наук» (А. Альбарран, Национальный автономный университет Мексики, Мексика); «Гуманитарные науки стали цифровыми и наоборот» (А. Капрарелли, Тосканский университет (Витербо), Италия); «ДН – такое соединение гуманитарных занятий (исследования, преподавания, публицистики) с технологиями (инструментарий, коммуникация, взаимодействие), при котором ученый сознательно исследует гуманитарный объект и технологический метод одновременно» (Э. Милонас, Брауновский университет, США [16, с. 338–341] и др.).

По оценке аналитиков, существующее разнообразие определений ДН говорит о становлении содержательных характеристик нового направления развития гуманитарных знаний, а также о предполагаемом будущем цифровой гуманитаристики, представляющей собой неоднородное по своему составу междисциплинарное направление исследований в области социально-гуманитарных наук, использующих конвергентные технологии. В связи с этим выделяют ряд критериев, по которым осуществляется систематизация проблемного поля Digital Humanities, как правило, это выделение идет: по основным областям/парадигмам исследований; по предметным областям социальных и гуманитарных наук; по целям исследования: а) фундаментальные; б) прикладные; в) практические; по форме институциональной организации (центры, лаборатории, конференции, сетевые сообщества, сайты, блоги) и др. В соответствии с рассматриваемой темой отдельный интерес вызывает критерий типологизации цифровых гуманитарных наук по предметным областям. Специалисты отмечают, что данный критерий характеризует не только процесс расширения сферы цифровой гуманитаристики как информатизацию и медиатизацию традиционных гуманитарных наук, но также как проявление «механизмов формирования автономных зон», «ответственных» за гибридизацию, в результате которой формируются новые модели и практики [18, с. 42].

В частности, тематику цифрового этикета можно отнести к предметной области автономных зон цифровых гуманитарных наук коммуникативного характера, наряду с такими, как «Цифровая самопрезентация», «Цифровые деловые переговоры», «Цифровой сторителлинг» и т. п. Каждое такое знание цифровой гуманитаристики представляет собой результат конвергенции гуманитарных, социальных и информационно-технологических

дисциплин, определяющий в том числе и их специфику. Применительно к «Цифровому этикету» это означает, что при формировании данного предметного знания происходит такое соединение теории этикета с новыми технологиями, при котором фокусом внимания становится и сам гуманитарный объект, в частности этикет, и медиатехнологии, используемые для формирования и реализации нового вида этикетной коммуникации в его виртуальных практиках. При таком подходе выявляются содержательные характеристики, специфика, смыслы, тенденции развития цифрового этикета и как нового инструмента коммуникативного взаимодействия, и как нового нормативно-этического регулятора поведенческой культуры в Сети, и как нового междисциплинарного знания цифровой гуманитаристики.

Однако, например, «Цифровая самопрезентация» – это более высокий уровень междисциплинарности по сравнению с «Цифровым этикетом», поскольку она представляет собой конвергентное знание более высокого порядка – трансдисциплинарное знание, куда с необходимостью входит и цифровой этикет как одна из важных его составляющих [12, с. 17–19]. В то же время «Цифровая библиография», «Цифровая история» и подобные предметные области знания – это направления социально-гуманитарных дисциплин, основанных на применении цифровых технологий, выполняющих в основном инструментальную роль для достижения поставленных целей. В частности, А. Ю. Володин характеризует «Цифровую историю» как «интеллектуальный прорыв» с новыми профессиональными практиками, научными стандартами и теоретическими построениями, что, в частности, нашло свое выражение в создании новых продуктов (например, электронные онлайн-ресурсы); новом научном инструментарии; расширении историко-культурного наследия с использованием электронных публикаций, реконструкций и визуализаций [19, с. 5–6].

В целом, речь идет о необходимости формирования современных представлений о методологии исследования цифровых гуманитарных дисциплин, в том числе и «Цифровой самопрезентации», и «Цифрового этикета», и «Цифровой истории», с учетом специфики их типологизации в рамках предметного поля цифровой гуманитаристики как нового научного направления, основанного на конвергенции гуманитарных наук и цифровых технологий.

Заключение. В данном исследовании цифровой этикет рассмотрен и как новый инструмент нормативно-этической регуляции в виртуальном пространстве бытия современного социума, и как новый социокультурный феномен новой цивилизации, а также как одно из направлений цифровой гуманитаристики, которое представляет собой интеграцию разных областей современного знания, изучающих данное явление в цифровой среде. При этом тематика цифрового этикета начинается в нецифровой среде и методологически рассматривается как интегрированное социально-гуманитарное знание, базирующиеся на этнографических, социологических, философско-антропологических, этических, эстетических, аксиологических, коммуникативных аспектах этикета, и как инструмент общения нормативно-этического значения, и как исторически сложившийся социокультурный феномен. В свою очередь, в цифровой среде методологической основой Нового этикета являются свойства Сети поколения 3.0, поэтому цифровой этикет следует рассматривать с позиций конвергенции интегрированных социально-гуманитарных знаний этикетного характера с технологическими знаниями, что позволяет определить его как новое цифровое гуманитарное междисциплинарное предметное знание, отражающее вызовы времени.

В связи с этим следует еще раз подчеркнуть, что в рамках высшей школы обучение цифровому этикету представляет собой синергетический эффект и в плане объединения гуманитарных и технологических знаний, и в плане взаимодействия двух взаимосвязанных и взаимозависимых процессов формирования личности молодого специалиста – образовательного и воспитательного.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Козьякова М. И. Этикет как феномен культуры // Культура культуры. 2016. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-fenomen-kultury/viewer> (дата обращения: 10.10.2020).
2. Байбурун А. К., Топорков А. Л. У истоков этикета. Этнографические очерки. Л.: Наука, 1990.
3. Лихачева Л. С. Этикет как культурная универсалия // Фундаментальные проблемы культурологии: сб. ст. по материалам конгресса. Т. 6. Культурное наследие: от прошлого к будущему. М.: Новый хронограф: Эйдос, 2009. С. 146–156.
4. Титаренко А. И. Структуры нравственного сознания. М.: Мысль, 1974.
5. Семушкин А. В. Античная калокагатия как общечеловеческий идеал совершенства // Вестн. РУДН. Сер. Философия. 2007. № 3. С. 52–59.
6. Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования / пер. с нем. А. М. Руткевич. Т. 2. М., СПб.: Университетская книга, 2001.
7. Палфри Дж., Гассер У. Дети цифровой эры / пер. Н. Г. Яцюк. М.: Эксмо, 2011.
8. Стиллман Д., Стиллман Дж. Поколение Z на работе. Как его понять и найти с ним общий язык / пер. с нем. Ю. Кондукова. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018.
9. Каган М. С. Философская теория ценности. СПб.: Петрополис, 1997.
10. Кодекс поведения в Интернет // IT-Labs. URL: <http://it-labs.narod.ru/part10.htm#a1> (дата обращения: 25.02.2021).
11. Кузьменкова М. А. Phygital-технологии – инновация в мире коммуникаций // Медиаскоп. 2014. № 3. URL: <http://www.mediascope.ru/1570> (дата обращения: 23.02.2021).
12. Мамина Р. И. Искусство самопрезентации в эпоху цифры. СПб.: Петрополис, 2020.
13. Элькин А., Пащенко М. НеоЭтикет: новая грамотность в цифровом веке. СПб.: Дом рекламы, 2014.
14. Лукинова О. Цифровой этикет. Как не бесить друг друга в интернете. М.: ОДРИ, 2020.
15. Тапскотт Д., Тапскотт А. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня / пер. с англ. К. Шашковой, Е. Д. Ряхиной. М.: Эксмо, 2017.
16. Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия / под ред. М. Террас, Д. Найхан, Э. Ванхутта, И. Кижнер. Красноярск: Изд-во СФУ, 2017.
17. Можяева Г. В. Digital humanities: цифровой поворот в гуманитарных науках // Гуманитарная информатика. 2015. № 9. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/digital-humanities-tsifrovoy-povorot-v-gumanitarnyh-naukah> (дата обращения: 15.03.20).
18. Самостиенко Е. В. Digital Humanities в русскоязычном контексте: траектория институализации и механизмы формирования автономных зон // Вестн. Вятского гос. ун-та. 2018. № 4. С. 37–45. DOI: 10.25730/VSU.7606.18.035.
19. Володин А. Ю. Digital Humanities (Цифровые гуманитарные науки): в поисках самоопределения // Вестн. Пермского ун-та. Сер. История. 2014. № 3 (26). С. 5–12.

Информация об авторах.

Мамина Раиса Ильинична – доктор философских наук (2007), профессор кафедры философии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», ул. Проф. Попова, д. 5, Санкт-Петербург, 197376, Россия. Автор более 100 научных публикаций. Сфера научных интересов: аксиосфера современного социума, коммуни-

кативные практики, кросскультурное сотрудничество, цифровые коммуникации, цифровой этикет, инновационные образовательные траектории. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3301-636X>. E-mail: MaminaRaisa@yandex.ru

Почебут Станислав Николаевич – старший преподаватель кафедры философии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», ул. Проф. Попова, д. 5, Санкт-Петербург, 197376, Россия. Автор более 25 научных публикаций. Сфера научных интересов: аксиология, актуальные проблемы современного образования, межкультурные коммуникации, цифровые коммуникации, цифровой этикет, философские проблемы новаций и инноваций в науке. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4608-0256>. E-mail: sniper2711@yandex.ru

REFERENCES

1. Koz'yakova, M.I. (2016), "Etiquette as a cultural phenomenon", *Kul'tura kul'tury* [Culture of culture], available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/etiket-kak-fenomen-kul'tury/viewer> (accessed 10.10.2020).
2. Baiburin, A.K. and Toporkov, A.L. (1990), *U istokov etiketa. Etnograficheskie ocherki* [At the origins of etiquette. Ethnographic essays], Nauka, Leningrad, USSR.
3. Likhacheva, L.S. (2009), "Etiquette as a cultural universal", *Fundamental'nye problemy kul'turologii: sb. st. po materialam kongressa. T. 6: Kul'turnoe nasledie: Ot proshlogo k budushchemu* [Fundamental problems of cultural studies: collection of articles based on the materials of the congress. Vol. 6: Cultural heritage: From the past to the future], Novyi khronograf: Eidos, Moscow, RUS, pp. 146–156.
4. Titarenko, A.I. (1974), *Struktury npravstvennogo soznaniya* [Structures of moral consciousness], Mysl', Moscow, RUS.
5. Semushkin, A.V. (2007), "Antique kalokagatia as a universal ideal of perfection", *RUDN Journal of Philosophy*, no 3, pp. 52–59.
6. Elias, N. (2001), *O protsesse tsivilizatsii. Sotsiogeneticheskie i psikhogeneticheskie issledovaniya* [Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen], Transl. by Rutkevich, A.M., vol. 2, Universitetskaya kniga, Moscow, SPb., RUS.
7. Palfrey, J. and Gasser, U. (2011), *How Children Grow Up in a Digital Age*, Transl. by Yatsyuk, N.G., Eksmo, Moscow, RUS.
8. Stillman, D. and Stillman, J. (2018), *Gen Z Work: How the Next Generation Is Transforming the Workplace*, Trans. by Kondukov, Yu., Mann, Ivanov i Ferber, Moscow, RUS.
9. Kagan, M.S. (1997), *Filosofskaya teoriya tsennosti* [Philosophical theory of value], Petropolis, SPb, RUS.
10. "Internet Code of Conduct", *IT-Labs*, available at: <http://it-labs.narod.ru/part10.htm#a1> (accessed 25.02.2021).
11. Kuz'menkova, M.A. (2014), "Phygital technologies – an innovation in the world of communications", *Mediascope*, no. 3, available at: <http://www.mediascope.ru/1570> (accessed 23.02.2021).
12. Mamina, R.I. (2020), *Iskusstvo samoprezentatsii v epokhu tsifry* [The art of self-presentation in the digital age], Petropolis, SPb., RUS.
13. El'kin, A. and Pashchenko, M. (2014), *NeoEtiquette: New Literacy in the Digital Age*, Dom reklamy, SPb., RUS.
14. Lukinova, O. (2020), *Tsifrovoi etiket. Kak ne besit' drug druga v internete* [Digital etiquette. How not to piss off each other on the Internet], ODRI, Moscow, RUS.
15. Tapscott, D. and Tapscott, A. (2017), *Blockchain Revolution*, Transl. by Shashkova, K. and Ryakhina, E.D., Eksmo, Moscow, RUS.

16. *Tsifrovye gumanitarnye nauki: Khrestomatiya* [Digital Humanities: A Reader] (2017), in Terras, M., Nyhan, Ju., Vanhoutte, E. and Kizhner, I. (eds.), SFU, Krasnoyarsk, RUS.

17. Mozhaeva, G.V. (2015), "Digital humanities: Digital turn in the humanities", *Gumanitarnaya informatika* [Humanitarian informatics], no. 9, available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/digital-humanities-tsifrovoy-povorot-v-gumanitarnyh-naukah> (accessed 15.03.20).

18. Samostienko, E.V. (2018), "Digital Humanities in the Russian Context: the Trajectory of Institutionalization and the Mechanisms for the Formation of Autonomous Zones", *Herald of Vyatka State University*, no. 4, pp. 37–45. DOI: 10.25730/VSU.7606.18.035.

19. Volodin, A.Yu. (2014), "Digital Humanities: Seeking Self-Determination", *Perm University Herald. History*, no. 3 (26), pp. 5–12.

Information about the authors.

Raisa I. Mamina – Dr. Sci. (Philosophy) (2007), Professor at the Department of Philosophy, Saint Petersburg Electrotechnical University, 5 Professor Popov str., St Petersburg 197376, Russia. The author of more than 100 scientific publications. Area of expertise: axiosphere of modern society, communication practices, etiquette space of corporate culture, cross-cultural cooperation, digital communications, digital etiquette, innovative educational trajectories. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3301-636X>. E-mail: MaminaRaisa@yandex.ru

Stanislav N. Pochebut – Senior Lecturer at the Department of Philosophy, Saint Petersburg Electrotechnical University, 5 Professor Popov street, St Petersburg 197376, Russia. The author of more than 25 scientific publications. Area of research interests: axiology, actual problems of modern education, cross-cultural communications, digital communications, digital etiquette, philosophical problems of innovations and innovations in science. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4608-0256>. E-mail: sniper2711@yandex.ru

О судьбе темпоральной экзистенции человека в техногенную эпоху: между мгновениями и минутами

Н. В. Серова✉

Государственный морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, Новороссийск, Россия

✉nvserova72@yandex.ru

Введение. В техногенную эпоху изменилось понимание людьми природы времени. Под влиянием современных технологий сформировался и широко распространился образ высокотехнологичного времени. Сегодня оно определило характер темпоральной экзистенции человека и стало посредством электронных часов инструментом ее дегуманизации. Предвидя эти угрозы, представители экзистенциализма приняли разработку темпоральной проблематики, начиная еще с середины XIX в. Центральное место в ней занял экзистенциальный анализ категории «мгновение» как специфического измерения темпоральной экзистенции человека. Выявляя различия смысла терминов «мгновение» и «минута» в философских и естественнонаучных интерпретациях, автор предположил возможность гуманизации современных технологических процессов посредством изменения представления о времени у современного человека.

Методология и источники. Методологической основой работы являются герменевтический и ретроспективный методы, методы экзистенциального и сравнительного анализов, применение экзистенциального, культурологического и междисциплинарного подходов. Произведен анализ философских текстов по проблеме изменения восприятия времени человеком в техногенную эпоху (Л. Мамфорд, М. Маклюэн, Дж. Нейсбит), трудов экзистенциальных философов, посвященных темпоральной проблематике (С. Кьеркегор, Н. Бердяев, М. Хайдеггер), теоретических работ по физике (С. Хокинг, Э. Сударшан, Дж. Ваккаро) и ряда работ о гуманитарных проблемах техногенной эпохи (Э. Балас, В. Тихонова, В. Степин, Л. Кузнецова).

Результаты и обсуждение. В статье рассматривается проблема преодоления дегуманизации темпоральности экзистенции человека под влиянием высокотехнологичного времени. Результатами изучения данной проблемы стали следующие выводы: во-первых, выявление причин дегуманизации темпоральной экзистенции человека, действующего в соответствии с высокотехнологичным временем; во-вторых, обоснование необходимости проведения различия между понятиями «минуты» объективного времени и «мгновения» темпоральности экзистенции человека; в-третьих, определение изучения темпоральной проблематики как условия гуманизации научно-технического развития современной эпохи.

Заключение. В техногенную эпоху судьба темпоральной экзистенции человека определяется его свободным выбором между минутами высокотехнологичного времени и мгновениями экзистенциального времени. Совершая свой выбор, человек определяет характер развития техногенной эпохи в направлении дегуманизации человеческого бытия или в направлении гуманизации технического мира. Правильный выбор зависит от широты изучения природы темпоральности человека и темпоральной проблематики в целом.

© Серова Н. В., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.



Ключевые слова: темпоральная экзистенция человека, экзистенциальное время, мгновение, техногенная эпоха, высокотехнологичное время, минута.

Для цитирования: Серова Н. В. О судьбе темпоральной экзистенции человека в техногенную эпоху: между мгновениями и минутами // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 28–39. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-28-39

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 19.02.2021; принята после рецензирования 12.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

On the Fate of the Temporal Existence of Man in the Technogenic Epoch: between Moments and Minutes

Natalya V. Serova✉

Admiral Ushakov Maritime State University, Novorossiysk, Russia

✉nvserova72@yandex.ru

Introduction. In the technogenic epoch, people's understanding of the nature of time has changed. The image of the high-tech time has formed and widely spread under the influence of modern technologies. Today, it has determined the nature of the temporal existence of person and has become, through the electronic clock, an instrument of its dehumanization. Anticipating these threats, the representatives of existentialism undertook the development of temporal problems starting from the middle of the XIX century. The existential analysis of the category "instant" as a specific dimension of the temporal existence of a person has taken a central place in it. Identifying the differences in the meaning of the terms "instant" and "minute" in philosophical and natural science interpretations, the author has suggested the possibility of humanizing modern technological processes by changing modern person's concept of time.

Methodology and sources. Hermeneutical and retrospective methods, methods of existential and comparative analyzes, the use of existential, cultural and interdisciplinary approaches have become the methodological basis of the work. The analysis of philosophical texts on the problem of changing the perception of time by person in the technogenic epoch (L. Mumford, M. McLuhan, D. Naisbitt), the works of existential philosophers devoted to temporal problems (S. Kierkegaard, N. Berdyaev, M. Heidegger) theoretical works on physics (S. Hawking, E. Sudarshan, J. Vaccaro), and a number of works on the humanitarian problems of the technogenic epoch was made (E. Balas, V. Tikhonova, V. Stepin, L. Kuznetsova).

Results and discussion. The problem of overcoming the dehumanization of the temporality of human existence under the influence of high-tech time was considered in the article. The following conclusions were the results of the study of this problem. First, the reasons for the dehumanization of the temporal existence of a person acting in accordance with high-tech time have been identified. Secondly, the need to distinguish between the concepts of "minutes" of objective time and "moments" of the temporality of human existence was justified. Third, the study of temporal problems was defined as a condition for the humanization of scientific and technological development of modern epoch.

Conclusion. In the technogenic, person's free choice between minutes of high-tech time and moments of existential time have determined the fate of his / her temporal existence. Making one's choice, a person has determined the character of the development of the technogenic epoch in the direction of the dehumanization of human existence or in the direction of the humanization of the technical world. The breadth of the study of the nature of human temporality and temporal issues in general will have affected the right choice.

Key words: temporal existence of man, existential time, moment, technological epoch, high-tech time, minute.

For citation: Serova N. V. On the Fate of the Temporal Existence of Man in the Technogenic Epoch: between Moments and Minutes. DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 28–39. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-28-39 (Russia).

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 19.02.2021; adopted after review 12.03.2021; published online 23.04.2021

Введение. Современные технология и техника оказывают всестороннее влияние на образ мысли и задают новые ритмы жизни человека, чем вызывают обеспокоенность ряда авторов [1–3] гуманистической составляющей техногенной цивилизации. Поводом для беспокойства о судьбе человека в условиях научно-технического прогресса является изменение понятия о времени. Решающим моментом начала этих изменений стало изобретение механических часов и затем широкое распространение электронных часов, задающих хронометрическое измерение и ускорение времени. Предвидя эти изменения и признавая за временем решающую роль в бытии человека, представители экзистенциализма [4–6] предприняли разработку темпоральной проблематики. Формулируя понятие о темпоральности как единстве многообразных переживаний времени в противоположность дискретному и однообразному времени объективного мира, они закладывали фундамент гуманизации техногенной цивилизации. Однако, по мнению философов XX в. [1, 7, 8], именно на его разрушение нацелены процессы механизации и автоматизации времени посредством современных технологий.

Актуальность обсуждения проблемы темпоральной экзистенции человека в техногенную эпоху объясняется угрозами ее дегуманизации. Признаками данного процесса являются, во-первых, тотальное подчинение темпоральности экзистенции человека временным ритмам, навязываемым техническим миром; во-вторых, нивелирование различия между хронологически определяемым объективным временем и темпоральной определенностью субъективного времени; в-третьих, семантическая подмена термина «мгновение» в дискуссионном поле темпоральной проблематики. Инструментом дегуманизации темпоральной экзистенции человека стали часы, технологическое усовершенствование которых позволило дифференцировать время на мельчайшие интервалы. Возрастающий дефицит высокотехнологичного времени, определяющего экзистенцию человека, порождает дефицит человечности.

Исходя из вышесказанного, целью данной работы стало определение судьбы темпоральной экзистенции человека при возрастании влияния и тотальном распространении технического мира. Достижение этой цели предполагает: во-первых, анализ выводов экзистенциального и культурологического подходов о роли часов для темпоральной экзистенции человека; во-вторых, определение направления изменения природы времени в эпоху механических и электронных часов; в-третьих, проведение герменевтического анализа философской категории «мгновение» по работам экзистенциалистов; в-четвертых, сравнение интерпретаций значения категорий «мгновение» и «минута» в философских текстах и теоретических работах по физике и выявление различий и совпадений.

Научная новизна работы состоит в применении междисциплинарного подхода к изучению проблемы дегуманизации темпоральной экзистенции человека в условиях механи-

зации и автоматизации времени посредством часов, а также в применении герменевтического метода для выявления различий и совпадений в интерпретациях терминов «мгновение» и «минута» для акцентирования внимания на гуманистической составляющей техногенной эпохи.

Методология и источники. В изучении проблемы темпоральной экзистенции человека в условиях техногенной цивилизации мы применили герменевтический и ретроспективный методы для выявления особенностей значения категории «мгновение» в учениях экзистенциалистов, метод экзистенциального анализа для определения роли часов в темпоральной экзистенции человека, сравнительный анализ интерпретаций значения терминов «мгновение» и «минута» в контексте междисциплинарного изучения проблемы времени. Произведен анализ философских текстов по проблеме влияния времени на человека в техногенную эпоху (Л. Мамфорд, М. Маклюэн, Дж. Нейсбит), философских трудов, посвященных темпоральной проблематике (С. Кьеркегор, Н. Бердяев, М. Хайдеггер), теоретических работ по физике (С. Хокинг, Э. Сударшан, Дж. Ваккаро¹) и ряда работ о гуманитарных проблемах техногенной эпохи (Э. Балас, В. Тихонова, В. Степин, Л. Кузнецова).

Результаты и обсуждение. На современном этапе развития техногенной цивилизации широко обсуждается вопрос «о необходимости гуманизации научно-технического развития, о придании ему человеческого измерения» [3, с. 11]. Гуманизация техногенной цивилизации направлена на понимание техники и технологий в качестве средств воплощения творческих способностей человека, разработки новых проектов и внедрения инноваций. Обосновывая приоритет гуманистических ценностей в развитии технического мира, Э. Балас² полагает, что «гуманизм обладает огромным потенциалом в организации исследований и поощрении постоянных стремлений, направленных на достижение успеха» [9, с. 146]. Гуманизм, по его мнению, выражается в сострадании, альтруизме, уважении, сочувствии и принятии ценностей культур других народов. Руководствуясь идеями гуманизма, можно построить всестороннюю и гуманную цивилизацию с помощью самых совершенных технологий и техники. Однако люди часто испытывают на себе «воздействие современных технологий, выражающееся в дегуманизации человеческого общества, в утрате четких традиционных моральных ориентиров, нравственных ценностей, в подрыве культурных основ, привычных форм коммуникации» [2, с. 13]. Непрерывное обновление технологий и повсеместное распространение техники повышает конкуренцию и стремление людей к самоутверждению как к смыслу своего бытия. Стремясь соответствовать требованиям технических нововведений, они не замечают, как становятся орудием дегуманизации собственной темпоральной экзистенции. Время конституирует экзистенцию человека, и потому необходимо проанализировать порождаемые техникой искажения его природы.

В философии проблема времени рассматривается экзистенциальным и культурологическим подходами и связывается с изобретением и усовершенствованием часов. В контек-

¹ Джоан Ваккаро (р. 1956) – профессор Университета Гриффита, член Центра квантовой динамики, член Центра физики, автор работ «Квантовая асимметрия между временем и пространством», «Аномалия пространства и времени и происхождение динамики», «Квантовая теория времени, блоковая Вселенная и человеческий опыт».

² Эндрю Балас (р. 1951) – доктор медицинских наук, доктор философии, профессор Университета Августы, член Европейской академии наук и искусств, автор работ «Инновационные исследования в области наук о жизни: пути к научному взаимодействию, улучшению общественного здоровья и экономическому прогрессу», «“Дорожная карта” для распространения инноваций в здравоохранении».

сте экзистенциального подхода первым, кто указал на опасную привычку людей ориентироваться во времени по часам, стал М. Хайдеггер. По его мнению, природные и механические часы являются таким «измерителем времени» [5, с. 461], под действием которого искажается природа самого времени. Это происходит потому, что благодаря часам время определяется «датируемостью» [5, с. 454] и подвергается делению и отсчету по минутам. Однако именно такое соотнесение времени с часами делает его понятным для большинства людей, и это «публичное время» [5, с. 462] кажется единственно возможным и необходимым для обустройства жизни. Времени не существует, если оно не предназначено для чего-нибудь или не связано с конкретными датами, событиями и предметами. «Взглянуть-на-часы основано во взять-себе-время и им ведомо» [5, с. 464]. Это представление, по мнению М. Хайдеггера, порождено из «несобственной временности» [5, с. 367] экзистенции человека, растрчивающего себя в повседневных заботах об окружающих его предметах и забывающего о самом себе. Человек использует часы в качестве инструмента, помогающего укоренить и широко распространить данное представление о времени.

В культурологическом смысле изобретение часов как нового достояния культуры стало причиной искаженного представления о природе времени. Оно выражается в том, что переход от природных часов к механическим повлек за собой «механизацию» [7, с. 372] времени. Суть этого процесса Л. Мамфорд видел в том, что «машина, механизировавшая само время, не просто упорядочивала ход дневных забот: она соизмеряла человеческие дела не с восходом и закатом солнца, а с условными перемещениями часовых и минутных стрелок» [7, с. 372]. С этого момента часы стали гарантом непрерывности и точного измерения времени и главным ориентиром человека во времени. Точность измерения времени связывали с разделением времени на одинаковые и дискретные отрезки – часы, минуты и секунды. Подсчет времени по часам научил человека упорядочивать свое существование во внешнем мире, но разучил переживать время во внутреннем опыте. Однако, вовлекаясь в механизированный и автоматизированный мир техники, человек не замечает, как «время отдаляется от ритмов человеческого опыта» [8, с. 164], и сам становится частью этого мира. Механические часы были усовершенствованы посредством электронных технологий, и в сознании людей зародилось понимание того, что «автомат времени в форме часов – лучший образчик всех более крупных систем автоматизации» [7, с. 373]. В этом смысле часы стали инструментом контроля за действиями и подавления спонтанности мысли человека, перед которым впервые встает выбор между минутами и мгновениями.

Совершая выбор в пользу гуманистических ценностей, но оставаясь частью технического мира, человек не осознает подмены безграничных мгновений своей души «мгновенностью» [10, с. 21] событий. Г. М. Маклюэн писал, что «время можно победить, так сказать, полным обращением его характеристик, стоит лишь в достаточной мере ускорить его ход» [8, с. 171]. Однако ряд авторов придерживаются иной точки зрения [1, 10], они рассматривают ускорение времени как причину «фрагментации действительности» [10, с. 21] и потери целостности экзистенции человека. Далее Маклюэн дополняет, что «мгновенные скорости отменяют время и пространство и возвращают человека в состояние интегрального и примитивного сознания» [8, с. 171]. Но фиксация времени высокоскоростных процессов ведет к его дифференциации на более малые дискретные отрезки, а не к интеграции его моментов в едином мгновении. Измерение движения атомов осуществляется в до-

лях секунды – микросекундах, наносекундах, пикосекундах и с помощью более точных приборов. В повседневной жизни люди не используют подобных приборов и ориентируются во времени по электронным часам. Однако высокоскоростная техника и высокие технологии порождают у них иное ощущение времени. Исходя из скоростей современной техники, Маклюэн выражает уверенность в том, что «в пространственно-временном мире электрической технологии прежнее механическое время начинает восприниматься как неприемлемое, уже хотя бы потому, что оно единообразно» [8, с. 166], и в соответствии с современной научной картиной мира должно существовать «так же много видов времени, как и видов жизни» [8, с. 167]. Мысль Маклюэна о многообразии времен подтверждается современными физическими теориями, изменяющими понятие о времени как универсальном измерении физических систем.

Э. Сударшан³ писал, что «практическая мера времени выводится путем наблюдения за изменением конфигурации физической системы, которая, как полагают, «движется» равномерно» [11, с. 16]. В этом смысле время не может быть одинаковой мерой для многообразного физического мира, и различные физические системы определяют свое временное измерение. Время представляется линейным и одинаковым из-за схожести физических систем. Но в результате приведения их в движение и взаимодействие время становится многообразным и цикличным. Находясь в разных стадиях развития, физические системы способны «расширению» [1, с. 68], «сжатию» [12, с. 188], «замедлению» [1, с. 92] или «ускорению» [8, с. 171] времени. Во всех состояниях время остается дифференцирующей и количественно измеряющей мерой объективного мира. Поэтому в качестве части физического мира человек всегда будет зависеть от циферблата часов, и новые технологии будут определять его «чувство времени» [1, с. 92] в соответствии с их усовершенствованием. Однако человек не ограничен техническим миром и может иметь более богатый опыт переживания времени.

Начало техногенной эпохи Дж. Нейсбит связывает с вытеснением механических часов электронными часами, когда «произошел сдвиг – от времени глубокой гуманности к времени высокой технологии» [1, с. 49]. Электронные часы отличаются точным исчислением времени, а механические допускают погрешности. Из-за повсеместного присутствия и постоянного усовершенствования электронные часы не оставили человеку возможности существования вне «высокотехнологичного времени» [1, с. 94]. Они стали частью компьютеров, сотовых телефонов, ресиверов спутникового телевидения, панели приборов автомобиля, и каждый прибор напоминает о времени. Парадоксальным образом власть «высокотехнологичного времени» [1, с. 94] проявляется в таких явлениях, как «недостаток времени, ускорение времени, реальное время, срок сдачи, контрольное время, множественная задача, отставание, изыскание времени, создание времени, потеря времени, заполнение времени, убить время, потратить время, даром потерять время, вовремя, вне графика, временные рамки, временной прорыв» [1, с. 49–50]. Устанавливая временные рамки, задавая

³ Эннакал Сударшан (1931–2018) – американский физик-теоретик, профессор Техасского университета в Остине, профессор Научного института Индии, автор V-A теории слабого взаимодействия, исследователь тахионов и основатель теории квантовой репрезентации когерентного измерения, автор работ «Введение в физику элементарных частиц», «Основы квантовой оптики», «Расширенные концепции в квантовой механике».

ускорение времени, заполняя собою время человека, техника порождает у него чувство нехватки времени. Смысл этого чувства не в потребности большего времени для общения с техникой, но в отсутствии общения человека с самим собой, т. е. в потере «экзистенциального времени» [6, с. 688].

Дж. Нейсбит полагает, что из-за сжатия времени под действием современной техники «наше общество выбито из колеи стрессом и спрессованным временем, и мы взываем к усовершенствованным решениям» [1, с. 54]. Однако их технологическая реализация повышает нехватку времени. Выход из этой ситуации Дж. Нейсбит видит в возврате к тому образу мышления и существования, который сопровождается увеличением времени. «Расширение времени» [1, с. 68] есть обратный сжатию процесс, когда человек уделяет время пониманию своего внутреннего мира, душевному общению с другими людьми и творческому преобразованию окружающей среды. Возвратное движение от «высокотехнологического времени» [1, с. 94] к «экзистенциальному времени» [6, с. 688] жизненно необходимо, так как, во-первых, время является основой экзистенции человека, и, во-вторых, сжатие времени, совершаемое его делением до мельчайших долей секунды, порождает губительный для человека миропорядок.

Выделяя фазы сжатия и расширения в развитии Вселенной, С. Хокинг обосновывал отсутствием энтропии то, что «на стадии сжатия никакой разумной жизни быть не могло» [12, с. 189] и что «разумные существа могут жить только в фазе расширения» [12, с. 190]. Современные технологии ведут к созданию прочной и долговечной техники и установлению технологически упорядоченного мира. Перед человеком встает выбор: подчиниться новому порядку, расписывая свою жизнь по минутам, или распорядиться каждым мгновением своей жизни. Это не только культурологический выбор между техногенной цивилизацией и человеческой культурой, но и экзистенциальный выбор между «несобственной временностью» и «собственной временностью» [5, с. 367]. Отказавшись от благ техногенной цивилизации, человек не всегда обретает свою подлинную темпоральную экзистенцию. Только нежелание человека вникнуть в суть собственной темпоральности является этому причиной, и его привязанность к «высокотехнологическому времени» [1, с. 94] есть лишь повод быть вне «экзистенциального времени» [6, с. 688]. Экзистенциальный подход выявляет причины привязанности людей к часам как к ориентиру во времени, а культурологический подход указывает на последствия этой привычки. Необходимо выявить, что же препятствует свободному выбору человека в пользу мгновений собственной темпоральности.

Понятие о мгновении экзистенциалисты связывали с поиском истинной темпоральности экзистенции человека. С. Кьеркегор и Н. Бердяев видели его значение в решении дилеммы времени и вечности, а М. Хайдеггер – в выборе между подлинной и неподлинной темпоральностью. В изучении этого вопроса их объединяла мысль о решающем значении мгновения, но каждый обосновывал ее по-своему. Согласно С. Кьеркегору, решающее значение мгновения проявляется в понимании человеком, что истинный смысл его экзистенции не предрешен вечностью и открывается благодаря временности его бытия. Но истинный смысл экзистенции человека известен только Богу, и только Он может открыть ему в вере, что он «есть нечто неистинное» [4, с. 14] и побудить к искуплению греха и исправлению неистинности его экзистенции. Становясь на путь искупления, человек осознает, что он совершает выбор «себя самого в истинном смысле» [13, с. 314]. Свободный выбор

истинной темпоральной экзистенции человек совершает в конкретном мгновении, и «в этот момент в бытии появилось вечное, которое до того в нем не было» [4, с. 13–14]. В мгновенном явлении вечности во времени человек духовно перерождается и, хотя он и остается все тем же, но «теперь это качественно другой человек, или, скажем так, новый человек» [4, с. 19]. В это мгновение он осознает, что самое ценное в нем есть его душа, развитие которой должно стать целью его экзистенции. «Раз человеческая личность, – писал С. Кьеркегор, – осознает свое вечное и неизменное значение, она осознает и свое значение в земной жизни» [13, с. 268]. Краткое, как все моменты времени, мгновение не исчезает и увековечивается решением человека в пользу истинного бытия. Каждый раз возвращаясь к этому мгновению, человек переживает связанный с ним духовный опыт и обретает «полноту времени» [4, с. 19] своей экзистенции. Для С. Кьеркегора было важно, что не «мгновение вновь обращается в вечность» [4, с. 13] и темпоральность не поглощается вечностью, но мгновение темпоральной экзистенции обретает вечный смысл.

Следуя идеям С. Кьеркегора, Н. А. Бердяев разработал учение об «экзистенциальном времени» [6, с. 688] и провел различие между моментами субъективного времени и моментами объективного времени. Он писал, что «мгновение экзистенциального времени не подчинено числу, оно не есть дробная часть времени в ряду времени объективированного» [6, с. 688]. Мгновения есть моменты глубоких и сильных переживаний человека, определяющие характер его экзистенции как вечной радости или как бесконечного страдания. В отличие от С. Кьеркегора, Н. А. Бердяев полагал, что «мгновение экзистенциального времени есть выход в вечность» [6, с. 688], и в вечности мгновение обретает свой истинный смысл. Но, как и его учитель, он не отождествлял темпоральность с вечностью и полагал, что только в некоторых моментах своей темпоральной экзистенции человек прорывается в творческом акте к вечности. В этом мгновении его темпоральная экзистенция не связана ни с одной минутой исчисляемого объективного времени.

Отмечая неудавшуюся С. Кьеркегору экзистенциальную интерпретацию мгновения и утверждая, что «он остается зависим от расхожей концепции времени и определяет мгновение с помощью теперь и вечности» [5, с. 380], М. Хайдеггер разделяет его мысль о решающем значении мгновения для подлинной темпоральной экзистенции человека. Обосновывая экстатическую природу темпоральности, М. Хайдеггер проводит различие между «собственной временностью» [5, с. 367], моментом настоящего которой является «мгновение-ока» [5, с. 379], и «несобственной временностью» [5, с. 367], настоящее которой выражается в «актуализации» [5, с. 366]. Термин «мгновение-ока» [5, с. 379], по мнению Хайдеггера, «подразумевает решительный, но в решимости сдержанный прорыв присутствия в то, что из озаботивших возможностей, обстоятельств встречает в ситуации» [5, с. 379]. Это – тот момент настоящего, когда человек, взаимодействуя с миром, не растрчивает свое время в заботах о вещах, но находит в этом взаимодействии новые возможности для возврата к «собственной экзистенции» [5, с. 369]. В моментах настоящего как «актуализации» [5, с. 366], напротив, «растрчиваясь, присутствие тратит само себя, т. е. свое время», и «тратя время, оно считается с ним» [5, с. 374]. Все, что окружает человека – предметы, события, люди, требует его участия и, проявляя его, он ведет «счет времени» [5, с. 374]. Расчет времени по минутам определяют отношения человека к миру. Поскольку он отводит это время для обустройства мира, а не своему личностному развитию,

постольку его бытие определяется «несобственной временностью» [5, с. 367]. Человек становится частью безличного объективного мира и только осознание своих будущих перспектив побуждает его к решительному выбору между растрачиванием себя в бесконечном потоке минут или обретением себя в каждом мгновении своей темпоральной экзистенции.

Анализируя интерпретации смысла термина «мгновение» в учениях Кьеркегора, Бердяева и Хайдеггера, мы пришли к выводу о том, что мгновение есть момент вечной истины для темпоральной экзистенции человека. Такое понятие о мгновении стало результатом проведенного экзистенциалистами разграничения между объективным и субъективным временем. Различие выявлено в том, что мгновения объективного времени – это минуты, которые имеют одинаковую длительность и подлежат количественному подсчету. Мгновения субъективного времени не имеют количественного измерения и не исчисляются, но характеризуются целостностью, глубиной, уникальностью и экстатичностью. Поэтому в одном мгновении единства вечности и времени человек, принадлежа не только природному, но и духовному миру, обретает свободу от безразличных к его судьбе часов.

В отличие от работ экзистенциалистов в естественнонаучной литературе разделение на объективное и субъективное время не проводится, и единственной мерой измерения явлений физического мира являются минуты. В произведениях экзистенциалистов термин «минута» [6, с. 688] выражает меру объективного времени, а термин «мгновение» соотносится с целостностью субъективного времени. В теоретических работах по физике дискретные и дифференцируемые единицы объективного времени описываются в терминах «момент времени» [14, с. 185], «интервал времени» [14, с. 186], «момент» [12, с. 186], «секунды», «минуты», «часы» [11, с. 16]. Термин «мгновение» не имеет самостоятельного физического выражения и соотносится с секундами и минутами. Благодаря теории относительности «время стало субъективным понятием, связанным с наблюдателем, который его измеряет» [12, с. 179], но он измеряет время все теми же дискретными величинами. В философском смысле мгновение – это не доли секунды, и оно длится столько, сколько человек продолжает любить, страдать, надеяться. Ни минуты, ни года не могут измерить глубины этих чувств. Духовные переживания могут быть соотнесены только с их духовным началом – вечностью. Из анализа интерпретаций терминов «мгновение» и «минута» в философской и естественнонаучной литературе следует, что, во-первых, минуты характеризуют время физического мира и имеют свой отсчет, а мгновения не имеют отсчета и не могут быть измерением объективного мира; во-вторых, духовные переживания человека не измеряются количественной мерой минут, и их ценность может передать только мгновение как духовное единство времени и вечности.

Заключение. В результате проведенного исследования были установлены два возможных варианта предопределения судьбы темпоральной экзистенции человека в условиях техногенной эпохи: подчинение логике высокотехнологичного времени и мгновенное распадение в бесконечном потоке минут или обретение целостности истинного бытия в мгновении экзистенциального времени. Сегодня выбор человека определяют современные технологии, которые посредством электронных часов формируют образ высокотехнологичного времени, бесконечно дифференцируемого и ускоряющегося. Как отмечает Б. М. Моисеев, «поскольку время – это показание часов, то с изменением хода часов меняется и ход времени» [15, с. 157]. Электронные часы стали ориентиром для человека

в высокотехнологичном времени, и он готов, согласно их показаниям, вести счет своему существованию. Однако, расписывая свое внешнее существование по минутам, человек входит в конфликт со своим внутренним миром, так как темпоральные переживания отчаяния, любви, надежды нельзя разделить на минуты. Применение культурологического и экзистенциального подходов позволило раскрыть механизм действия часов, изменяющих характер темпоральной экзистенции человека, для которого они стали единственным ориентиром во времени. Междисциплинарный подход помог, во-первых, выявить различия в понимании природы времени в физике и философии и, во-вторых, определить свойства минуты как количественной меры объективного времени и мгновения как качественной характеристики темпоральности экзистенции человека. Всестороннее изучение природы мгновения как условия обретения человеком своей истинной темпоральности было достигнуто путем осуществления герменевтического анализа.

Значение проведенного нами исследования состоит в определении условий предотвращения процесса дегуманизации темпоральной экзистенции человека при возрастании роли технического мира. Среди них необходимо подчеркнуть, во-первых, установление различия между высокотехнологичным временем технического мира и темпоральностью экзистенции человека; во-вторых, освобождение человека от навязываемых ему современными технологиями измерений и ритмов времени; в-третьих, дальнейшее развитие дискуссии по вопросам темпоральной проблематики в широком философском и научном контексте; в-четвертых, всестороннее изучение природы темпоральности экзистенции человека как условия гуманизации современного развития техники и технологий. Начало постановки темпоральной проблематики было положено гуманистическими идеями просветительского движения, которое в XIX–XX вв. было продолжено представителями экзистенциальной философии. По словам П. Тиллиха, «победа подавляющего механизма технического производства и то дегуманизирующее воздействие, которое это оказало на все индустриальное общество» [16, с. 455], вызвало протест ее представителей еще в XIX в. В XX в. при повышении роли техники в жизни человека идеи, порожденные развитием темпоральной проблематики, должны иметь широкое научное применение в целях гуманизации научно-технического развития современной эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность: технологии и наши поиски смысла / пер. с англ. А. Н. Анваера. М.: АСТ: Транзиткнига, 2005.
2. Тихонова В. А. Проблема будущего: социально-философский аспект. Вестн. МГУКИ. 2018. № 2 (82). С. 10–17.
3. Степин В. С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира в культуре техногенной цивилизации. М.: ИФ РАН, 1994.
4. Кьеркегор С. Философские крохи, или Крупицы мудрости / пер. с дат. Д. А. Лунгиной, под ред. В. Л. Махлина. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009.
5. Хайдеггер М. Бытие и время / пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков: Фолио, 2003.
6. Бердяев Н. А. О рабстве и свободе человека // Опыт парадоксальной этики. М.: АСТ, 2003. С. 425–701.
7. Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества / пер. с англ. Т. Азаркович, Б. Скуратова. М.: Логос, 2001.

8. Маклюэн Г. М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. В. Г. Николаева. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2003.
9. Balas E. A. Innovative Research in Life Sciences Pathways to Scientific Impact, Public Health Improvement, and Economic Progress. Hoboken, NJ: Wiley, 2019.
10. Амбарова П. А. Социальное время в контексте современного социологического знания // Вестн. Сургутского гос. пед. ун-та. 2015. № 2 (35). С. 13–24.
11. Sudarshan E. C. G. Time in physics and time in awareness // Space, time and the limits of human understanding / in Sh. Wuppuluri, G. Ghirardi (eds.). Cham: Springer International Publishing, 2017. P. 15–21.
12. Хокинг С. Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр / пер. с англ. Н. Я. Смородинской. СПб.: Амфора, 2015.
13. Кьеркегор С. Гармоническое развитие в человеческой личности эстетических и этических начал // Наслаждение и долг / пер. с дат. П. Ганзена. Киев: Air Land, 1994. С. 225–422.
14. Vaccaro J. A. An anomaly in space and time and the origin of dynamics // Space, time and the limits of human understanding / in Sh. Wuppuluri, G. Ghirardi (eds.). Cham: Springer International Publishing, 2017. P. 185–201.
15. Моисеев Б. М. Время как философская категория и как физическая величина. Вестн. ВГУ. Сер. Философия. 2013. № 1. С. 155–162.
16. Тиллих П. Киркегор как экзистенциальный мыслитель // Киркегор С. Наслаждение и долг / пер. с англ. Т. Вевюрко. Киев: Air Land, 1994. С. 452–456.

Информация об авторе.

Серова Наталья Викторовна – кандидат философских наук (2003), доцент кафедры гуманитарных дисциплин Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова, пр. Ленина, д. 93, 353918, Новороссийск, Россия. Автор 48 научных публикаций. Сфера научных интересов: философская антропология, философия техники, философия культуры, философия языка, феноменология, экзистенциализм. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4670-8242>. E-mail: nvserova72@yandex.ru

REFERENCES

1. Naisbitt, D. (2005), *Vysokaya tekhnologiya, glubokaya gumannost': tekhnologii i nashi poiski smysla* [High Tech – High Touch: Technology and Our Search for Meaning], Transl. by Anvaer, A.N., AST: Tranzitkniga, Moscow, RUS.
2. Tikhonova, V.A. (2018), "The problem of the future: the social philosophical aspects", *Vestnik of Moscow State University of Culture and Arts*, no. 2 (82), pp. 10–17.
3. Stepin, V.S. and Kuznetsova, L.F. (1994), *Nauchnaya kartina mira v kul'ture tekhnogennoi tsivilizatsii* [Scientific picture of the world in the culture of technogenic civilization], IF RAN, Moscow, RUS.
4. Kierkegaard, S. (2009), *Filosofskie krokhi ili Krupitsy mudrosti* [Philosophical crumbs or Grains of wisdom], Transl. by Lungina, D.A., in Makhlin, V.L. (ed.), Institut filosofii, teologii i istorii sv. Fomy, Moscow, RUS.
5. Heidegger, M. (2003), *Bytie i vremya* [Sein und Zeit], Transl. by Bibikhin, V.V., Folio, Khar'kov, RUS.
6. Berdyaev, N.A. (2003), "About slavery and human freedom", *Opyt paradoksal'noi etiki* [An experience of paradoxical ethics], AST, Moscow, RUS, pp. 425–701.
7. Mumford, L. (2001), *Mif mashiny. Tekhnika i razvitie chelovechestva* [The myth of the machine. Technology and human development], Transl. by Azarkovich, T. and Skuratov, B., Logos, Moscow, RUS.

8. McLuhan, G.M. (2003), *Ponimanie Media: Vneshnie rasshireniya cheloveka* [Understanding Media: The Extensions of Man], Transl. by Nikolaev, V.G., KANON-press-Ts, Moscow, RUS.
9. Balas, E.A. (2019), *Innovative Research in Life Sciences Pathways to Scientific Impact, Public Health Improvement, and Economic Progress*, Wiley, Hoboken, NJ, USA.
10. Ambarova, P.A. (2015), "Social time in the context of modern sociological knowledge", *Vestnik of Surgut State Pedagogical University*, no. 2 (35), pp. 13–24.
11. Sudarshan, E.C.G. (2017), "Time in physics and time in awareness", *Space, time and the limits of human understanding*, in Wuppuluri, Sh. and Ghirardi, G. (eds.), Springer International Publishing, Cham, Switzerland, pp. 15–21.
12. Hawking, S. (2015), *Kratkaya istoriya vremeni: Ot Bol'shogo vzryva do chernykh dyr* [A Brief History of Time], Transl. by Smorodinskaya, N.Ya., Amfora, SPb., RUS.
13. Kierkegaard, S. (1994), "Harmonious development of aesthetic and ethical principles in the human personality", *Naslazhdenie i dolg* [Delight and duty], Transl. by Ganzen, P., Air Land, Kiev, Ukraine, pp. 225–422.
14. Vaccaro, J.A. (2017), "An anomaly in space and time and the origin of dynamics", *Space, time and the limits of human understanding*, in Wuppuluri, Sh. and Ghirardi, G. (eds.), Springer International Publishing, Cham, Switzerland, pp. 185–201.
15. Moiseev, B.M. (2013), "Time as a philosophical category and as a physical quantity", *Vestnik of Voronezh State University. Philosophy*, no. 1, pp. 155–162.
16. Tillikh, P. (1994), "Kierkegaard as an existential thinker", *Naslazhdenie i dolg* [Delight and duty], Transl. by Vevyurko, T., Air Land, Kiev, Ukraine, pp. 452–456.

Information about the author.

Natalya V. Serova – Can. Sci. (Philosophy) (2003), Associated Professor at the Department of Humanities, Admiral Ushakov State Maritime University, 93 Lenin Avenue, Novorossiysk 353918, Russia. The author of 48 scientific publications. Area of expertise: philosophical anthropology, philosophy of technology, philosophy of culture, philosophy of language, phenomenology, existentialism. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4670-8242>. E-mail: nvserova72@yandex.ru

Особенности коммуникации совместно проживающих людей в период самоизоляции

Е. А. Пашковский✉

*Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия*

✉ egn-pashkovsky@rambler.ru

Введение. В статье анализируется влияние вынужденной самоизоляции в связи с пандемией коронавирусной инфекции весной 2020 г. на коммуникацию между людьми, проживающими вместе. Актуальность темы, помимо сложившейся в обществе ситуации, определяется тем, что межличностная коммуникация является фактором, оказывающим большое влияние на качество отношений между людьми, а значит, и психологической стабильности каждого индивида.

Цель статьи – рассмотреть влияние режима самоизоляции на коммуникацию между проживающими вместе людьми.

Методология и источники. Сложившаяся в современном обществе ситуация актуализирует ценность применения в практике межличностных коммуникаций методик анализа и управления коммуникативным поведением, таких как ненасильственная коммуникация М. Розенберга, транзакционный анализ Э. Берна, нейролингвистическое программирование. Автор статьи использовал их как источник для выявления ключевых проблем межличностной коммуникации во время самоизоляции.

Результаты и обсуждение. Для решения задач исследования мы провели анкетирование, в котором приняли участие 217 респондентов. Руководствуясь задачей максимально точно описать характер изменений в коммуникации между людьми, проживающими вместе, автор включил в анкету разные группы вопросов. Первая группа направлена на оценку общения в целом через попытку взглянуть на него со стороны. Далее респонденту предлагалось вспомнить трудности и положительные изменения, привнесенные в коммуникацию новым образом жизни и, возможно, эмоциональным состоянием. Следующие два вопроса были посвящены напряженным и конфликтным ситуациям: респонденту предлагалось оценить изменение их количества, а затем в открытом вопросе написать, как изменились способы решения таких ситуаций во время самоизоляции. Еще два вопроса были направлены на оценку изменений в коммуникативном поведении сожителей и собственном. В последнем, также открытом, вопросе автор интересовался общим характером изменений в общении с родными и друзьями, с которыми респондент не живет вместе.

Заключение. В ходе исследования подтвердилось авторское предположение о том, что в общении между проживающими вместе людьми в период вынужденной самоизоляции весной 2020 г. произошли существенные изменения.

Напряженных и конфликтных ситуаций в общении между сожителями в исследуемый период стало больше, что актуализировало поиск новых стратегий и техник

© Пашковский Е. А., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.



коммуникации для сохранения психологической стабильности межличностных отношений.

Многие респонденты отметили положительное влияние периода самоизоляции на их отношения с проживающими с ними людьми. Среди трудностей наиболее распространенными оказались усталость от общения, сложность в выражении своих эмоций, самораскрытии, а также рост количества конфликтов.

Ключевые слова: межличностная коммуникация, самоизоляция, управление эмоцией, межличностный конфликт.

Для цитирования: Пашковский Е. А. Особенности коммуникации совместно проживающих людей в период самоизоляции // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 40–55. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-40-55

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 08.02.2021; принята после рецензирования 11.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

Features of Communication of People Living Together during the Period of Self-isolation

Evgeny A. Pashkovsky[✉]

Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

[✉]egn-pashkovsky@rambler.ru

Introduction. The article analyzes the impact of forced self-isolation in connection with the coronavirus pandemic in the spring of 2020 on communication between people living together. The relevance of the topic, in addition to the current situation in society, is determined by the fact that interpersonal communication is a factor that has a great influence on the quality of relations between people, and therefore on the psychological stability of each individual.

The purpose of the article is to find out how the self-isolation regime affected the communication between people living together.

Methodology and sources. The current situation in modern society actualizes the value of using methods of analysis and management of communicative behavior in the practice of interpersonal communications, such as Nonviolent Communication by M. Rosenberg, Transactional Analysis by E. Berne, Neuro-Linguistic Programming. They were used by the author of the article as a source to identify the key problems of interpersonal communication during self-isolation.

Results and discussion. To solve the problems of the study, we conducted a survey, in which 217 respondents took part. Guided by the task to describe as accurately as possible the nature of changes in communication between people living together, the author included different groups of questions in the questionnaire. The first group is aimed at assessing communication as a whole through an attempt to look at it from the outside. Further, the respondent was asked to recall the difficulties and positive changes brought to communication by a new way of life and, possibly, by an emotional state. The next two questions were devoted to tense and conflict situations: the respondent was asked to evaluate the changes in their number, and then, in the open-ended question, write how the ways of solving such situations during self-isolation have changed. Two more questions were aimed at assessing changes in the communicative behavior of cohabitants and their own. In the last, also open-ended question, the author was interested in the general nature of changes in communication with family and friends with whom the respondent does not live together.

Conclusion. The study confirmed the author's assumption that there were significant changes in the communication between people living together during the period of forced self-isolation in the spring of 2020.

During the study period, there were more tense and conflict situations in communication between cohabitants, which made the search for new communication strategies and techniques to preserve the psychological stability of interpersonal relations.

Many respondents noted the positive impact of the period of self-isolation on their relationships with people living with them. Among the difficulties, the most common were communication fatigue, difficulty in expressing their emotions, self-disclosure, and an increase in the number of conflicts.

Key words: interpersonal communication, self-isolation, emotion management, interpersonal conflict.

For citation: Pashkovsky E. A. Features of Communication of People Living Together during the Period of Self-isolation. DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 40–55. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-40-55 (Russia).

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 08.02.2021; adopted after review 11.03.2021; published online 23.04.2021

Введение. В апреле 2020 г. в связи с пандемией коронавирусной инфекции федеральными и региональными органами власти были изданы нормативно-правовые акты, повлекшие значительные изменения в повседневной жизни подавляющего большинства россиян. Указом Президента была приостановлена деятельность части предприятий [1]. А постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121 гражданам, находящимся на территории города, было предписано не покидать места проживания за исключением экстренных случаев, а также «следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов» [2].

Как минимум на два месяца (апрель и май 2020 г.) многие россияне вынуждены были изменить свой привычный образ жизни, проводя дома гораздо больше времени, чем обычно. Такая внештатная и нарушающая социальную стабильность ситуация, как принуждение к самоизоляции в связи с пандемией вирусной инфекции, может приводить к тревогам, изменениям эмоционального состояния людей, отражающимся в межличностной коммуникации. Основная рассматриваемая проблема данной статьи заключается в раскрытии характера и особенностей этих изменений. В рамках исследования нас интересовала коммуникация между людьми, проживающими вместе: супругами разного возраста с детьми или без, друзьями, вместе арендующими квартиру, студентами, живущими в одной комнате общежития, членами семей, состоящих из представителей нескольких поколений. Можно было предположить, что людям понадобится находить новые модели общения, решения трудных и конфликтных коммуникативных ситуаций в связи с тем, что из-за самоизоляции была ограничена возможность избежать конфликта с помощью переключения на какую-то активную деятельность, требующую выхода из дома.

Можно было также предположить, что кто-то в итоге сблизился, какие-то отношения укрепились, другие, возможно, ухудшились или разрушились. Мы сформулировали иссле-

довательскую гипотезу следующим образом: длительная самоизоляция привела к усилению эмоционального давления друг на друга проживающими вместе людьми и актуализировала поиск и освоение ими новых коммуникативных практик, направленных на решение трудных и конфликтных ситуаций в межличностном общении.

Актуальность темы, помимо сложившейся в обществе ситуации, определяется тем, что межличностная коммуникация является фактором, оказывающим большое влияние на качество отношений между людьми, а значит, и психологической стабильности каждого индивида.

Цель статьи – рассмотрение влияния режима самоизоляции на коммуникацию между проживающими вместе людьми.

Методология и источники. Сложившаяся в современном обществе ситуация актуализирует ценность применения в практике межличностных коммуникаций ряда социально-психологических концепций, направленных на толкование, предсказание и управление поведением. Среди них ненасильственная коммуникация М. Розенберга, транзакционный анализ и анализ игр Э. Берна, нейролингвистическое программирование.

М. Розенберг определяет ненасильственную коммуникацию как способ общения и одновременно метод улучшения отношений между людьми [3]. Он предлагает способ общения в конфликтных ситуациях, нехарактерный для большинства межличностных коммуникаций, основанный на раскрытии собеседниками своих эмоций и потребностей при отсутствии критики поведения друг друга и акцентировании каждым участником общения только собственной ответственности за свои эмоции и поведение.

Создатель транзакционного анализа и анализа игр Э. Берн в своих исследованиях [4, 5] приводит читателя к выводу о ценности коммуникации, свободной от лицемерия, когда собеседник «осознает другого как феномен, воспринимает его и готов быть воспринятым». Такой способ коммуникации Берн называет «марсианским», отличая его от «обычного земного способа вести разговоры, который, как показывает история со времен Египта и Вавилона и до наших дней, ведет лишь к войнам, голоду, болезням и смерти, а выжившим оставляет лишь смятение в мыслях» [5, с. 12]. Большую роль в формировании конфликтов по Берну играют игры – один из способов времяпрепровождения, являющийся подменой реальной жизни и реальной близости. Причиной игр часто является страх чего-либо, заложенный в нас социальным, родительским программированием. Игры характеризуются прежде всего наличием скрытого мотива: «Если кто-то откровенно просит утешения и получает его – это операция. Но если кто-то просит утешения, а получив его, тут же оборачивает его против дающего, это игра. Следовательно, внешне игра напоминает набор операций, но после получения выигрыша становится очевидным, что эти “операции” были на самом деле маневрами; не честной просьбой, а ходами в игре» [4, с. 72].

Также игры отличаются от других видов времяпрепровождения тем, что дают возможность их участникам получить «выигрыш», который «связан с сохранением физического и психического равновесия. Он может проявляться в освобождении от напряжения, устранении психологически опасных ситуаций, приобретении “поглаживаний” и поддержании достигнутого равновесия» [4, с. 21]. В качестве более совершенного способа общения Берн рассматривает близость, когда «индивидуальное (обычно инстинктивное)

программирование выступает на первый план, а социальные схемы и скрытые ограничения и мотивы отступают» [4, с. 19].

Перечисленные выше школы и теории по-разному раскрывают особенности поведения в критические социальные периоды, каковым, безусловно, является принуждение к самоизоляции. Автором статьи эти теории были использованы как источник для выявления ключевых проблем межличностной коммуникации во время самоизоляции, а также отмечены как актуальные методики для повышения эффективности коммуникации в сложившейся обстановке.

Результаты и обсуждение. Для решения задач исследования мы провели анкетирование, в котором приняли участие 217 респондентов.

Большинство вопросов анкеты было сформулировано в технике шкалирования с целью измерения оценки эмоциональной интенсивности и динамики характера межличностного общения.

Первые два вопроса содержали просьбу указать возраст и пол респондента:

1. *Укажите, пожалуйста, Ваш возраст:*

18–22

23–27

28–39

40–49

50–59

60–69

70–79

80 или более

2. *Укажите, пожалуйста, Ваш пол:*

Мужской.

Женский.

Третий и четвертый вопросы были нацелены на общую оценку респондентами изменений их образа жизни во время самоизоляции и были заданы в широком контексте:

3. *Как изменился Ваш образ жизни в апреле–мае 2020 г.?*

Значительно, почти все время был дома.

Я стал больше оставаться дома, но продолжил работать/учиться, в целом как и раньше.

Мой образ жизни никак не изменился.

Другое:

4. *Произошли ли какие-то изменения в Вашем общении с домашними в апреле–мае 2020 г.?*

Да, характер нашего общения сильно изменился.

Да, некоторые изменения произошли, но их нельзя назвать значительными.

Скорее нет, все было примерно таким, как и прежде.

Нет, в нашем общении абсолютно ничего не поменялось.

Затрудняюсь с ответом.

В вопросах с пятого по девятый респондентам предлагалось оценить изменения в межличностном общении по нескольким параметрам: объем общения, уровень открыто-

сти/откровенности собеседников, степень эмоциональной экспрессии и отдельно – агрессии, уровень взаимопонимания.

5. Выберите один из вариантов, в большей степени характеризующий Ваше впечатление от общения с домашними в период самоизоляции:

Мы стали общаться больше, чем раньше.

Мы стали общаться меньше, чем раньше.

Мы общались примерно столько же, сколько и раньше.

Затрудняюсь с ответом.

6. Выберите один из вариантов, в большей степени характеризующий Ваше впечатление от общения с домашними в период самоизоляции:

Наше общение стало более мягким, спокойным, доброжелательным.

Наше общение стало более агрессивным, неуступчивым.

В нашем общении не добавилось спокойствия или агрессии.

Затрудняюсь с ответом.

7. Выберите один из вариантов, в большей степени характеризующий Ваше впечатление от общения с домашними в период самоизоляции:

Наше общение стало более откровенным.

Наше общение стало более «закрытым».

Уровень откровенности в нашем общении никак не изменился.

Затрудняюсь с ответом.

8. Выберите один из вариантов, в большей степени характеризующий Ваше впечатление от общения с домашними в период самоизоляции:

Наше общение стало более эмоциональным.

Наше общение стало менее эмоциональным и более «сухим».

Уровень эмоциональной экспрессии в нашем общении никак не изменился.

Затрудняюсь с ответом.

9. Выберите один из вариантов, в большей степени характеризующий Ваше впечатление от общения с домашними в период самоизоляции:

Мне кажется, мы стали лучше понимать друг друга.

Мне кажется, мы стали хуже понимать друг друга.

Мне кажется, наше взаимопонимание осталось на том же уровне, что и раньше.

Затрудняюсь с ответом.

Если эти вопросы предлагали оценить впечатления от коммуникации в целом, то следующие предлагали оценить ситуацию более субъективно, «от первого лица»:

10. С какими главными коммуникативными трудностями Вы столкнулись?

Сложно было выражать свои эмоции.

Чаще, чем обычно, был(а) не понят(а).

Мы стали больше спорить.

Стало сложнее договариваться по бытовым вопросам.

Стал(а) больше ощущать давление партнеров в процессе общения.

Слишком много общения для меня, немного устал(а) от него.

Сложно было раскрываться, говорить о чем-то личном.

Сложнее стало избегать конфликтов.

Другое:

11. Какие положительные изменения произошли в Вашем общении с домашними?

Выражать эмоции стало проще.

Мы достигли большего понимания друг друга.

Мы стали меньше спорить.

Стал(а) меньше ощущать давление на меня в процессе общения.

Стало проще договариваться по бытовым вопросам.

Общаться стало легче.

Стало меньше споров и недопонимания.

Другое:

Следующие два вопроса были посвящены напряженным и конфликтным ситуациям с целью более детальной проверки исследовательской гипотезы:

12. Как изменилось количество напряженных и конфликтных ситуаций в Вашем общении с домашними в период самоизоляции?

Сильно возросло.

Возросло в некоторой степени.

Не изменилось.

Напряженных и конфликтных ситуаций стало несколько меньше.

Напряженные и конфликтные ситуации полностью исчезли из нашего общения.

Затрудняюсь с ответом.

13. Опишите, пожалуйста, в одной-двух фразах, как во время самоизоляции изменились Ваши способы решения напряженных и конфликтных ситуаций в общении с домашними? (Открытый вопрос.)

Четырнадцатый и пятнадцатый вопросы носили в основном проверочный характер по отношению к предыдущим и были нацелены на получение более объективных результатов исследования:

14. Как Вам кажется, произошли ли какие-то изменения в манере общения с Вами кого-то одного или нескольких Ваших домашних? Если да, опишите их, пожалуйста.

Стали больше со мной разговаривать.

Стали раздражительнее.

Стали более мягкими и понимающими, больше идти навстречу.

Стали более эмоциональными.

Стали больше указывать мне, что надо делать.

Стали больше задавать вопросов.

Стали больше избегать общения.

Стали более закрытыми в общении.

Стали больше интересоваться моим мнением.

Появился запрос на лидерство с моей стороны, указания, что нужно делать.

Стали более открытыми.

Стали более чуткими в отношении меня.

Никаких изменений не заметил(а).

Другое:

15. Как Вам кажется, произошли ли изменения в Вашей собственной манере общения с домашними? Опишите их, пожалуйста.

Стал(а) больше стремиться к общению с домашними.

Старался(старалась) больше идти на компромисс в различных вопросах.

Стал(а) более эмоциональным(эмоциональной).

Стал(а) агрессивнее.

Стал(а) больше, чем раньше, указывать своим домашним, как им поступить.

Стал(а) иногда избегать общения с домашними.

Стал(а) более закрытым(закрытой) в общении.

Стал(а) общаться спокойнее и рассудительнее.

Стал(а) больше интересоваться мнением моих домашних.

Стал(а) добрее, более чутким(чуткой) в коммуникации.

Стал(а) больше ждать указаний, как мне поступить.

Никаких изменений в себе не заметил(а).

Другое:

Последний вопрос был также открытым и призван раскрыть тему в несколько более широком контексте.

16. Опишите, пожалуйста, произошли ли какие-то изменения с началом периода пандемии в Вашей коммуникации с близкими людьми (родными, друзьями), с которыми Вы НЕ живете под одной крышей? (Открытый вопрос.)

Перейдем к оценке результатов исследования. Возраст респондентов оказался следующим: 90 % респондентов – в возрасте от 18 до 27 лет, 8 % – от 28 до 49 лет, 2 % – 50 лет и старше. В исследовании приняли участие 55 % мужчин и 45 % женщин.

Образ жизни большинства значительно изменился в период вынужденной самоизоляции весной 2020 г. – на соответствующий вопрос положительно ответили 90 % респондентов.

38 % опрошенных отметили, что изменился и характер их общения с сожителями (здесь и далее слово «сожитель» мы употребляем в значении «тот, кто живет с кем-либо вместе, в одной комнате, квартире» [6]). Оба эти показателя актуализируют наше исследование (рис. 1).

Произошли ли какие-то изменения в Вашем общении с домашними в апреле–мае 2020 г.?

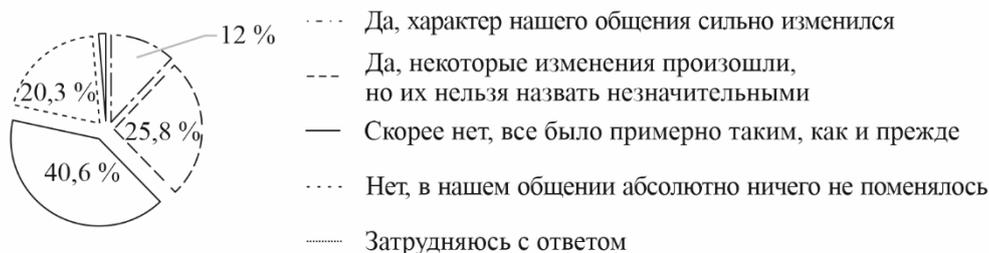


Рис. 1. Общее описание изменений в коммуникации с сожителями

Fig. 1. General description of changes in communication between people living together

Мы предприняли попытку прежде всего проанализировать опыт коммуникации респондентов, смотрящих на нее по прошествии времени со стороны, а не с позиции собственного

«Я», поскольку такой способ позволяет более объективно оценить ситуацию, сосредотачиваясь на происходящем в целом, а не на поведении отдельных ее участников. Здесь мы заинтересовались следующими пятью параметрами коммуникации: объем общения, уровень открытости/откровенности собеседников, степень эмоциональной экспрессии и отдельно – агрессии, а также уровень взаимопонимания как в определенной мере результирующий показатель: если человек считает, что у него существует взаимопонимание с теми, с кем он живет под одной крышей (а в подавляющем большинстве это те, кого мы определяем как близких, кто составляет часть нашего самого ближнего круга общения), то это является показателем высокой эффективности общения и более здоровых межличностных отношений. Безусловно, в том случае, если его коммуникативные партнеры склоняются к тому же мнению, что на практике происходит достаточно часто.

Что касается объема общения, то 42 % респондентов отметили, что стали общаться больше, чем раньше, что, вероятно, было ожидаемо. Отметим, что, по словам почти половины (49 %) опрошенных, во время самоизоляции они общались примерно столько же, сколько и раньше. При этом 90 % в ответе на уже приведенный вопрос отмечали, что стали больше оставаться дома. Таким образом, нахождение в одном физическом пространстве не привело к увеличению объема общения для значительного числа респондентов. Это могло быть вызвано занятостью на удаленной работе, а также наличием стереотипов поведения, всегда имеющих место в общении между людьми на любом уровне и определяющих как характер коммуникации, так и ее объем. Перестроение на другую модель может происходить, но постепенно, и два месяца самоизоляции могли быть для большинства людей недостаточным сроком для таких изменений. В этом плане показателем ответ одного из респондентов на вопрос о способах решения конфликтов: «Способы не изменились. Слишком маленький отрезок времени в сравнении с длительностью построения взаимоотношений».

Особую важность, на наш взгляд, представляет вопрос об уровне агрессии в коммуникации. Весной 2020 г. многие популярные специалисты в области человеческих взаимоотношений говорили о том, что итогом самоизоляции в различных семьях может быть либо усиление конфликтов, либо, наоборот, сближение членов семьи. Наше исследование в целом подтверждает данный тезис.

В сумме 32 % видят изменения в коммуникации по шкале «мягкость – агрессия» (рис. 2). Но большая часть из них (18 % респондентов) отметили, что общение стало более мягким, спокойным и доброжелательным. Показательно, что, отвечая на открытый вопрос о способах решения напряженных и конфликтных ситуаций, многие респонденты написали, что предпринимали попытку сделать коммуникацию более спокойной и мягкой, более снисходительно относиться к раздражающим и огорчающим ситуациям и действиям сожителей, чтобы «ужиться» друг с другом. Причем мотивация была разной: от понимания, что все находится в одинаково сложном положении (например: «Наверное, изменилось настроение, тональность общения. Повысился уровень тревожности, беспокойства о близких. Все старались найти что-то, что поможет здоровью или улучшению настроения»), до осознания, что уйти от конфликта, если он разгорится, некуда.

Также 20 % респондентов отметили, что их общение с домашними стало более откровенным, и лишь 6,5 % сообщили об обратной тенденции (рис. 3), что хочется отметить, как положительное для межличностных отношений последствие самоизоляции. В стрессовых

Выберите один из вариантов, в большей степени характеризующий Ваше впечатление от общения с домашними в период самоизоляции

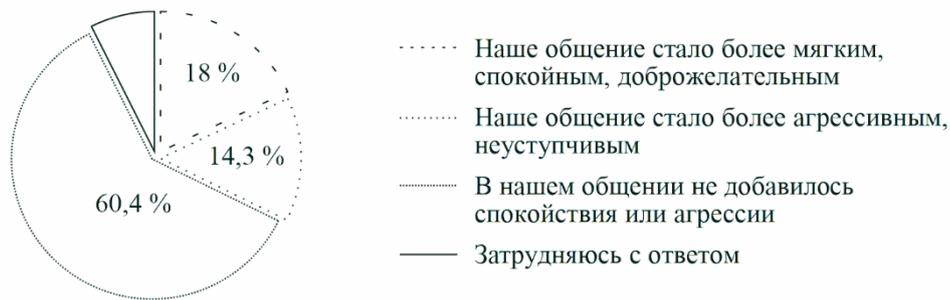


Рис. 2. Оценка респондентами коммуникации по шкале «мягкость – агрессия»
Fig. 2. Respondents' assessment of communication on the scale «softness – aggression»

ситуациях и в критические социальные периоды, к которым, безусловно, относится принуждение к самоизоляции, люди нередко проявляют в общении больше психологических защит. Часто такой собеседник воспринимается как более закрытый, его партнеры по общению обычно ощущают, что он неискренен. С другой стороны, находясь под воздействием умелого партнера по коммуникации или в силу других обстоятельств, таких как понимание, что обстановку в данный момент сменить не получится и придется приспособливаться к тому, что есть, человек может становиться более откровенным. Определенная степень самораскрытия, особенно в коммуникации на личном уровне, является необходимостью для построения здоровых межличностных отношений. В русле анализа игр Э. Берна самораскрытие и откровенность являются свойствами общения, сводящими на нет игры.

Выберите один из вариантов, в большей степени характеризующий Ваше впечатление от общения с домашними в период самоизоляции

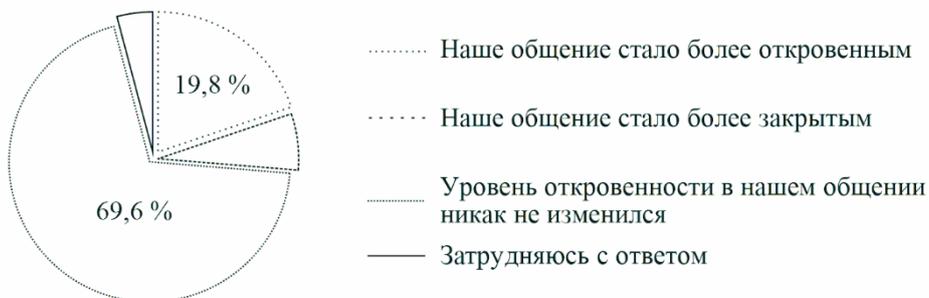


Рис. 3. Оценка респондентами коммуникации по шкале «закрытость – откровенность»
Fig. 3. Respondents' assessment of communication on the «openness – frankness» scale

24 % респондентов отметили, что общение с сожителями стало, по их впечатлению, более эмоциональным (рис. 4), что наряду с уже отмеченным ростом агрессивности в напряженные для общества периоды актуализирует использование в повседневных практиках общения концепции ненасильственной коммуникации М. Розенберга. Тенденцию к более эмоциональному общению можно рассматривать как положительное последствие самоизоляции: для построения более комфортных взаимоотношений эмоции несут важнейшую и необходимую к донесению до представителей ближайшего окружения индивида информацию о чувствах собеседника. Однако раскрытие сложных и негативных эмоций требует определенных навыков, позволяющих избежать при этом конфликтов.

Выберите один из вариантов, в большей степени характеризующий Ваше впечатление от общения с домашними в период самоизоляции

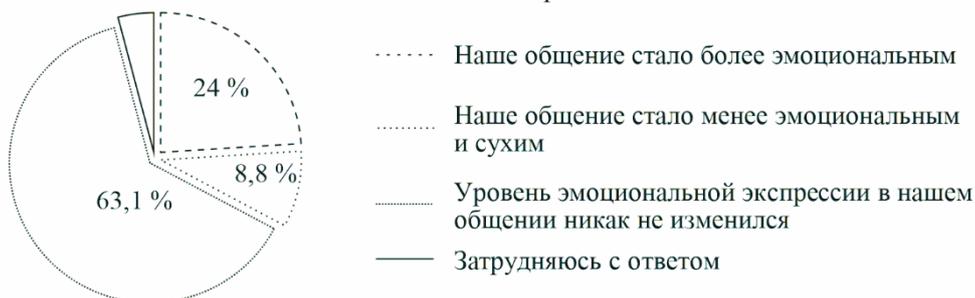


Рис. 4. Оценка респондентами коммуникации по степени ее эмоциональности
Fig. 4. Assessment of communication by respondents by the degree of its emotionality

И наконец, 30 % респондентов, отвечая на вопрос о степени взаимопонимания, отметили, что достигли, как им кажется, большего взаимопонимания со своими сожителями (рис. 5). В ответе на вопрос «Какие положительные изменения произошли в Вашем общении с домашними?» 31 % респондентов выбрали вариант «Мы достигли большего понимания друг друга», что можно считать подтверждением данной информации. Мы не интересовались у этих респондентов, сохранился ли более высокий уровень взаимопонимания на данный момент. Но обычно такие процессы свидетельствуют о развитии межличностных отношений и способствуют их переходу на качественно новый уровень.

Выберите один из вариантов, в большей степени характеризующий Ваше впечатление от общения с домашними в период самоизоляции

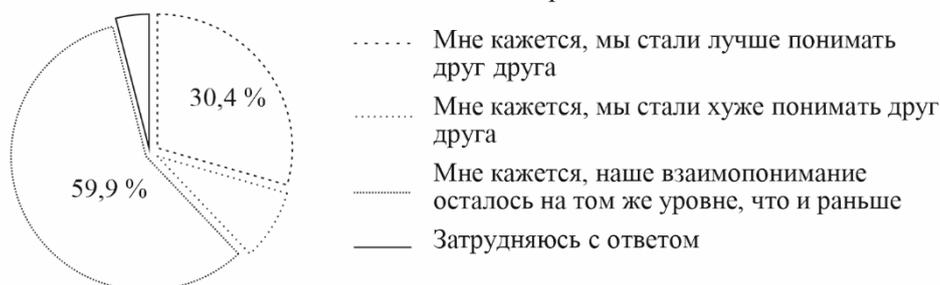


Рис. 5. Оценка респондентами изменения степени взаимопонимания с сожителями
Fig. 5. Respondents' assessment of the change in the degree of mutual understanding with people they live together

Далее рассмотрим коммуникативные трудности, с которыми столкнулись респонденты во время вынужденной самоизоляции. 38 % участников анкетирования отметили, что общения было слишком много и доводилось от него уставать. По 24 % опрошиваемых заключили, что «сложно было избегать конфликтов», «стало сложнее договариваться по бытовым вопросам», а 25 % стали больше спорить. 15 % выбрали вариант «Сложно было выражать свои эмоции». По 11 % респондентов отметили, что стали больше ощущать давление своих сожителей и что в общении было сложно раскрываться и говорить о чем-то личном.

На вопрос о положительных изменениях в коммуникации больше всего (31 %) респондентов отметили вариант «Мы достигли большего понимания друг друга», что, как мы уже упоминали, соответствует данным, полученным в одном из предыдущих вопросов. Заметим также, что лишь от 5 до 6,5 % респондентов в рамках ответов на другие вопросы отмечали,

что у них ухудшилось взаимопонимание, или они во время самоизоляции чаще, чем обычно, не были поняты. Также среди позитивных изменений: «Стало проще договариваться по бытовым вопросам» – 26 %, «Общаться стало легче» – 21 %, «Выражать эмоции стало проще» – 18 %, «Мы стали меньше спорить» – 14 %, «Стал(а) меньше ощущать давление на меня» – 10 %.

Относительно ответов на вопросы о трудностях и положительных изменениях в коммуникации отметим еще одну интересную закономерность. Респонденты-женщины значительно чаще, чем мужчины, не отмечали или почти не отмечали трудностей в коммуникации во время самоизоляции и при этом отмечали сразу несколько положительных изменений, связанных с улучшением взаимопонимания, простотой выражения эмоций, снижением количества споров. А респонденты-мужчины, наоборот, часто отмечали несколько трудностей и не находили положительных моментов в сложившейся ситуации. Вероятно, это связано с большей предрасположенностью женщин к коммуникации и выражению эмоций в силу воспитания, тогда как мужчины в результате социализации и освоения своей гендерной роли традиционно склонны к действиям, нежели общению.

Задача вопросов об оценке респондентами поведения партнеров по коммуникации во время самоизоляции и рефлексии относительно собственного поведения заключалась в верификации ответов на предыдущие вопросы об изменениях в общении, путем побуждения респондентов взглянуть на ситуацию с другой стороны, возможно – более привычным или простым способом, оценивая не происходящее в целом, а других и себя в отдельности; выявлении большего количества новых практик коммуникативного поведения, обретенных и примененных во время длительного пребывания рядом с сожителями.

На вопрос «Как Вам кажется, произошли ли какие-то изменения в манере общения с Вами кого-то одного или нескольких Ваших домашних?» наиболее популярными ответами были: «Никаких изменений» (34 % – обратим внимание, что это лишь треть опрошенных), «Стали больше со мной разговаривать» (33 %), «Стали больше задавать вопросов» (25 %). Последние два ответа, наверное, были ожидаемыми и могут представлять интерес в сравнении с самоанализом. Только 18 % респондентов заметили, что сами стали больше стремиться к общению, и 12 % – что стали больше интересоваться мнением своих домашних. Что касается дихотомии «стремление к общению / избегание», то здесь скажем, что только 5 % отметили, что их сожители стали иногда избегать общения, и 25 % заметили такую тенденцию в своем поведении.

Также среди ответов на вопрос об оценке поведения других членов семьи распространены варианты: «Стали более мягкими и понимающими» (18 %), «Стали больше интересоваться моим мнением» (13 %), «Стали более эмоциональными» (12 %), «Стали более открытыми» (12 %). Эти ответы являются консонансными ответам на соответствующие вопросы о характере коммуникации в целом и подтверждают выводы, сделанные нами ранее.

Относительно вопросов об оценке поведения сожителей и своего собственного можем отметить следующие закономерности: 16 % опрошенных отметили, что их домашние стали более раздражительными, и около 14 % заметили, что стали агрессивнее сами. 18 % отметили, что их сожители стали более мягкими и понимающими, больше идти навстречу, тогда как 30 % респондентов написали, что старались сами идти на компромисс; 18 % отметили, что домашние «стали больше указывать мне, что надо делать», и только 13 %

отметили, что подобное поведение было характерно и для них самих. В последних двух случаях, вероятно, прослеживаются традиционные искажения в восприятии – отрицательные изменения проще увидеть в других, а положительные – в себе.

Вернемся к одной из главных проблем самоизоляции – угрозе роста эмоционального давления друг на друга и проявлений излишней агрессии, актуальность которой подтвердилась, согласно уже упомянутым результатам нашего исследования: 18 % респондентов заметили, что их общение стало более агрессивным и неуступчивым, а главными коммуникативными трудностями в период самоизоляции после усталости от слишком большого количества общения были названы увеличение числа споров (25 %) и сложность избежания конфликтов (24 %). Также мы задавали вопрос «Как изменилось количество напряженных и конфликтных ситуаций в Вашем общении с домашними в период самоизоляции?». В сумме 31 % респондентов отметили их увеличение.

Для получения более подробного описания настроений респондентов в этой области, уточнения используемых ими практик коммуникативной работы с конфликтами нами был задан открытый вопрос «Опишите, пожалуйста, в одной-двух фразах, как во время самоизоляции изменились Ваши способы решения напряженных и конфликтных ситуаций в общении с домашними?». Большинство отметило, что эти стратегии никак не изменились. Среди других ответов наиболее частыми оказались два схожих варианта. Первый – поиск компромисса через разговор, разъяснение своей позиции и попытку понять позицию партнера, например: «Выслушивание и предложение вариантов», «Стали прислушиваться к мнению друг друга». Второй – уступка (при том, что противоречия часто на самом деле не разрешены), принятие всего «как есть», попытка относиться проще к ситуации, например: «Соглашаться с тем, чего от меня хотят», «Конфликт решается фразой “нет смысла спорить”», «Терплю конфликтные ситуации, уступаю». В логике транзакционного анализа и анализа игр первый вариант представляет собой шаг в сторону отказа от игр, как способ избежать пугающих в общении ситуаций, к подлинной близости, означающей «спонтанную, свободную от игры откровенность осознающего человека, свободу эйдетического восприятия неиспорченного Ребенка, со всей наивностью и непосредственностью живущего здесь и сейчас» [4, с. 329]. Вторая стратегия скорее всего приведет к развитию игр, поскольку она подразумевает не решение трудных ситуаций, а уход от них, попытку их проигнорировать.

Некоторыми респондентами стремление решить конфликт через обсуждение мнений сторон отмечается как вынужденное: «Стало сложнее обижаться, так как идти некуда»; «Так как самоизоляция предполагает постоянное нахождение дома, то конфликтные ситуации стали быстрее решаться. Ведь мало кому хочется день-два находиться в напряженной обстановке. Каждый из членов семьи стал идти на уступки»; «Так как есть понимание того, что “уйти” от проблемы не получится, возникла необходимость продолжать разбирать конфликтные ситуации, чтобы наладить общение»; «Приходилось снижать эмоции, потому что, находясь в четырех стенах, невыгодно ссориться с человеком на одной территории с тобой»; «Приходилось урегулировать конфликты быстрее, чем было до этого, поэтому мы стали легче уступать друг другу и прощать какие-то мелочи, нежели это было раньше».

В логике Э. Берна такое «принуждение» к общению может рассматриваться как игра, поскольку имеет скрытые мотивы и вознаграждения. Наличие скрытого мотива вероятно

из-за самой установки, что общение и поиск выхода из конфликтных ситуаций имеют отчасти вынужденный характер, что далеко не всегда будет открыто признаваться и проговариваться между партнерами по общению, а главное, не связано с искренним желанием разрешить сложные моменты, улучшить отношения.

Вознаграждения могут быть следующими.

Внутреннее психологическое вознаграждение (заключается, по Берну, в экономии психической энергии) в данном случае состоит в получении внимания от окружающих, в некоторых ситуациях – одобрения. Внешнее психологическое вознаграждение заключается в возможности при помощи игры избежать вызывающих страх ситуаций. В случае «принудительного общения» такой ситуацией может быть по-настоящему откровенное общение с близким человеком, когда решение конфликта, если бы оно рассматривалось не как принудительное действие, вынужденная или временная мера, а было бы попыткой разрешить противоречия на более глубоком уровне, могло бы привести к обсуждению более серьезных вещей, касающихся отношений, раскрытию ранее не высказанных эмоций или установок, с которыми потом придется «разбираться».

Внутреннее социальное вознаграждение состоит в самой возможности разыгрывать игру, что помогает человеку упорядочивать время, заполняя коммуникативное пространство транзакциями, ее составляющими. Это может проявляться, например, в постоянном подробном обсуждении конфликтных ситуаций, при этом не имеющем цель их по-настоящему разрешить. Внешнее социальное вознаграждение определяется тем, как используется ситуация для внешних социальных контактов, т. е. с представителями не самого близкого окружения. Во время самоизоляции оно может быть получено в процессе общения по телефону и видеосвязи, включающего рассказы о ситуации дома, ее обсуждения со знакомыми.

Биологическое вознаграждение заключается в обмене необходимыми поглаживаниями (по Берну – единица любого общения). В ситуации игры «Принуждение к общению» это могут быть реплики, связанные с положительной оценкой друг друга, или, наоборот, обмен воинственными фразами. В обоих случаях удовлетворяется базовая потребность человека в коммуникации. Экзистенциальное вознаграждение заключается в подтверждении жизненной позиции игрока. Например, «общение в семье должно быть мягким и вежливым, а конфликтов нужно избегать».

Ряд респондентов отмечает, что конфликты стали разрешаться лучше в связи с тем, что у них появилось время для их разрешения: «Появилось больше времени на разговоры, стало меньше повторяющихся конфликтов, потому что стали чаще приходиться к компромиссу»; «Появилось больше времени и способов решить бытовые вопросы, решение которых ранее могло вызвать затруднение».

Также некоторые респонденты акцентировали внимание на том, что освоили новые коммуникативные навыки и стали более эффективными в решении напряженных ситуаций: «Научился видеть некоторые типы конфликтов заранее, что помогает обходить их теперь»; «Решение конфликтов стало менее эмоциональным. Сократилось время от начала конфликта до его решения и примирения». Более того, ряд респондентов рассматривает самоизоляцию как подчеркнуто положительное явление не только в отношении коммуникации, но шире: «Лучший год в моей жизни спасибо COVID <3>»; «Мне понравилось. Готов оставить такой образ жизни на долгое время еще».

Последний заданный респондентам вопрос был открытым и заключался в просьбе описать любые изменения периода самоизоляции в коммуникации с друзьями, родными и другими близкими людьми, с которыми респондент не живет. На всем протяжении самоизоляции изменения в профессиональной деятельности, в том числе коммуникации в профессиональной среде, были на виду, о них много говорилось как в СМИ, так и в научной среде, а вот как изменились отношения людей с представителями ближайшего и более неформального окружения – тема куда менее раскрытая и вызывавшая у нас исследовательский интерес. Среди ответов на этот вопрос можно выделить три группы, примерно равные по объему: изменений не произошло; произошло сближение, усиление интереса друг к другу, улучшение отношений; произошло отдаление друг от друга или ухудшение отношений. Что касается второго варианта, в качестве причин сближения или улучшения отношений респонденты отмечали: положительное влияние коммуникации онлайн («Коммуникация просто перешла в онлайн – видеозвонки, голосовые сообщения, просто постоянные созвоны. Сократилось количество времени, физически проведенного вместе, но это не сказалось на качестве. Где-то даже напротив»); длительное ожидание встречи («С парнем улучшились отношения – больше ждала встречи»; «Появилось большее желание встречи и менее бытовые диалоги»); вероятно – осознание ценности коммуникации с близкими, возможности которой были ограничены («Стала больше слушать, захотелось чаще созваниваться»; «Стали меньше общаться, однако это общение стало более искренним»).

Заключение. В ходе исследования выдвинутая нами гипотеза частично подтвердилась. Напряженных и конфликтных ситуаций в общении между сожителями в исследуемый период стало больше, что актуализировало поиск новых стратегий и техник коммуникации для сохранения психологической стабильности межличностных отношений. Среди них респонденты наиболее часто называли более детальное обсуждение причин противоречий и конфликтных ситуаций, поиск компромисса, попытку лучше прислушиваться к мнению своих собеседников, стремление не обращать внимание на мелкие проблемы, уступку мнению партнера.

Многие респонденты отметили положительное влияние периода самоизоляции на их отношения с проживающими с ними людьми, в частности: рост взаимопонимания, получение новых коммуникативных навыков, в том числе связанных с решением трудных и конфликтных ситуаций, понимание ценности общения и отношений с близкими людьми.

Среди коммуникативных трудностей периода самоизоляции наиболее распространенными оказались усталость от общения, сложность в выражении своих эмоций, самораскрытии, а также рост количества конфликтов.

Сложности и изменения в коммуникации периода самоизоляции многими респондентами были оценены как интересный жизненный опыт, дающий новые возможности для саморазвития и развития межличностных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Указ Президента РФ № 239 от 02.04.2020. О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349217/ (дата обращения: 01.02.2021).

2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 182 от 03.04.2020. О внесении изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 121 от 13.03.2020. URL: <https://rg.ru/2020/04/03/spb-post182-reg-dok.html> (дата обращения: 01.02.2021).
3. Розенберг М. Язык жизни: Ненасильственное общение. СПб.: София, 2020.
4. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений / пер. с англ. А. А. Грузберга. М.: Эксмо, 2012.
5. Берн Э. Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / пер. с англ. А. А. Грузберга. М.: Эксмо, 2015.
6. Большой толковый словарь русского языка / под ред. С. А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998.

Информация об авторе.

Пашковский Евгений Александрович – кандидат политических наук (2013), доцент кафедры социологии и политологии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», ул. Проф. Попова, д. 5, 197376, Россия. Автор 20 научных публикаций. Сфера научных интересов: социология повседневности, социология эмоций, социальная психология, межличностная коммуникация. E-mail: egn-pashkovsky@rambler.ru

REFERENCES

1. "On measures to ensure the sanitary and epidemiological well-being of the population in the territory of the Russian Federation in connection with the spread of a new coronavirus infection (COVID-19)" (2020), *Ukaz Prezidenta RF № 239 ot 02.04.2020* [Decree of the President of the Russian Federation No. 239 dated 02.04.2020], available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349217/ (accessed 01.02.2021).
2. "On amendments to the Resolution of the Government of St. Petersburg dated 13.03.2020 No. 121" (2020), *Postanovlenie Pravitel'stva Sankt-Peterburga № 182 ot 03.04.2020* [Resolution of the Government of St. Petersburg No. 182 dated 03.04.2020], available at: <https://rg.ru/2020/04/03/spb-post182-reg-dok.html> (accessed: 01.02.2021).
3. Rozenberg, M. (2020), *Yazyk zhizni: Nenasil'stvennoe obshchenie* [Language of Life: Nonviolent Communication], Sofiya, SPb., RUS.
4. Berne, E. (2012), *Igry, v kotorye igrayut lyudi. Psikhologiya chelovecheskikh vzaimootnosheni* [Games People Play. The Psychology of Human Relationships], Transl. by Gruzberg, A.A., Eksmo, Moscow, RUS.
5. Berne, E. (2015), *Lyudi, kotorye igrayut v igry. Psikhologiya chelovecheskoi sud'by* [What so You Say After You Say Hello. The Psychology of Human Destiny], Transl. by Gruzberg, A.A., Eksmo, Moscow, RUS.
6. *Bol'shoi tolkovyi slovar' russkogo yazyka* [Great Dictionary of Russian language] (1998), in Kuznetsov, S.A. (ed.), Norint, SPb., RUS.

Information about the author.

Evgeny A. Pashkovsky – Can. Sci. (Policy) (2013), Associated Professor at the Department of Sociology and Political Science, Saint Petersburg Electrotechnical University, 5 Professor Popov str., St Petersburg 197376, Russia. The author of 20 scientific publications. Area of expertise: sociology of everyday life, sociology of emotions, social psychology, interpersonal communication. E-mail: egn-pashkovsky@rambler.ru

“My Daughter is not like That”: A Qualitative Study of Parental Perception on Child Sexual Abuse Risk

Eelmaa Simone[✉]

University of Tartu, Tartu, Estonia

[✉]simone.eelmaa@ut.ee

Introduction. Parental prevention efforts on child sexual abuse (CSA) are paramount for children to have better protection. However, parental awareness and beliefs are essential constituents influencing parental prevention efforts. Previous studies have revealed that parents tend to judge child sexual abuse as a low risk to their children, which in turn impacts CSA prevention activities. The aim of this study was to explore parental beliefs on the risk of CSA, specifically victim- and perpetrator-specific risk of child sexual abuse to their children, as well as parents' approaches to protecting their children.

Methodology and sources. Data were collected from 22 parents during focus group interviews (n=6) combined with activity-oriented questions.

Results and discussion. Based on data, four perpetrator and two victim-specific risk profiles were created. When parents find similarities between their children and perceived victims or perpetrators, it triggers the *defensive othering effect*, which acts as a subconscious protection mechanism, yet often creates inaccurate risk assessment and false confidence. The findings also tender that most parents do not teach their children the necessary skills related to CSA since they determine the risk to be low.

Conclusion. This study adds to our understanding of CSA-related risk perception and prevention approaches, offering a conceptual addition to the defensive attribution theory. Further investigation is needed on the impacts of the cognitive processes and psychological protection mechanisms in relation to CSA risk assessment. The data from this study will be useful in developing CSA prevention programs and materials.

Key words: child sexual abuse, defensive othering, focus groups, othering, parent-led CSA education, risk perception.

For citation: Simone E. “My Daughter is not like That”: A Qualitative Study of Parental Perception on Child Sexual Abuse Risk. DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 56–80. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-56-80.

Source of financing: the work was supported by a grant from Estonian Research Council (project No. PRG700 “Vulnerability in childhood and vulnerable subjectivity: interdisciplinary comparative perspective”).

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 16.01.2021; adopted after review 11.03.2021; published online 23.04.2021

© Simone E., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.



«Моя дочь не такая»: качественное исследование родительского восприятия риска сексуального насилия над детьми

Э. Симоне✉

Тартуский университет, Тарту, Эстония

✉simone.eelmaa@ut.ee

Введение. Родительские меры по предотвращению сексуального насилия над детьми чрезвычайно важны для обеспечения более эффективной защиты детей. Однако основными составляющими превентивных мер со стороны родителей являются информированность и убеждения родителей. Предыдущие исследования показали, что родители склонны считать риск сексуального насилия в отношении своих детей низким, что, в свою очередь, влияет на меры по предотвращению сексуального насилия над детьми. Цель настоящего исследования состоит в изучении родительских убеждений по поводу риска сексуального насилия над детьми, и в особенности связанного с преступником и жертвой риска сексуального насилия в отношении их детей, а также подходов родителей к обеспечению безопасности детей.

Методология и ресурсы. Данные были получены от 22 родителей в ходе интервью фокус-групп (n=6) с применением практических заданий.

Результаты и обсуждение. На основании полученных данных были созданы четыре профиля риска, связанного с преступником, и два профиля риска, связанного с жертвой. Когда родители обнаруживают у своих детей общие характеристики с преступниками или жертвами, это провоцирует эффект защитного отчуждения, который играет роль подсознательного защитного механизма, но часто приводит к неправильной оценке риска и ложной уверенности. Полученные наблюдения также указывают на то, что родители не обучают своих детей навыкам, связанным с риском сексуального насилия, потому что определяют этот риск как низкий.

Заключение. Настоящее исследование углубляет наше понимание восприятия риска в связи с сексуальным насилием над детьми и подхода к его предотвращению, предоставляя понятийное дополнение к теории защитной атрибуции. Требуется дальнейшее исследование влияния когнитивных процессов и механизмов психологической защиты на оценку риска сексуального насилия над детьми. Данные настоящего исследования будут использованы в материалах и программах по предотвращению сексуального насилия над детьми.

Ключевые слова: сексуальное насилие над детьми, защитное отчуждение, фокус-группы, отчуждение, восприятие риска.

Для цитирования: Симоне Э. «Моя дочь не такая»: качественное исследование родительского восприятия риска сексуального насилия над детьми // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 56–80. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-56-80.

Финансирование: работа выполнена при финансовой поддержке гранта Эстонского научного агентства (проект № PRG700 «Уязвимость в детстве и уязвимая субъективность: интердисциплинарная сравнительная перспектива»).

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 16.01.2021; принята после рецензирования 11.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

Introduction. Protecting children from sexual abuse (CSA) is the collective responsibility of parents, schools, and communities. Primary prevention serves best since it helps all children

gain the necessary skills and knowledge for better protection and does not stigmatize those at risk [1]. Although parents tend to have a fairly decent understanding of CSA, they do not provide children with accurate messages [2]. However, there are only a few qualitative inquiries on parental risk perception and approaches to prevention. To help fill this gap, parents' beliefs about victim- and perpetrator-specific risk to CSA and parental approaches to protecting their children are explored in this paper.

Previous studies reveal that parents tend to judge sexual abuse as a low risk to their children [3–6] and, due to such beliefs, do not engage in CSA prevention activities or discussions with their children. The topic's uncomfortable nature adds to the matter: parents feel they do not have the knowledge or vocabulary to discuss the issue [6]. Besides the reluctance to discuss the matter with their children due to low-risk assessment [4], insufficient knowledge or lack of confidence [7], some parents fear discussing CSA would cause children to know too much about sex [8]. Furthermore, Collins [5] found that some parents feel that if they are good enough parents and can keep their children safe, they do not need to teach their children about safety or other prevention matters. Parents may also feel sexual abuse is not a severe direct threat to their children [9], but rather a problem of generalized "others". The lack of general awareness of CSA and considering the risk of CSA to be low are common barriers to parental discussions of CSA with their children [10, 11]. Briggs [12] found three out of four parents do not discuss CSA or sexual boundaries with their children at all, while another study demonstrated 40 percent of parents not having those discussions with their children [3]. A more recent study revealed that around 55 percent of parents had these discussions [13].

Another issue is the still prevailing misconceptions regarding child sexual abuse and online grooming. For example, one common parental suggestion for CSA prevention is wearing appropriate clothing [14], which reflects a belief that victimization is under the control of the victim. Another is the still-common practice of teaching children about the "stranger danger" [3, 8, 10, 14–16], and deliberately or not, parents tend to focus on the idea that children ought not to engage in online activities with strangers. A strong focus is on conveying the possible consequence of kidnapping as a result of sharing information or establishing relationships with strangers [17]. However, these approaches reflect a common misconception that sexual predators are mainly strangers who prey on children, when, in fact, friends and other acquaintances make up a substantial portion of perpetrators [18]. A report from 2007 showed that in 30 to 50 % of sexual abuse cases, the perpetrator was an adolescent [19]. In general, these numbers match with online forms of sexual offending against children [20].

Disclosing sexual abuse is a complicated and dialogical process influenced by individual, contextual, familial, and cultural hallmarks [21]. A 2009 study showed most children do not disclose abuse immediately, almost 60 % delay disclosure for more than five years, and around 20 % had never told anyone [22]. With bothersome online experiences, around one-third of children reported discussing their concerns with a parent [23]. Nonetheless, as turning to a parent was found to be approximately five times more likely than seeking help from a teacher, parental mediation may have a crucial role in children disclosing their concerns or turning to a parent for information on sensitive issues [23]. Children who have the necessary knowledge are more likely to disclose sexual abuse [24]; hence teaching children the necessary skills about the risk of CSA both online and offline may be of vital importance.

Risk perception itself is a crucial factor in influencing behavior. Moreover, given that parents who perceive the risk of CSA as higher are more likely to discuss CSA with their children [13], parental risk perception warrants further inquiry. Collins [4] also studied parents' perceptions of the risk of CSA and found a discrepancy between their risk perception of other children compared to their own. However, that study was conducted over 25 years ago and may not provide an adequate understanding of the current situation, particularly as technology has profoundly evolved over time. In the current paper, parental beliefs on the risk of CSA and their respective roles in protecting their children are explored. For this purpose, answers to the following **research questions** are sought:

1. Whom do parents see as potential risks and whom they see potentially at risk of CSA?
2. How do parents view their children in relation to these risk profiles?
3. How do parents view keeping their children safe from sexual abuse?

Methodology and sources. The epistemological foundation of this study was social constructionism [25, pp. 42–44]. Qualitative methods enabled to explore and uncover how parents understand and make sense of sexual abuse and related risks and their underlying attitudes and perceptions about the issue. The study was designed and piloted from spring 2019 until the beginning of empirical data collection in late 2019. Though a real-time face-to-face interview mode was initially planned, a dyadic interview setting for collecting data on this topic appeared impractical. Firstly, discussion in a group setting facilitates the natural flow of a conversation, where the synergy between participants serves to elicit responses without much interference from the researcher. The dynamic of reciprocally stimulating conversation is, in most cases, absent in individual interviews where participant merely gives direct answers to specific questions. The group dynamic has the potential to produce more diverse topics and themes, as the interactional setting may feel more comfortable and encouraging for participants [26–28], as well as less constraining. Secondly, the interplay between participants enables insight into the language and vocabulary [26] commonly used to describe beliefs about sexual abuse victims and perpetrators. As language is a form of social practice and is determined by social structures [29, pp. 22–27], the interactional approach helps to understand better the metalevel of these discussions, the possible roots of their views, and the use of language that is comfortable and intelligible for participants. Also, the process of data collection in focus groups provides an additional facet to the data – interactions between participants [28]. Ergo, focus group interviews combined with activity-oriented questions [30] were utilized for collecting data.

Participants and recruitment. 22 participants, aged 26-to-47, were purposively recruited using online possibilities. A maximum variation sampling was used to reflect a range of demographics (such as gender, age, ethnicity, family demographics). An invitation to participate was forwarded *via* primary and secondary schools' mailing lists and a neurodivergence themed Facebook group. Schools were selected by the largest public schools by student population from three different regions across the country. The Facebook group was chosen to include the voice of parents of neurodiverse children (n=2). Parents who did not have school-aged children, good command of Estonian, or had only adult children were excluded from the study. Participants were parents of 1 to 4 children (55 % of children were daughters). All participants had at least one school-aged child; around half of the participants were also parents of toddlers or preschoolers. Though all fathers interested in participating in the study were included in the

sample (n=6), mothers represented a majority (n=16). The sample included 17 Estonians and five Russians (one male, four female). Good command of the Estonian language was determined during recruitment efforts. Though the designated sample included 29 eligible participants, 7 people withdrew or did not attend for other reasons. Financial incentive was not provided for participation.

Procedure. Data was gathered using focus group interviews combined with activity-oriented questions. Stratified randomization was used to allocate participants into three groups based on their geographical location. Next, computer-generated randomization was done on each group to randomly allocate participants into focus groups. The only exception was parents from the same household who insisted on participating together and were added to the focus group from their region with the least participants. Three groups included mothers and fathers and three solely mothers. Focus groups took place across Estonia, in urban and suburban areas in three different regions. Interviews were audio-recorded, conducted in Estonian, and the length of each varied from 1 to 2 hours.

Six focus group interviews were conducted; each consisted of three to four participants. The small group size was chosen purposively for 2 main reasons: to ensure all participants could actively take part in conversations and to provide a more intimate and secure atmosphere for discussions. More sizable groups would have made these goals far difficult to achieve. As the groups were small, getting to know other participants and remembering their names was rather effortless and, in turn, made the overall ambiance relaxed even before the interview formally started. The suitable location was always chosen by bearing in mind the convenience for participants and the overall ambiance of regular everyday conversational situations. All the focus groups were held in informal settings (i. e., in a living-room area, café, or a patio in the backyard).

The sensitive nature of the study was explained to parents during recruitment efforts to make sure potential participants could make an informed decision to participate in the study. Upon meeting, participants were introduced to each other and accosted with refreshments of their preference and an opening conversation about participating in research. Besides starting a conversation between participants, I was able to get some insight into their thoughts, worries, and expectations regarding their participation in the study. At the beginning of interviews, research aims, ethical and legal considerations of participation, and what would be done with the results were explained; we also agreed upon some ground rules for discussions. I explained that there are no right or wrong answers, that everyone's views are important, and that one can always refrain from participating or take back their overall consent without the need to explain anything [31]. We agreed to respect others' views and refrain from judgments on others' accounts. I assured participants that in case of any distress or discomfort, they can always refrain from participating, take a break, or decide not to participate in the study. I also explained my role as a moderator but not a participant in discussions. After, every participant's informed consent and permission to use an audio-recorder was elicited. For background information, parents were asked to state their age, the number of children they have, and the age and gender of their children. Safeguarding and supporting participants' psychological and emotional wellbeing was central throughout the research process [31]. While facilitating focus groups, due attention was given to the general atmosphere of discussions, participants' interactions with each other, and

any visible distress. Interactions between participants were mostly limited to encouraging sharing, even in accounts of subversive views.

Measures. The study was designed in 3 stages, each focusing on a separate topic: general knowledge of CSA, knowledge and perception of CSA risk, and prevention of CSA. Each stage started with an assignment prescribed to be completed either as a group or individually and was followed by a group discussion apart from the 2nd stage, which had 2 assignments. Around 15 minutes were given for each assignment and the following discussion in the group (accounting for an estimation of 60 minutes for four assignments). This activity-oriented approach was chosen due to the sensitive nature of the study as discussion concurrent or following practical activities may help to reduce stress and discomfort with the topic, allow participants more time to reflect and organize their ideas [30], and engage all participants simultaneously in the deliberation of their answers. Before each assignment, it was reminded that there is no consensus requirement, and all views are valuable.

For the 1st assignment, participants were given a pen and paper and asked to do the following: “Please map sexual risks¹ together as a group. Also, provide a meaning to each risk”² (translated from Estonian). The exact format was chosen by participants; mostly concept maps and lists were used. In the 2nd stage, participants were given two assignments. Firstly, to individually draw or write down whom they considered as a person who would sexually harm children, and then to present and discuss their views in the group. And then, to work together as a group and create a profile of children who, according to their views, are at risk.³ The last assignment was a combination of case vignettes and role enactments (role-play) on issues related to CSA prevention, disclosure, and help-seeking. Assignments were conducted without moderator’s interference. After finishing each assignment, follow-up questions were asked by the moderator to elaborate or specify things that seemed unclear.⁴ After finishing discussions, I asked how participants were feeling about discussing such topics. Parents were keen to ask about possible approaches to issues or available resources on the topic; the most common concern was how to start these conversations with their children. I answered their questions and agreed to provide more detailed information and resources later *via* email. I encouraged them to write any follow-up questions or concerns and assured them that results and publications related to this study would be shared with them when finished [31].

¹ The term *sexual risks* was not further defined or explained, it was up to participants to decide what and how they define as sexual risks. The assignment also did not include a reference to children because the pilot test showed that framing the question (in different ways) that includes the phrase *children* leads participants or creates a bias (e. g., sexual risks to children, sexual risks children may encounter, sexual risks that threaten children, sexual risks children may be exposed to etc.). Also, the pilot further showed that the use of the term would need either an explanation that children in this study means anyone under the age of 18, or should be accompanied with a term referencing to adolescents (though this term is not necessarily limited to people below 18). Furthermore, as participants were informed during recruitment and at the beginning of the study that children are the focus of this study, the assignment description was clear even without any reference to them. For those reasons any reference to children was excluded from the assignment description.

² The phrase “*risks*” (in Estonian) was used since the pilot test showed that (Estonian) phrases *exploitation*, *abuse* or *crime* create a strong disposition towards (physically) violent acts. The phrase “*risks*” was found to be the most suitable for the study.

³ As parents already mapped out and discussed different acts they consider as sexual risks, the assignment did not need to specify further.

⁴ Some examples of follow-up questions: „*you mentioned earlier that they must be sick, can you tell me what do you mean by that?*“, „*you mentioned a dysfunctional family, can you explain that a little?*“, „*can someone please explain me again what role does bad parenting have?*“, „*you mentioned that they should learn these things at school, can you clarify what was meant by that?*“, „*what has been the hardest in such discussions with your children?*“, „*what kind of information would be helpful for preventional matters?*“.

During focus groups, I made reflective notes about relevant observations from interactions, emerging themes, and patterns in discussions, issues, or statements that needed follow-up questions and practical methodological considerations. The data from these memos were concurrently analyzed to improve the data collection process and to understand emerging themes and patterns in focus groups to demarcate reaching the data saturation point and cease the data collection.

Data Analyses. For the transcription of data, all participants were given a pseudonym, and all references to personal data such as names or places were redacted to ensure the protection of participants' interests. Data was analyzed with a six-step thematic analysis: (1) transcribing and familiarizing myself with the data; (2) initial coding; (3) theme search; (4) systematization of themes into a thematic map; (5) defining and naming the themes; followed by (6) analysis and writing the article [32]. The inductive data-driven approach was used to answer research questions.

Findings were categorized into four key themes: (a) parental perceptions on victims of CSA; (b) parental perceptions on perpetrators of CSA; (c) parental views on their children in relation to these risk profiles; and (d) parental beliefs about the role of parents in CSA risk and approaches to protect their children. Though other themes also emerged,⁵ these do not fit the focus of this article. Constructions of parental perceptions related to victims and perpetrators of CSA are labeled throughout this study as "risk profiles," though let me emphasize that the profiles presented in the findings section are not provided to represent an accurate or objective depiction of the risk of CSA, but as constructions of subjective perceptions and beliefs held by parents participated in the study.

Profiles were named by the author using words most used by parents in the context of each specific profile. Though some parents immediately expressed that there are different types of perpetrators, most parents created one profile that included some or most of the characteristics across profiles (presented in the Results section) presented initially as one general risk profile. However, it became evident during group discussions that these are not general characteristics, but mostly, certain characteristics apply only to certain profiles. Following the data, 4 different perpetrator profiles were constructed. Similar patterns were seen with discussing victim-related risk. Parents created 1 profile which included many different characteristics, yet as the reasoning (related to risk) and parental attitudes towards some characteristics differed, it was pertinent to categorize these characteristics accordingly. This is how 2 types of victim "profiles" were constructed. The risk arising from parents is also presented in the Results section, though creating such a profile was not part of any assignment during focus groups, nor did parents create it purposively. The data for parental risk profiles impacting CSA risk was gathered from consistent references to it during discussions.

Results. The findings are presented as 4 key themes.

Theme 1: Parental perceptions of victims of child sexual abuse.

Parents' attitudes on the CSA risk perception related to victims were roughly divided into 2. Parents held that some children are unfortunate and victimized because adults fail them, and then

⁵ Examples of some additional themes in the data – 1. parental views on the harmfulness of encountering sexual risks; 2. what is considered a sexual risk; 3. online vs offline sexual risks; 4. responsibility to protect; 5. criteria for deciding an act to be criminal; 6. sources of information.

some are exploited due to personal decisions or factors that increase their vulnerability. The outline of whom do parents consider to be at a higher risk of CSA victimization is presented in fig. 1 below. For clarity, risk profiles are named Type One and Type Two.

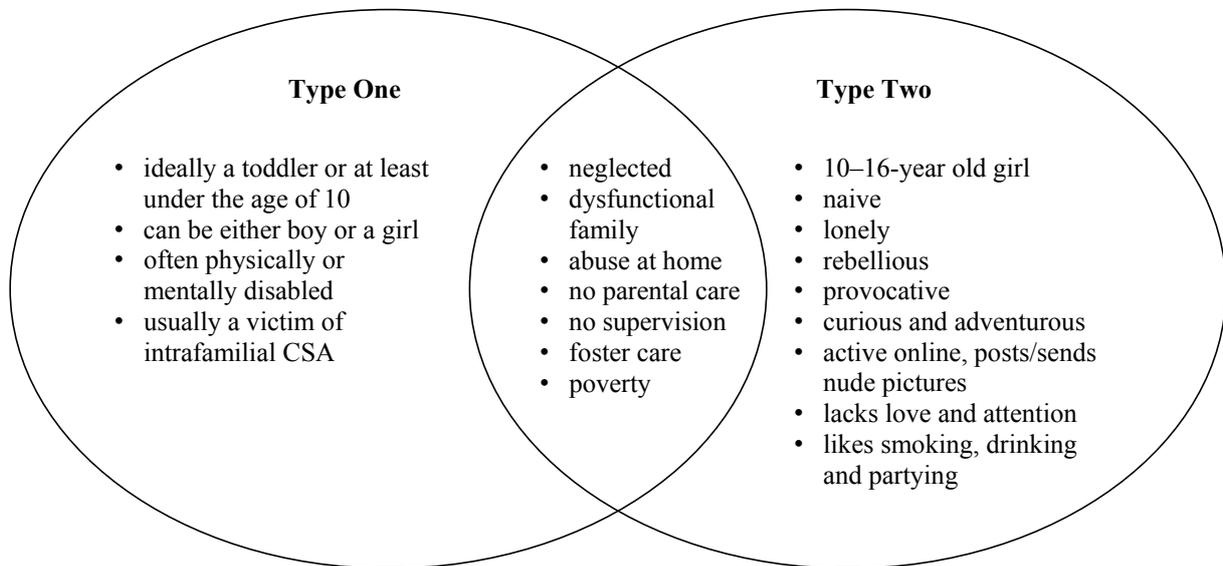


Fig. 1. A construction of victim risk profiles perceived by parents

1.1. Characteristics of the Type One victim profile. According to parents, Type One victims are toddlers or young children, who could be either boys or girls and in many cases are disabled. Either way, parents agreed that due to their age or disability, children were unable to fight back or protect themselves from abuse. Parents also assumed online sexual risks seldom threaten Type One victims since they said to be small children who are not as active or reachable online. Though some parents suggested that the online component of abuse could be present if the perpetrator, for instance, shares child sexual abuse material (CSAM) of the child, yet this was seen more as an exception to the general pattern.

Parents mostly described Type One by relying on uniform characteristics that cannot be changed or controlled by the victim, such as age or gender. The Type One victims were spoken about empathetically, and there was no apparent victim-blaming present in discussions. Parents believe that these children face a number of adverse health outcomes due to ongoing abuse. In one focus-group, parents went further to discuss that abusers specifically target children below the age of comprehension or ability to fight back as a strategy to ensure both ongoing and easy access to the victim, and to mitigate the chances of getting caught. Parents agreed that murdering victims to protect themselves from getting caught is unlikely since the abuse is rarely remembered, believed, and young children are unable to seek help. Parents said that the most likely scenario is that the perpetrator seeks a new victim who meets the criteria. Another explanation was that when victims of intrafamilial CSA become older and understand what was done to them, they may feel intense shame and decide to keep it a secret, but not all parents agreed to this being feasible. The general tendency was associating Type One victims with intrafamilial CSA.

1.2. Characteristics of the Type Two victim profile. Type Two victims are girls between the ages of 10–16-years. Parents constructed this risk profile with characteristics associated with psyche, attitude, behavior, and appearance. Type Two victims were systematically blamed and

sometimes even shamed by parents. It was nearly a consensus that some young people are sexually abused because they seek adventures and thrill. A more substantial consensus among parents was that in most cases where CSA is occurring online or starts with online communication, the child is more engaged and may even be seeking attention – even sexual attention – so is more vulnerable to CSA. Some parents elaborated that in many cases, adults take advantage of these girls because such girls are naive and lonely. One persistent inclination was asserting that smart children would not go along with such things (e. g., sexting, live sexual interactions). It was also claimed that adults' actions do not actually harm these girls since they know what they are getting into, and they choose themselves to proceed with these "relations". It was said to be common knowledge that if young people post sexualized pictures, dress and act provocatively, and go to parties with adults, they are seeking sexual encounters. While trying to determine whether the actions discussed were crimes or immoral acts, parents used the legal age of consent as a compass.

I16: Well, it is not rape just because it is a minor, I think the age [of consent] is 14 or so. But yes, I have heard stories. /.../ Thank God my cousin waited with the police thing, they would have just ruined some young man's life because of a story.

I17: That is what I was trying to say. These girls can say anything...

I18: I think it is still wrong to have sex with minors.

I16: Well, being wrong is not a crime.

According to parents, Type Two victims are both capable of understanding and physically resisting the abuse. Type Two victims were objectified and portrayed not as children but as sexual beings who ought to understand the possible consequences of their actions. The responsibility for "being victimized" was again and again projected to Type Two victims. Almost every participant in the study held Type Two as at least partially responsible. Though victim-blaming was sometimes rather subtle (e. g., saying that these girls should be more careful with partying in the wrong crowd,) at other times, the blaming was very straightforward and even lessened the blame of the perpetrator (e. g., it is not the guy's fault that the girl was so drunk and acted provocatively). In sum, parents believed that these things do not happen randomly but mainly to those who "choose" to put themselves at risk. Though some parents did not agree with the notion that Type Two victims are necessarily looking for sexual encounters, since instead, they might be seeking attention, nice things, or money, it was said that these girls should be diligent because their behavior could lead to exploitation.

1.3. The comparative aspects between these risk profiles. The use of language already indicated an apparent disparity between attitudes towards victims. A recurrent practice was that parents while discussing Type Two profile, used the words "relations," "relationships," or "having sex" instead of the words "crime," "violence," "abuse," or "exploitation." Type Two victims were given an agenda of being able to decide or control the risk of victimization at least to a certain extent, and that being so, the abuse was repeatedly rephrased to something less serious. Such practice was not present while discussing Type One victims where phrases "crime," "violence," "abuse," or "exploitation" were used. Another disparity was regarding the expressions used while referencing to children at higher risk of CSA. For Type One, expressions such as a "child" or "victim" were most often used, while for Type Two, "girls", "youth" and

“young women” were preferred. Language use and characteristics related to age, psyche, attitude, behavior, and appearance were mostly differing between profiles, but there was a common denominator for both types: the parenting factor. This included socio-economic variables and family-specific elements. It was expressed that these things happen to more unfortunate children in our society. The parenting factor is further discussed in Section 4.1.

Theme 2: parental perceptions of perpetrators of CSA.

Table below is a schematized depiction of four different perpetrator types. The specifics of each risk profile are discussed below, and the last section of this theme addresses the gender implications on threat assessment.

An outline of CSA perpetrator risk profiles with dominant characteristics expressed by parents

<p style="text-align: center;">The pervert</p> <ul style="list-style-type: none"> – a foreign man (i. e., of a different race or ethnicity); – 30+ of age; – lonely; – intrusive; – overweight; – addicted to pornography; – using obscene vocabulary 	<p style="text-align: center;">The pedophile</p> <ul style="list-style-type: none"> – friendly; – middle-aged; – often a gay male; – addicted to pornography; – has a childhood trauma; – living with his mother or married and stepfathering the child he is abusing; – particular or notable appearance (e. g., mustache and glasses)
<p style="text-align: center;">The exhibitionist</p> <ul style="list-style-type: none"> – male; – in his 50s or older; – usually an alcoholic; – intellectually disabled; – unable to understand the consequences of his actions; – unclean and unkempt appearance 	<p style="text-align: center;">The spoiled rich kid</p> <ul style="list-style-type: none"> – male; – young adult; – arrogant; – irresponsible; – overindulged; – good-looking; – usually from a wealthy family

2.1. *The pervert* is a foreign man seeking contact *via* online possibilities. According to parents, foreign means a different race or ethnicity. The pervert is usually at least 30 years of age, lonely, intrusive, habitually using profanity, and believed to be addicted to pornography. Some parents mentioned that perverts are often overweight. The pervert was seen as the most dangerous of the four profiles. Firstly, parents held that foreign perverts are remarkably prevalent online. Here, parents did not rely on current information (e. g., news coverage, criminal cases, statistics) but on their anecdotal experiences from many years ago. The “foreign pervert” was someone most of the parents in their twenties and thirties had come across when they were teenagers; more specifically, parents referred to their experiences with people from Turkic ethnic groups in “MSN messenger”. Secondly, since parents also tie the pervert profile with kidnapping and human trafficking, they associate the profile not only with fears related to CSA but with fears of never seeing their child again. The current political situation⁶ in Estonia also seemed to affect parental viewpoints. This was evidenced by some parents demonizing foreign men who, as they expressed, “*come to Estonia to rape our women and girls*”, using racial slurs when talking about the pervert profile, and by claiming that perverts come from countries where rape culture is acceptable.

⁶ Among other things, the Conservative People’s Party of Estonia (Estonian: *Eesti Konservatiivne Rahvaerakond*, EKRE) is considered a far-right and Eurosceptic party, which also opposes immigration and LGBT rights. The general public of the country has seen a great deal of party’s racial, antisemitic, homophobic and islamophobic rhetorics, including associating refugees with sexual violence. In 2019, after a rather successful Parliamentary elections for the conservative party, these topics were also more present in public discussions.

Parents think online perverts are rarely a threat to Type One since the latter is not as active online nor sufficiently fluent in English to be groomed. Thus, the highest threat is to Type Two victims. Parents believe that perverts offer compliments, attention, and money to get naive girls to meet with them or to engage in sexual activities online. However, parents did not see foreign perverts being much of a threat to their child: parents explained that their children are reasonable enough not to fall for it and would tell their parents if anything like this ever happened to them.

2.2. *The pedophile* is a middle-aged (40–60 years old) man, often claimed to be gay. According to parents, he most likely lives with his mother or is married and a stepfather to the child he is abusing. Parents think the pedophile was probably traumatized during childhood: either sexually abused, tortured, or otherwise maltreated. The pedophile is manipulative, yet he may seem friendly and knows how to communicate with children. People around him think he is a good person, which is why it is often difficult to believe the child over this type of offender. Parents believe he is also a porn addict. Some parents think they could recognize the pedophile.

I10: I don't know. If I try to picture a pedophile, I see a weirdo with a mustache and glasses.

I11: (laughing) ... precisely what I was thinking. And a cap.

I12: But I wouldn't let someone like that anywhere near my kid.

Parents believe the Internet is a means to find children or to distribute CSAM. Pedophiles seek vulnerable children who would not be believed or who cannot report or fight back (e. g., disabled children). Pedophiles often work with children (e. g., a teacher, a coach, or a cleric) or seek access through volunteering jobs (e. g., as a volunteer camp instructor). In general, parents name pedophile as a moderate-to-high risk to children and young people because (according to parents) pedophiles know how to prey on vulnerable children, often do this inside the family, leave a good impression of themselves to others, and ensure that children do not disclose or (if they do) are not believed. Parents also pointed out that abuse often goes on for many years before moving on to a new victim. Nevertheless, parents do not fear pedophiles as a moderate or high risk for their children because parents explained that pedophiles seek specific children, i. e., vulnerable children from certain families; and their children do not fit the potential victim profile. Adding to that assessment may be the reason parents categorized the “pedophile” threat as something more common elsewhere (e. g., in the US) than in Estonia. Explanations were strongly related to media coverage and representation of the profile in TV shows and juxtaposed with saying such horrible things rarely happen here. Also, some parents believed pedophiles somehow look odd or distinguishable, i. e., if you see them, you know not to trust them with your children.

2.3. *The exhibitionist* is an old man (in his 50s or older) and a drunkard who lives in a village or a small town. It was said that the exhibitionist most commonly has mental retardation, which, according to parents, means he cannot understand what he does is wrong or criminal. The exhibitionist was described to be slim, balding, dirty, toothless, and generally obscene. The exhibitionist was also called a “dirty old man”. However, as parents explained, these people are mentally ill and often drunk, but are rarely a threat. The exhibitionist is believed not to pose an online threat to children at all. Some parents believed Estonians rarely sexually abuse children, akin to parent I21 below:

I19: Like Estonians, clearly do such things also...

I21: I didn't mean to say they don't. I agree, they do. But in most cases, it's just some village drunkard. Somehow, I feel people from certain countries are more prone to attack sexually, groom kids and so on. I think we are raised better here.

As with the pervert profile, parents applied their memories to construct this profile, believing such people merely flash their private parts to girls and maybe touch themselves but rarely attack anyone. However, most parents put forward that the exhibitionist was more common during the 1990s (since personal experiences were restricted to that decade), and according to parents, nowadays we have better support for people with mental health issues and more technological advancements that help to provide a safer environment (e. g., security cameras in public places). As participants' children either live in the city or do not go out at night, they were not considered as a threat to their children.

2.4. *The spoiled rich kid* is a young (up until the age of 25) good-looking male, likable, (over)confident, and knows how to talk to girls. Parents believe "the rich kid" has been spoiled by his parents, and as a result, does not take no for an answer. Parents explained that the rich kid does not necessarily have bad intentions and is usually associated with Type Two victims who seek adventures and may meet men online or at a party. The rich kid either uses the girl or, after a girl flirts with him, believes the sexual activity is his due. This parallels the rhetoric applied to victims who use alcohol: victims are blamed, and potential perpetrators justified. Most parents determined this profile to be a moderate risk to children and young people in general and a low risk to their children. Besides that, some parents explained that the rich kid is a direct result of bad parenting; hence, by setting reasonable boundaries and punishments, such behavior patterns were said to be preventable.

2.5. *Female perpetrators* were not included in risk profiles; women were mentioned in relation to the "teacher-student" type of sexual abuse. However, "teacher-student" discourse was not considered to be either sexual violence or harmful, but instead, framed as a common fantasy for teenage boys:

I3: I don't think women do such things. At least I haven't heard about it...

I2: I just read about some teachers in the US.

I3: Oh, yes. Actually, I have read about those. Pretty frequently lately. But let's be honest, these are not rape cases. Yes, I think it is immoral to have sex with a student who is like 10 or 20 years younger than you, but these boys are not raped. For them, it is probably a fantasy coming true... (laughing).

I2: Exactly! Some women just like younger men. It is just the age difference, but I think it is unfair to make it a crime like it is in the US. And in these stories, they are not even that old. In the one I just read, the teacher was like 27 or so... But she looked younger, like 20.

As illustrated, most parents believe women do not sexually abuse children and that sexual offending, in general, is a deviancy related to men. Even when discussing the possibility of female sexual offending, the language evidenced it was not considered equally serious as with male offenders. The latter was considered a crime, but the former was expressed either as "relationships" or somewhat immoral acts; also, victims were phrased as young men.

Theme 3: parental views on their own children in relation to these risk profiles.

During discussions, comparisons or related references in relation to both victim and perpetrator risk profiles compared to participants' own children were made.

3.1. Parental views on their children in relation to victim profiles evidenced that most often, parents tend to construct their children as different from potential victims, yet in general, there were three different approaches persisting. In case of similarities with Type Two profile and own children, which was present in approximately half of cases, parents were creating distance between their children and risk profiles by othering. Sometimes it was explicitly stated that their child is not like that, for example, as in the excerpt below:

I6: They even talk provocatively, not to mention the clothing...

I7: Thank God, my daughter is so reasonable and even shy; she would never wear such clothing. She has strong principles when it comes to these things, we've talked about it.

Such explanations were mainly used by parents whose children were in the Type Two age and gender cohort. The most common way for parents to construct this otherness was to explain that their child is a Good Child who is doing well in school and is not partying or seeking adventures. The Good Child idea was illustrated by discussions about different accomplishments children had (e. g., representing the school in math contest or winning trophies in athletic events). The Good Child was constructed as the opposite of the Type Two victim construct. Some parents also expressed that their children are reasonable enough to understand the consequences of their actions, that according to parents, meant the understanding that one could be raped at parties. According to parents, their children also behave reasonably on the Internet and do not talk to strangers. When participants referred to their children during discussions, almost all were considered as so-called "good children" who would not "put themselves at risk".

In contrast, parents with younger children, who fit Type One by age and gender, did not engage as actively in trying to construct this otherness or even stating differences between their child and the profile. Nevertheless, they did create otherness by focusing on parenting and environment-related factors, e. g., expressing that their children are still so young that they spend considerable time with parents, and wherefore are safe from sexual abuse. In general, this was enough for parents to deem the risk to be low. Yet, there was a notable exception to this tendency: a mother of three explained that her youngest (8 y. o.) daughter is intellectually disabled and needs constant adult supervision and care. As this was the only case in this study where a child had at least three similar characteristics with Type One profile (age, gender, disability), the mother admitted the risk to be higher: "she is unable to make reasonable decisions herself and cannot tell if someone is hurting her". Following, the mother promptly moderated the CSA risk by supposing that there are no matching family or environment-related risk factors. Furthermore, she submitted that she is more concerned about general risks to her daughter's safety but not as much about the risk of CSA, especially since her child is exclusively under the care of trusted people.

The third tendency was when parents were satisfied by the fact that their children were factually different from perceived victims by uniform characters (such as age and gender) and deemed the risk to be low without expressly stating differences or engaging in distancing activities. For instance, during discussions of own children and victim profiles, parents of teenage boys more often merely stated something akin that they are parents of teenage boys and therefore did not even consider or address the risk of CSA. These results propose that parents of teenage boys are most confident of their children not being at risk.

3.2. Parental views on their children in relation to perpetrator profiles suggested that most risk profiles were automatically exempt from deliberation, parents were referencing to the

“spoiled rich kid” profile but not to other profiles. When parents were asked whether they have discussed topics of sexual risks with their children, an interesting phenomenon became evident in how fathers understood the question. Though the question was intended to investigate whether parents discuss risks with their children, fathers of sons reflexively answered as if they were concerned about their sons as potential perpetrators, not victims. Here are two answers (from different focus groups) from fathers with teenage sons:

I17: There has been no need to talk about such things. The boy knows where the line is drawn, what he can or cannot do. He’s a good boy, always been protecting girls and been polite to them, I see no need to frighten him with these conversations.

I9: Maybe just how to make it clear to him. That it is a crime, and you might think you are joking around or something, but if you send someone’s naked pictures, you are committing a crime, and it could harm the girl. Though he is so reasonable, and I don’t think he would do something like that...

Significantly, mothers never considered their children as potential perpetrators in this way, only fathers of sons did. None of the fathers had any previous experience relating this topic with their child; thus, they did not speak from experience but were communicating their beliefs and interpretations. It also seemed that the gender and age of participants’ children influence parents’ views, especially regarding “the spoiled rich kid” profile. One example of this paradox is offered below. Please observe how the mother of three kids below the age of ten (I18) approaches the topic compared to a father of a teenage son (I17).

I18: My friend told me about a lawyer’s son who had sex with an unconscious girl – too much alcohol. So, I consider this rape. You cannot have sex with someone unconscious... And, of course, his dad saved him and made the whole thing go away.

I17: But were you there?

I18: No, but...

I17: Then, you cannot judge the situation. Honestly, I’ve seen more girls dressing and acting provocatively, drinking, and having sex with random guys at parties than I’ve heard about them getting raped. /.../

I16: My thoughts exactly. Like if you flirt with the guy and get so wasted that you cannot control yourself, it doesn’t seem much like you care about your health or reputation. Or not wanting to have sex with someone. And if both are drunk and reckless, I think both are to blame but still, how is it that one part later has to take full responsibility for the other one’s reckless drinking, moreover, get charged. /.../

I17: I don’t know. My son can understand what’s right and wrong and how to treat girls. Somehow it is this particular type of boys who gets into such troubles.

The mother (I18) did not try to construct “otherness” here; she also blames victims less compared to other participants in this discussion. With both fathers (I16 & I17), one can see how they portrayed the actions of girls as deviant and provocative, and the actions of boys (who were considered potential perpetrators in that context) as not planning to rape anyone but merely “somehow getting in such troubles.” As participant I17 has a teenage son, he also tried to clearly distinguish his son from this profile. Thus, regardless that fathers justify perpetrators’ actions, they also try to distance their children from the risk of doing such things by othering.

Theme 4: Parental beliefs about their role in CSA risk and approaches to protect their children.

4.1. Parental beliefs about their role in CSA risk clearly demonstrated the significance of parenting in their conceptualization of the risk. As mentioned in Section 3.1, the common denominator for children at risk to be victims of CSA was family-related factors. Here, parents once again constructed the perceived “otherness” mentioned above while discussing contrasting characteristics and behaviors believed to be associated with “good” and “bad parents.” A “good parent” is the one who cares about their child’s whereabouts and activities both online and offline, who controls online activities, who listens to their children, and is there for them in case of need. The “good parent” is not an addict or an alcoholic, is able to provide for their children financially, is not violent or otherwise dangerous, and knows how to raise “good” children.

As parents explained, these things happen when children are “misbehaving” themselves or when adults fail them. The latter was expressed through a link between bad parenting and increased risk of CSA. Parents also expressed the understanding that if they are Good Parents, abuse cannot happen to their child. One view was that some children are at risk due to their parents’ ignorance, alcoholism, addiction, poverty, or other similar issues; another, that Type Two children have also had a challenging home environment, bad relations with their parents, or simply the “wrong upbringing.” Examples of the wrong upbringing included, if a young mother lacks the necessary parenting skills and therefore is incapable of raising a child with the right values, or if the child is continuously exposed to bad role-modeling (e. g., a promiscuous mother). Note the gender implication: no participant mentioned the negative impacts of promiscuous fathers. Bad relations with parents were illustrated as a child who is not listened to or protected, and therefore, unable to turn to parents with their concerns. Some parents specifically mentioned that they believed themselves to be good enough parents to protect their children. Another common belief was that they have such good relations with their children and that if anything ever should happen, their children would come and tell them immediately.

I1: I am not afraid of that. I think I have such a strong bond with my kids that if some pedophile should start to harass them, I know they would come to me.

A general observation throughout the study is that parents are typically talking about themselves: sometimes directly, yet also indirectly, through contrasts between themselves and their family members to perceived victims or perpetrators of CSA.

4.2. Parental approaches to protect their children from CSA were also discussed during focus groups. Boys were seen as less at risk, specifically by fathers. Parents, in general, have not discussed these risks with boys since they are either not considered to be at risk or to be too young for such conversations. Boys (over the age of 12) were seen as strong and smart enough to handle stressful situations themselves. Though fathers were more likely to consider their sons as possible perpetrators than victims, they still saw no reason to scare or bother their sons with such topics, believing their boys to be well-raised and (therefore) to know how to treat girls both on- and offline. When, in the minority of cases, parents have discussed CSA and prevention with their children, the focus was solely on male perpetrators. Most parents focused discussions on online perverts, as they were seen as the most dangerous of the perpetrator profiles. With online perverts, the main prevention message was to avoid strangers, as a rule, foreign men, online. To

avoid pedophiles, parents used a similar language: *do not go with or engage in conversations with a stranger*. These messages were usually directed at daughters. All in all, “stranger danger” both in online settings and in the physical world is the most common thing parents teach their children. Parents do not teach their children about possible risks from peers or partners.

For parents, a high CSA threat is related to bad parenting, misbehavior, and attention-seeking girls, as well as certain perpetrator types. As the first 2 categories were deemed by parents to be low risk to their children, only such perpetrators whom they view to be dangerous are discussed at all. Even so, parents do not teach children skills or knowledge on situational risks (e. g., sending nude pictures). Behaviors deemed to be dangerous (i. e., sending nude pictures, talking to strangers) are either accompanied by threats of punishment; or not discussed at all. Many parents, particularly mothers, said they had discussions with their daughters about the appropriateness of specific clothing or make-up, e. g., that certain clothes are either too provocative or otherwise inappropriate. These conversations were not linked explicitly to CSA prevention.

Most prevention activities parents use are not explicitly related to CSA prevention. Though during discussions, it became evident that parents still use other methods they consider to lower risks of CSA for their children. The first is related to situational risk reduction. Here, parents explained that they do not leave children with people they do not trust, that their children never have to be or travel alone (e. g., walking home in the dark), or that they generally know where and with whom their child spends time. Parents explained that such practices are not explicitly related to protecting children from CSA but from other possible threats (e. g., getting hit by a car or getting lost). In their view, however, these factors also reduce the risks of CSA. Secondly, as parents believe that good parenting is key, this is where parents put most of their efforts. This includes having a good and trusting relationship with their children: listening to them, caring about them, and keeping up with their lives. Thirdly, parents believe that children have acquired good digital skills from school and from everyday use of the Internet in relation to recognizing and reducing online sexual risks – better, indeed, than their parents. And lastly, parents believe that restrictions on internet use are essential in decreasing the risk of CSA. Although again, restrictions were not explicitly linked to CSA (e. g., most associate internet restrictions with good grades and good behavior), parents believed that children who have easier and less restricted internet access are in greater danger than those with such restrictions.

Based on parents’ accounts, the general focus of prevention is not related to CSA; in fact, parents tend to rather avoid discussing CSA specifically, preferring to focus on good parent-child relations, setting reasonable boundaries and restrictions, and being involved in children’s lives.

Discussion. This study explored parental beliefs about child sexual abuse risk and recurring parental approaches to protecting their children from CSA. Parents believe that younger children with specific vulnerabilities (such as disability, foster care, poverty, neglect) are at higher risk of sexual abuse, mainly for being failed by adults who ought to protect them. However, with children over the age of 10, the general tendency was relating victimization risk to children’s behavior, character, and personality traits. Perceived victims were constantly derogated and portrayed as deviant, particularly those who were more different from participants’ children. This confirms the effect of defensive attributions theory, which purports that people blame victims (and justify perpetrators) based on perceived similarity with the subject [33]. According to

parents, victims of sexual abuse who are over the age of ten are often victimized due to their risk behavior and attention-seeking. Younger or otherwise more vulnerable children were approached with empathy and benevolence.

One factor influencing parental understanding and acknowledgment of the crime (of rape) may be the age of consent. Sociocultural environments largely determine the definition of rape [34], and as the age of consent in Estonia is 14: parents do not consider sexual intercourse with a minor rape *per se* but rather somewhat immoral. The use of language was a strong warrant for the differences in attitudes parents held towards victims. With Type One profile, children were considered victims of terrible crimes, yet with Type Two profile, abuse and violence were often reduced to “sexual relations gone wrong” or “immoral acts”. Such normalizing of sexual violence or minimizing its impact is, unfortunately, a widespread practice in the wider victim-blaming discourse [35, pp. 2–3]. In Estonia, most victims of (registered) sex crimes are minors with the average age of the victim being 12 [36]; thereby, such attitudes are highly concerning and may act as barriers to disclosure and help-seeking. All in all, the findings reveal that parental understanding of CSA victimization is strongly affected by gender stereotypes, sexual scripts, rape myths, and general misconceptions on CSA [35].

It is worth noting that parents continually contrasted conversation topics with their lives. The discussions indicated that when parents consider the risk of CSA to their child, the risk is largely determined based on perceived similarities with Type Two risk profile, yet mainly concerning fixed characteristics such as age and gender. Accordingly, it was more common for parents whose children were below the age of 10 or fathers who had sons to readily deem the CSA risk to their child to be low. Fig. 2 below presents a visual model about the general tendencies of parental risk perception and reactions related to the risk of CSA victimization. The model represents the most common patterns established during focus groups yet is not meant to be a definitive guide.

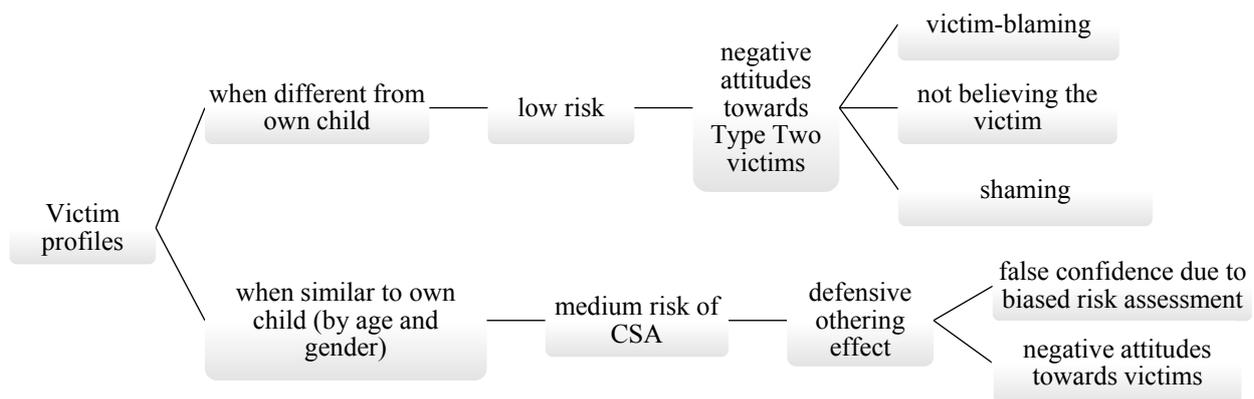


Fig. 2. A model of predominant parental risk perception and reaction patterns related to CSA victims

When parents or their children had similar factual characteristics with risk profiles, parents felt the need to construct “otherness” between themselves or their children and perceived victims; ergo, similarities seem to provoke an effect further referenced to as the *defensive othering effect*. The *defensive othering effect* represents a phenomenon where perceived similarities with the stigmatized group trigger a protective behavior of verbally distancing (othering) self (or someone else) from others. The concept of defensive othering itself has been

mostly used to illustrate a coping mechanism used by disadvantaged groups who seek to distance themselves from people similar to them [37]. However, Fabbre and colleagues [38] proposed expanding the concept by theorizing that the notion of defending one’s status due to perceived threat also applies to dominant groups. I believe such expansion is pertinent as such defensive patterns were recurring during all discussions.

The *defensive othering effect* was conspicuously reinforced in situations when similarities occurred between children and victim profiles. For parents of girls between the ages of 10 to 16, the factual similarities were enough to provoke this effect. With *defensive othering effect*, parents went beyond constructing otherness based on stereotypical beliefs about victims and perpetrators, as they also used their children’s behavior in general to support their beliefs about CSA risk to their child(ren). These general elements were related to their children’s accomplishments, academic performance, and other such criteria. As there is no compelling evidence stating that good academic performance or other such achievements protect from sexual abuse, believing that merely being different from CSA victims exempts from abuse is a cognitive bias, a form of defensive attributions that aims to psychologically minimize the threat [33]. Strömpl [39] found the same effect with young people trying to juxtapose themselves to victims of online sexual abuse by presenting themselves as smarter or more reasonable.

Perpetrator related risk assessment is strongly connected to “strangers” or people “different” from themselves (or their children), likewise, the more similar the profile, the less of a general risk it was deemed to be [11, 40]. For instance, the pervert was often described as ethnically different and considering Estonia is not a very diverse country and is still somewhat xenophobic, it is no surprise the “foreign pervert” was deemed as the most violent and dangerous [41]. In contrast, the exhibitionist, who was described as an old drunk man, yet with the same ethnic and cultural background, thus more familiar to parents, was not deemed much of a threat at all. The etiology of deviant sexual behavior was conceptualized differently across profiles, one as “being sick” yet not much of a threat, the other as predatory by nature. Fig. 3 presents a model of predominant parental risk perception and reaction patterns related to perpetrators of CSA.

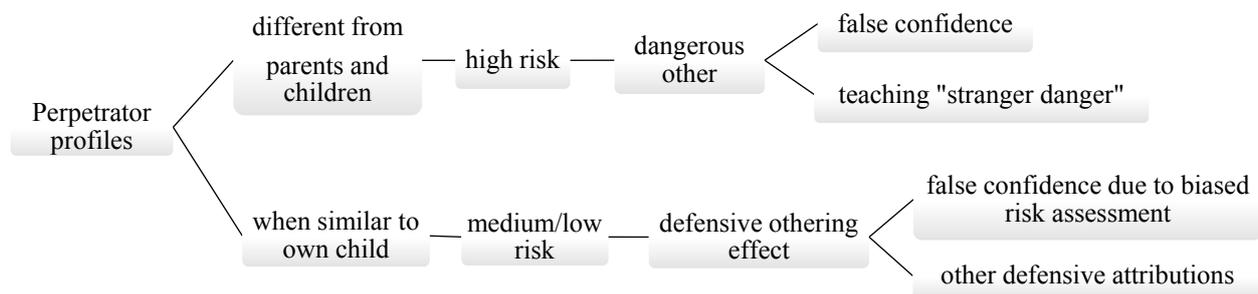


Fig. 3. A model of predominant parental risk perception and reaction patterns related to perpetrators of CSA

In case of tangible differences between either perpetrators and parents or their children, the risk was more firmly determined high. A similar notion was found in a study of young people’s perceptions of so-called “online perverts” in Estonia, where young people also tend to conceptualize online abusers as “other” [41]. Fathers were more likely to see similarities between their teenage sons and the “spoiled rich kid” risk profile, and again, the similarities appeared to trigger *defensive othering effect*. This is driven by potential similarities inherent in

that profile: other profiles differed immensely from their children in age, ethnicity, and other relevant characteristics. In such cases, other defensive attributions were triggered; these were about justifying perpetrators' actions or, in general, normalizing sexual violence. When I applied this finding of similar versus familiar to parental victim-blaming attitudes, it became evident that parents were more likely to justify perpetrators thought to be like their child and blame more such perpetrators who were notably different from themselves or their children. These findings give ancillary support for defensive attributions theory [33].

In accordance with previous studies, parents of girls consider the threat to be more real and hence provide their daughters with more information related to the prevention of CSA [3, 42]. The apparent gender stereotypes from fathers' perspective neglect entirely the possibility that their sons could be victims of sexual abuse. Negating the possibility of sexual victimization of boys reflects widespread heteronormative misconceptions in society. These views may act as barriers for boys to disclose abuse [21]. In general, the data from this study support previous research claiming parents consider the risk of CSA to their children to be low [2–4, 6, 8].

It appeared that risk perception and resulting judgments dictate parents' behavior; most parents judge the risk to be low and, due to that, do not see the necessity for specific prevention activities [9, 10]. Here also, the most common CSA related discussion theme was still stranger danger [2, 3, 7, 10, 13, 14]. Unfortunately, by relying on "stranger danger" to teach children about CSA (i. e., online perverts and pedophiles), parents tend to exclude important discussions about risks from peers, partners, and other known people. This may explain why most children only consider strangers as potential perpetrators. A 2010 study showed that children have difficulty recognizing the inappropriateness of sexual requests by trusted people [43]. These trusted people could be, for example, friends, family members, siblings, or relatives – i. e., the preeminent perpetrators [44]. However, if children are not taught about body safety in relation to real threats, they will have more difficulty recognizing abuse since physical force and violence are often not used to gain victims' compliance [45]. Also, following previous studies [2, 5], parents emphasize being a good parent, holding good parent-child relations, and providing a safe and stable environment for their children as main approaches to protect their children from the risk of CSA. Though previous studies have identified certain parenting practices, e. g., low involvement in child's life or neglect [46] and other parent-related factors, e. g., substance abuse, parental absence, and physical abuse [47] can statistically increase the risk of CSA, these factors are not absolute prerequisites to CSA and the lack of those does not provide immunity. The tremendous gap between parental beliefs and what academic literature suggests about CSA and CSA prevention is an important issue future CSA prevention efforts need to address.

Limitations and future research. One of the constraints of this study is the homogeneous sample. All parents lived either in urban or suburban areas; and were of similar socio-economic background. Addedly, although fathers' perspectives were, more than two-thirds of the participants were mothers; thus, this study can provide only limited insight into fathers' accounts. As some gender differences between mothers' and fathers' attitudes were observed, an equal representation of both genders may help to better capture such differences. The cultural context also impacts the findings. Estonia is not ethnically or racially diverse, and as intolerance persists, the conceptualization of threat is discernibly epitomized in such aspects. Further research with representative samples and perhaps in different cultural contexts could help to overcome these

limitations. The significance and other implications of cognitive biases on risk assessment, attitudes towards victims and perpetrators, CSA prevention approaches, and other relevant issues should be a subject for further inquiry.

Conclusion. The findings suggest cognitive biases and psychological protection mechanisms may be a considerable influence on CSA risk assessment and the following approaches to protecting children. An important benefit of this study is the novel approach to conceptualizing why parents are so reluctant to discuss CSA. Further, the discussion reinforces the need to take cognizance of parental perception not necessarily being veracious. Educational programs should acknowledge the implications of subconscious protection mechanisms have on parental risk perception. It is also important to consider the wider impact of attitudes towards victims. Profiles parents created are social constructions of perceived victims and perpetrators of child sexual abuse. The unfortunate perseverance of these stereotypes further reproduces inequality, stigmatizes victimhood, and punishes the utmost vulnerable ones in society.

REFERENCES

1. Wurtele, S.K., (2009), "Preventing sexual abuse of children in the twenty-first century: Preparing for challenges and opportunities", *Journal of Child Sexual Abuse*, vol. 18 (1), pp. 1–18. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/10538710802584650>.
2. Rudolph, J. and Zimmer-Gembeck, M.J. (2018), "Parents as protectors: A qualitative study of parents' views on child sexual abuse prevention", *Child Abuse & Neglect*, vol. 85, pp. 28–38. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.08.016>.
3. Chen, J.Q. and Chen, D.G. (2005), "Awareness of child sexual abuse prevention education among parents of Grade 3 elementary school pupils in Fuxin City, China", *Health education research*, vol. 20, no. 5, pp. 540–547. DOI: <https://doi.org/10.1093/her/cyh012>.
4. Collins, M.E. (1996), "Parents' perceptions of the risk of child sexual abuse and their protective behaviors: Findings from a qualitative study", *Child Maltreatment*, vol. 1, no. 1, pp. 53–64. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077559596001001006>.
5. Collins, M.E. (1995), *Factors Influencing Parents' Perceptions and Behaviors Regarding the Threat of Sexual Abuse*, available at: <https://kb.osu.edu/handle/1811/36825> (accessed 11.01.2021).
6. Finkelhor, D. (1986), "The prevention of child sexual abuse: an overview of needs and problems", *Sexual abuse of children I the 1980's: Ten essays and an annotated bibliography*, in Schlesinger, B. (ed.), University of Toronto Press, Toronto, USA, pp. 16–29. DOI: 10.3138/9781487583392-003.
7. Walsh, K., Brandon, L. and Chirio, L. (2012), "Mother-child communication about sexual abuse prevention", *Journal of Child Sexual Abuse*, vol. 21, no. 4, pp. 399–421. DOI: <https://doi.org/10.1080/10538712.2012.675424>.
8. Chen, J., Dunne, M.P. and Han, P. (2007), "Prevention of child sexual abuse in China: Knowledge, attitudes, and communication practices of parents of elementary school children", *Child Abuse & Neglect*, vol. 31, no. 7, pp. 747–755. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.12.013>.
9. Xie, Q.W., Qiao, D.P. and Wang, X.L. (2016), "Parent-involved prevention of child sexual abuse: a qualitative exploration of parents' perceptions and practices in Beijing", *Journal of Child and Family Studies*, vol. 25, pp. 999–1010. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10826-015-0277-5>.
10. Burgess, E.S. and Wurtele, S.K. (1998), "Enhancing parent-child communication about sexual abuse: a pilot study", *Child Abuse & Neglect*, vol. 22, no. 11, pp. 1167–1175. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(98\)00094-5](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(98)00094-5).
11. Deblinger, E., Thakkar-Kolar, R.R., Berry, E.J. and Schroeder, C.M. (2010), "Caregivers' efforts to educate their children about child sexual abuse: A replication study", *Child Maltreatment*, vol. 15, no. 1, pp. 91–100. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077559509337408>.

12. Briggs, F. (2006), "South Australian parents want child protection programs to be offered in schools and preschools", *Early Child Development and Care*, vol. 34, no. 1, pp. 167–178. DOI: <https://doi.org/10.1080/0300443880340112>.

13. Rudolph, J., Zimmer-Gembeck, M.J., Shanley, D.C., Walsh, K. and Hawkins, R. (2018), "Parental discussion of child sexual abuse: Is it associated with the parenting practices of involvement, monitoring, and general communication?", *Journal of child sexual abuse*, vol. 27, no. 2, pp. 195–216. DOI: <https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1425946>.

14. AlRammah, A.A., Alqahtani, S.M., Al-Saleh, S.S. et al. (2019), "Parent-child communication and preventive practices for child sexual abuse among the general population: A community-based study", *Journal of Taibah University Medical Sciences*, vol. 14, no. 4, pp. 363–369. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2019.06.005>.

15. Babatsikos, G. (2011), "Australian parents, child sexuality, and boundary setting: informing preventative approaches to child sexual abuse", *Child Abuse Review*, vol. 19, no. 2, pp. 107–129. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/car.1102>.

16. Wurtele, S.K., Kvaternick, M. and Franklin, C.F. (1992), "Sexual abuse prevention for preschoolers: A survey of parents' behaviors, attitudes, and beliefs", *Journal of Child Sexual Abuse*, vol. 1, no. 1, pp. 113–128. DOI: https://doi.org/10.1300/J070v01n01_08.

17. Iglesias, E., Garmendia, M. and Casado del Río, M.A. (2015), "Children's perception of the parental mediation of the risks of the internet", *Revista Latina de Comunicacion Social*, vol. 70, pp. 49–68. DOI: 10.4185/RLCS-2015-1034.

18. Bahali, K., Akçan, R., Tahiroglu, A.Y. and Avci, A. (2010), "Child sexual abuse: seven years in practice", *Journal of forensic sciences*, vol. 55, no. 3, pp. 633–636. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2010.01357.x>.

19. Vizard, E., Hickey, N., French, L. and McCrory, E. (2007), "Children and adolescents who present with sexually abusive behaviour: A UK descriptive study", *The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology*, vol. 18, no. 1, pp. 59–73. DOI: <https://doi.org/10.1080/14789940601056745>.

20. Sklenarova, H., Schulz, A., Schuhmann, P. et al. (2018), "Online sexual solicitation by adults and peers—Results from a population based German sample", *Child Abuse & Neglect*, vol. 76, pp. 225–236. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.11.005>.

21. Alaggia, R., Collin-Vézina, D. and Lateef, R. (2019), "Facilitators and barriers to child sexual abuse (CSA) disclosures: A research update (2000–2016)", *Trauma, Violence, & Abuse*, vol. 20, no. 2, pp. 260–283. DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838017697312>.

22. Hébert, M., Tourigny, M., Cyr, M. et al. (2009), "Prevalence of childhood sexual abuse and timing of disclosure in a representative sample of adults from Quebec", *The Canadian Journal of Psychiatry*, vol. 54, no. 9, pp. 631–636. DOI: <https://doi.org/10.1177/070674370905400908>.

23. Sukk, M., Soo, K., Kalmus, V. et al. (2019), *EU Kids Online'i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused*, University of Tartu, Tartu, Estonia. DOI: 10.13140/RG.2.2.32549.55526.

24. Elfreich, M.R., Stevenson, M.C., Sisson, C. et al. (2020), "Sexual abuse disclosure mediates the effect of an abuse prevention program on substantiation", *Child maltreatment*, vol. 25, no. 2, pp. 215–223. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077559519874884>.

25. Crotty, M. (1998), *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process*, 1st ed., SAGE, Melbourne, Australia.

26. Frith, H. (2000), "Focusing on sex: Using focus groups in sex research", *Sexualities*, vol. 3, no. 3, pp. 275–297. DOI: <https://doi.org/10.1177/136346000003003001>.

27. Morgan, D.L. and Krueger, R.A. (1998), *Analyzing and Reporting Focus Group Results*, SAGE, Thousand Oaks, California. DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781483328157>.

28. Kitzinger, J. (1994), "The methodology of focus groups: the importance of interaction between research participants", *Sociology of health & illness*, vol. 16, no. 1, pp. 103–121. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11347023>.

29. Fairclough, N. (1989), *Language and Power*, Longman, London, UK.

30. Colucci, E. (2007), "Focus groups can be fun": The use of activity-oriented questions in focus group discussions", *Qualitative health research*, vol. 17, no. 10, pp. 1422–1433. DOI: <https://doi.org/10.1177/1049732307308129>.
31. Sherriff, N., Gugglberger, L., Hall, C. and Scholes, J. (2014), "From start to finish": Practical and ethical considerations in the use of focus groups to evaluate sexual health service interventions for young people", *Qualitative Psychology*, vol. 1, no. 2, pp. 92–106. DOI: <https://doi.org/10.1037/qup0000014>.
32. Braun, V. and Clarke, V. (2006), "Using thematic analysis in psychology", *Qualitative research in psychology*, vol. 3, no. 2, pp. 77–101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa.
33. Shaver, K.G. and Drown, D. (1986), "On causality, responsibility, and self-blame: A theoretical note", *Journal of personality and social psychology*, vol. 50, no. 4, pp. 697–702. DOI: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.4.697>.
34. Muehlenhard, C.L., Powch, I.G., Phelps, J.L. and Giusti, L.M. (1992), "Definitions of rape: Scientific and political implications", *Journal of Social Issues*, vol. 48, no. 1, pp. 23–44. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1992.tb01155.x>.
35. Anderson, I. and Doherty, K. (2007), *Accounting for rape: Psychology, feminism and discourse analysis in the study of sexual violence*, Routledge, London, N.Y.
36. Ahven, A., Kruusmaa K.-C., Leps, A. et al. (2019), "Kuritegevus Eestis 2018", *Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika uuringud 28*, Tallin, Estonia available at: <https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuritegevus-eestis-2018> (accessed 16.01.2021).
37. Schwalbe, M., Holden, D., Schrock, D. et al. (2000), "Generic processes in the reproduction of inequality: An interactionist analysis", *Social forces*, vol. 79, no. 2, pp. 419–452. DOI: <https://doi.org/10.1093/sf/79.2.419>.
38. Fabbre, V.D., Gaveras, E., Shabsin, A.G. et al. (2019), "Confronting Stigma, Discrimination, and Social Exclusion", *Toward a Livable Life: A 21st Century Agenda for Social Work*, in Rank, M.R. (ed.), Oxford University Press, Oxford, UK, pp. 70–93.
39. Strömpl, J. (2015), "Online Risks: Adapting an Interactive Dialogical Narrative Method for Studying the Process of Meaning Making by Teenagers in the Focus Group Interview Context", *In Search of ...: New Methodological Approaches to Youth Research*, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, UK, pp. 194–215.
40. Kristeva, J. (1991), *Strangers to ourselves*, Columbia University Press, N.Y., USA.
41. Murumaa-Mengel, M. (2015), "Drawing the Threat: A Study on Perceptions of the Online Pervert among Estonian High School Students", *YOUNG*, vol. 23, no. 1, pp. 1–18. DOI: <https://doi.org/10.1177/1103308814557395>.
42. Jin, Y., Chen, J. and Yu, B. (2019), "Parental practice of child sexual abuse prevention education in China: Does it have an influence on child's outcome?", *Children and Youth Services Review*, vol. 96, pp. 64–69. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2018.11.029>.
43. Kenny, M.C. and Wurtele, S.K. (2010), "Children's abilities to recognize a "good" person as a potential perpetrator of childhood sexual abuse", *Child Abuse & Neglect*, vol. 34, no. 7, pp. 490–495. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.11.007>.
44. Finkelhor, D. (2008), *Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People*, Oxford University Press, Oxford, UK. DOI 10.1093/acprof:oso/9780195342857.001.0001.
45. Leclerc, B., Wortley, R. and Smallbone, S. (2011), "Victim resistance in child sexual abuse: A look into the efficacy of self-protection strategies based on the offender's experience", *Journal of interpersonal violence*, vol. 26, no. 9, pp. 1868–1883. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260510372941>.
46. Testa, M., Hoffman, J.H. and Livingston, J.A. (2011) "Intergenerational transmission of sexual victimization vulnerability as mediated via parenting", *Child Abuse & Neglect*, vol. 35, no. 5, pp. 363–371. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2011.01.010>.
47. Laaksonen, T., Sariola, H., Johansson, A. et al. (2011), "Changes in the prevalence of child sexual abuse, its risk factors, and their associations as a function of age cohort in a Finnish

population sample", *Child Abuse & Neglect*, vol. 35, no. 7, pp. 480–490. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2011.03.004>.

Information about the author.

Simone Eelmaa – Master (International law and human rights) (2018), Doctoral student (Sociology) at the Institute of Social Studies, University of Tartu, 36 Lossi, Tartu 51010, Estonia. The author of 4 scientific publications. Area of expertise: criminal law, criminology, discourse analysis, and studying vulnerable populations. E-mail: simone.eelmaa@ut.ee

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Wurtele S. K. Preventing sexual abuse of children in the twenty-first century: Preparing for challenges and opportunities // *J. of Child Sexual Abuse*. 2009. Vol. 18(1). P. 1–18. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/10538710802584650>.

2. Rudolph J., Zimmer-Gembeck M. J. Parents as protectors: A qualitative study of parents' views on child sexual abuse prevention // *Child Abuse & Neglect*. 2018. Vol. 85. P. 28–38. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2018.08.016>.

3. Chen J. Q., Chen D. G. Awareness of child sexual abuse prevention education among parents of Grade 3 elementary school pupils in Fuxin City, China // *Health education research*. 2005. Vol. 20, № 5. P. 540–547. DOI: <https://doi.org/10.1093/her/cyh012>.

4. Collins M. E. Parents' perceptions of the risk of child sexual abuse and their protective behaviors: Findings from a qualitative study // *Child Maltreatment*. 1996. Vol. 1, № 1. P. 53–64. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077559596001001006>.

5. Collins M. E. Factors Influencing Parents' Perceptions and Behaviors Regarding the Threat of Sexual Abuse. 1995. URL: <https://kb.osu.edu/handle/1811/36825> (дата обращения: 11.01.2021).

6. Finkelhor D. The prevention of child sexual abuse: an overview of needs and problems // *Sexual abuse of children I the 1980's: Ten essays and an annotated bibliography* / in B. Schlesinger (ed.). Toronto: University of Toronto Press, 1986. P. 16–29. DOI: 10.3138/9781487583392-003.

7. Walsh K., Brandon L., Chirio L. Mother-child communication about sexual abuse prevention // *J. of Child Sexual Abuse*. 2012. Vol. 21, № 4. P. 399–421. DOI: <https://doi.org/10.1080/10538712.2012.675424>.

8. Chen J., Dunne M. P., Han P. Prevention of child sexual abuse in China: Knowledge, attitudes, and communication practices of parents of elementary school children // *Child Abuse & Neglect*. 2007. Vol. 31, № 7. P. 747–755. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2006.12.013>.

9. Xie Q. W., Qiao D. P., Wang X. L. Parent-involved prevention of child sexual abuse: a qualitative exploration of parents' perceptions and practices in Beijing // *J. of Child and Family Studies*. 2016. Vol. 25. P. 999–1010. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10826-015-0277-5>.

10. Burgess E. S., Wurtele S. K. Enhancing parent-child communication about sexual abuse: a pilot study // *Child Abuse & Neglect*. 1998. Vol. 22, № 11. P. 1167–1175. DOI: [https://doi.org/10.1016/S0145-2134\(98\)00094-5](https://doi.org/10.1016/S0145-2134(98)00094-5).

11. Caregivers' efforts to educate their children about child sexual abuse: A replication study / E. Deblinger, R. R. Thakkar-Kolar, E. J. Berry, C. M. Schroeder // *Child Maltreatment*. 2010. Vol. 15, № 1. P. 91–100. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077559509337408>.

12. Briggs F. South Australian parents want child protection programs to be offered in schools and preschools // *Early Child Development and Care*. 2006. Vol. 34, № 1. P. 167–178. DOI: <https://doi.org/10.1080/0300443880340112>.

13. Parental discussion of child sexual abuse: Is it associated with the parenting practices of involvement, monitoring, and general communication? / J. Rudolph, M. J. Zimmer-Gembeck, D. C. Shanley, K. Walsh, R. Hawkins // *J. of child sexual abuse*. 2018. Vol. 27, № 2. P. 195–216. DOI: <https://doi.org/10.1080/10538712.2018.1425946>.

14. Parent-child communication and preventive practices for child sexual abuse among the general population: A community-based study / A. A. AlRammah, S. M. Alqahtani, S. S. Al-Saleh et al. // *J. of Taibah University Medical Sciences*. 2019. Vol. 14, № 4. P. 363–369. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jtumed.2019.06.005>.
15. Babatsikos G. Australian parents, child sexuality, and boundary setting: informing preventative approaches to child sexual abuse // *Child Abuse Rev*. 2011. Vol. 19, № 2. P. 107–129. DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/car.1102>.
16. Wurtele S. K., Kvaternick M., Franklin C. F. Sexual abuse prevention for preschoolers: A survey of parents' behaviors, attitudes, and beliefs // *J. of Child Sexual Abuse*. 1992. Vol. 1, № 1. P. 113–128. DOI: https://doi.org/10.1300/J070v01n01_08.
17. Iglesias E., Garmendia M., Casado del Río M. A. Children's perception of the parental mediation of the risks of the internet // *Revista Latina de Comunicacion Social*. 2015. Vol. 70. P. 49–68. DOI: 10.4185/RLCS-2015-1034.
18. Child sexual abuse: seven years in practice / K. Bahali, R. Akçan, A. Y. Tahiroglu, A. Avci // *J. of forensic sciences*. 2010. Vol. 55, № 3. P. 633–636. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1556-4029.2010.01357.x>.
19. Children and adolescents who present with sexually abusive behaviour: A UK descriptive study / E. Vizard, N. Hickey, L. French, E. McCrory // *The J. of Forensic Psychiatry & Psychology*. 2007. Vol. 18, № 1. P. 59–73. DOI: <https://doi.org/10.1080/14789940601056745>.
20. Online sexual solicitation by adults and peers—Results from a population based German sample / H. Sklenarova, A. Schulz, P. Schuhmann et al. // *Child Abuse & Neglect*. 2018. Vol. 76. P. 225–236. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2017.11.005>.
21. Alaggia R., Collin-Vézina D., Lateef R. Facilitators and barriers to child sexual abuse (CSA) disclosures: A research update (2000–2016) // *Trauma, Violence, & Abuse*. 2019. Vol. 20, № 2. P. 260–283. DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838017697312>.
22. Prevalence of childhood sexual abuse and timing of disclosure in a representative sample of adults from Quebec / M. Hébert, M. Tourigny, M. Cyr et al. // *The Canadian J. of Psychiatry*. 2009. Vol. 54, № 9. P. 631–636. DOI: <https://doi.org/10.1177/070674370905400908>.
23. EU Kids Online'i Eesti 2018. aasta uuringu esialgsed tulemused / M. Suk, K. Soo, V. Kalmus and et al. Tartu: University of Tartu, 2019. DOI: 10.13140/RG.2.2.32549.55526.
24. Sexual abuse disclosure mediates the effect of an abuse prevention program on substantiation / M. R. Elfreich, M. C. Stevenson, C. Sisson and et al. // *Child maltreatment*. 2020. Vol. 25, № 2. P. 215–223. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077559519874884>.
25. Crotty M. *The Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research Process*. 1st ed. Melbourne: SAGE, 1998.
26. Frith H. Focusing on sex: Using focus groups in sex research // *Sexualities*. 2000. Vol. 3, № 3. P. 275–297. DOI: <https://doi.org/10.1177/136346000003003001>.
27. Morgan D. L., Krueger R. A. *Analyzing and Reporting Focus Group Results*. Thousand Oaks: SAGE, 1998. DOI: <http://dx.doi.org/10.4135/9781483328157>.
28. Kitzinger J. The methodology of focus groups: the importance of interaction between research participants // *Sociology of health & illness*. 1994. Vol. 16, № 1. P. 103–121. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-9566.ep11347023>.
29. Fairclough N. *Language and Power*. London: Longman, 1989.
30. Colucci E. "Focus groups can be fun": The use of activity-oriented questions in focus group discussions // *Qualitative health research*. 2007. Vol. 17, № 10. P. 1422–1433. DOI: <https://doi.org/10.1177/1049732307308129>.
31. "From start to finish": Practical and ethical considerations in the use of focus groups to evaluate sexual health service interventions for young people / N. Sherriff, L. Gugglberger, C. Hall, J. Scholes // *Qualitative Psychology*. 2014. Vol. 1, № 2. P. 92–106. DOI: <https://doi.org/10.1037/qup0000014>.
32. Braun V., Clarke V. Using thematic analysis in psychology // *Qualitative research in psychology*. 2006. Vol. 3, № 2. P. 77–101. DOI: 10.1191/1478088706qp0630a.

33. Shaver K. G., Drown D. On causality, responsibility, and self-blame: A theoretical note // J. of personality and social psychology. 1986. Vol. 50, № 4. P. 697–702. DOI: <https://doi.org/10.1037/0022-3514.50.4.697>.

34. Definitions of rape: Scientific and political implications / C. L. Muehlenhard, I. G. Powch, J. L. Phelps, L. M. Giusti // J. of Social Issues. 1992. Vol. 48, № 1. P. 23–44. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.1992.tb01155.x>.

35. Anderson I., Doherty K. Accounting for rape: Psychology, feminism and discourse analysis in the study of sexual violence. London, N. Y.: Routledge, 2007.

36. Kuritegevus Eestis 2018 / A. Ahven, K.-C. Kruusmaa, A. Leps et al. // Justiitsministeerium, Kriminaalpoliitika uuringud 28. Tallin, 2019. URL: <https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/kuritegevus-eestis-2018> (дата обращения: 16.01.2021).

37. Generic processes in the reproduction of inequality: An interactionist analysis / M. Schwalbe, D. Holden, D. Schrock et al. // Social forces. 2000. Vol. 79, № 2. P. 419–452. DOI: <https://doi.org/10.1093/sf/79.2.419>.

38. Confronting Stigma, Discrimination, and Social Exclusion / V. D. Fabbre, E. Gaveras, A. G. Shabsin et al. // Toward a Livable Life: A 21st Century Agenda for Social Work / in M. R. Rank (ed.). Oxford: Oxford University Press, 2019. P. 70–93.

39. Strömpl J. Online Risks: Adapting an Interactive Dialogical Narrative Method for Studying the Process of Meaning Making by Teenagers in the Focus Group Interview Context // “In Search of ...”: New Methodological Approaches to Youth Research. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2015. P. 194–215.

40. Kristeva J. Strangers to ourselves. N. Y.: Columbia University Press, 1991.

41. Murumaa-Mengel M. Drawing the Threat: A Study on Perceptions of the Online Pervert among Estonian High School Students // YOUNG. Vol. 23, № 1. P. 1–18. DOI: <https://doi.org/10.1177/1103308814557395>.

42. Jin Y., Chen J., Yu B. Parental practice of child sexual abuse prevention education in China: Does it have an influence on child's outcome? // Children and Youth Services Review. 2019. Vol. 96. P. 64–69. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2018.11.029>.

43. Kenny M. C., Wurtele S. K. Children's abilities to recognize a “good” person as a potential perpetrator of childhood sexual abuse // Child Abuse & Neglect. 2010. Vol. 34, № 7. P. 490–495. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2009.11.007>.

44. Finkelhor D. Childhood Victimization: Violence, Crime, and Abuse in the Lives of Young People. Oxford: Oxford University Press, 2008. DOI 10.1093/acprof:oso/9780195342857.001.0001.

45. Leclerc B., Wortley R., Smallbone S. Victim resistance in child sexual abuse: A look into the efficacy of self-protection strategies based on the offender's experience // J. of interpersonal violence. 2011. Vol. 26, № 9. P. 1868–1883. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260510372941>.

46. Testa M., Hoffman J. H., Livingston J. A. Intergenerational transmission of sexual victimization vulnerability as mediated via parenting // Child Abuse & Neglect. 2011. Vol. 35, № 5. P. 363–371. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2011.01.010>.

47. Changes in the prevalence of child sexual abuse, its risk factors, and their associations as a function of age cohort in a Finnish population sample / T. Laaksonen, H. Sariola, A. Johansson et al. // Child Abuse & Neglect. 2011. Vol. 35, № 7. P. 480–490. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2011.03.004>.

Информация об авторе.

Симоне Ээльмаа – магистр в области международного права и защиты прав человека (2018), докторант (социология) Института социальных наук Тартуского университета, ул. Лосси, д. 36, 51010, Эстония. Автор 4 научных публикаций. Сфера научных интересов: уголовное право, криминология, анализ дискурса и исследование уязвимых групп населения. E-mail: simone.eelmaa@ut.ee

Общероссийское голосование как институт демократии: обоснование, последствия, перспективы

И. В. Игнатушко[✉]

*Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I,
Санкт-Петербург, Россия*

[✉]valira1971@yandex.ru

Введение. Актуальность темы определяется появлением новой для России институции – общероссийского голосования, относительно которого нет единой трактовки со стороны ученого сообщества. Реформа Конституции – внесение поправок в 2020 г. – разрешила назревшие вопросы, касающиеся как ценностно-идеологической сферы, так и социально-экономической, политической. Цель статьи – определить основания, последствия и перспективы общероссийского голосования как института демократии и правового института. Новизна исследования состоит в том, что на основе имеющихся нормативно-правовых актов, научных разработок социологов и юристов предпринята попытка системного анализа феномена общероссийского голосования и определения его значения и перспектив.

Методология и источники. Эмпирической базой исследования выступают данные опроса ВЦИОМ, посвященного информированности россиян об общероссийском голосовании по поправкам к Конституции, а также результаты электорального прогноза ВЦИОМ 23.06.2020, материалы официального сайта ЦИК РФ о результатах общероссийского голосования 2020 г. В работе использовались концепции и разработки российских ученых Дзидоева Р. М., Ильина В. А., Морева М. В., Хорунжего С. Н., Христофоровой Е. И., Соколовой Е. А., Чеботарева Г. Н. и др., теория плебисцитарной демократии М. Вебера, теория социального института. В исследовании использовались метод системного анализа, общелогические методы.

Результаты и обсуждение. В связи с проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 2020 г. были приняты новые нормативные правовые акты. Появление феномена общероссийского голосования вызвало дискуссии в научной среде, в обществе по поводу легитимности и последствий данного политико-правового явления. В статье автор рассматривает социологические аспекты общероссийского голосования как института демократии относительно обоснованности, сущности, причин, последствий и перспектив. А именно затрагиваются прогнозы институционализации общероссийского голосования, особенности данного проявления народовластия относительно иных форм демократии в России, его значение для социума.

Заключение. Россия является демократическим государством, и формы проявления демократии закреплены в законодательстве. Общероссийское голосование было проведено в соответствии со специально созданными для его проведения нормативными правовыми актами. Сформировался новый институт демократии. Результат голосования за поправки в Конституцию показал уровень и динамику взаимодействия государства и общества, своевременность вынесенных на голосование вопросов. В то же время имплементация общероссийского голосования в правовую систему



России и вопрос окончательной институционализации соответствующих отношений представляются маловероятными.

Ключевые слова: общероссийское голосование, институт демократии, поправки к Конституции РФ, референдум, результат голосования, последствия и перспективы общероссийского голосования.

Для цитирования: Игнатушко И. В. Общероссийское голосование как институт демократии: обоснование, последствия, перспективы // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 81–93. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-81-93

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 05.02.2021; принята после рецензирования 12.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

All-Russian Voting as an Institution of Democracy: Justification, Effects, Perspectives

Irina V. Ignatushko✉

Emperor Alexander I St, Petersburg State Transport University, St Petersburg, Russia

✉valira1971@yandex.ru

Introduction. The actuality of the topic is determined by the emergence of a new institution for Russia – the all-Russian voting, regarding which there is no single interpretation of the scientific community. The reform of the Constitution – amendments in 2020 – solved the urgent questions concerning the value-ideological sphere and also the socio-economic and political ones. The purpose of the article is to determine the justification, effects and perspectives of all-Russian voting as an institution of democracy and a legal institution. We made an attempt to systematically analyze the phenomenon of all-Russian voting and determine its meaning and prospects on the basis of existing regulatory legal acts, scientific developments of sociologists and lawyers. It provides the novelty of the work presented.

Methodology and sources. The empirical base of the study is the data of the All-Russian Public Opinion Research Center poll on the awareness of Russians about the nationwide voting on amendments to the Constitution, as well as the results of the All-Russian Public Opinion Research Center electoral forecast on 06.23.2020, materials of the official website of the Central Election Commission of the Russian Federation on the results of the all-Russian vote in 2020. In our work we used the concepts and developments of Russian scientists: Dzidoev R. M., Ilyin V. A., Morev M. V., Khorunzhiy S. N., Khristoforova E. I., Sokolova E. A., Chebotarev G. N. and others. We also used M. Weber's theory of plebiscite democracy and the theory of social institution. The study used the method of systems analysis and general logical methods.

Results and discussion. In connection with the conduct of the all-Russian vote on the approval of amendments to the Constitution of the Russian Federation in 2020, new regulatory legal acts were adopted. The emergence of the phenomenon of all-Russian voting has caused discussions in the scientific community and in society about the legitimacy and consequences of this political and legal phenomenon. In the article the author examines the sociological aspects of the all-Russian vote as an institution of democracy regarding the validity, nature, causes, consequences and perspectives. Namely, the forecasts of the institutionalization of the all-Russian vote, the features of this manifestation of democracy in relation to other forms of democracy in Russia, its significance for society are touched upon.

Conclusion. Russia is a democratic state, and the forms of manifestation of democracy are enshrined in legislation. The all-Russian voting was held in accordance with the regulatory legal acts specially created for its implementation. A new institution of democracy has been formed. The result of voting for amendments to the Constitution showed the level and dynamics of interaction between the state and society, the timeliness of the questions put to the voting. Withal, the introduction of the all-Russian voting in the legal system of Russia and the question of the final institutionalization of the relevant relationship seems unlikely.

Key words: all-Russian voting, institution of democracy, amendments to the Constitution of the Russian Federation, referendum, voting results, effects and perspectives of the all-Russian voting.

For citation: Ignatushko I. V. All-Russian Voting as an Institution of Democracy: Justification, Effects, Perspectives. DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 81–93. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-81-93 (Russia).

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 05.02.2021; adopted after review 12.03.2021; published online 23.04.2021

Введение. Неотъемлемой частью культуры как отражения достижений общества в его духовной и материальной жизни является правовое регулирование. В настоящий момент актуализирован вопрос о способах проявления непосредственной демократии в РФ в связи с проведением общероссийского голосования и внесением изменений в Конституцию РФ. Общероссийское голосование является, с одной стороны, институтом демократии, призванным решать вопросы народовластия в стране. С другой стороны, это правовой институт, проявляющийся в нормах действующего законодательства. И в первом, и во втором случае этот феномен является важнейшей вехой в политической и правовой жизни России, он уже вошел в историю как важнейшая ступень государственного строительства. В связи с этим в среде ученых и политических деятелей возник дискурс, направленный на определение необходимости (или отсутствия необходимости), правового обоснования (или отсутствия легитимности), последствий и перспектив данного политического и правового явления.

Вопросы обоснования, правового основания проведения общероссийского голосования интересуют в основном юристов. С точки зрения социологии, конечно, интересны цифры, показатели активности населения, количество проголосовавших за поправки и против них. Кроме того, возникает теоретический вопрос о социальной сущности нового института демократии – какую роль он был призван сыграть в российском обществе и насколько удачно эта роль была сыграна, есть ли перспективы развития этого института.

Цель исследования – изучить феномен общероссийского голосования как социального и правового института, выявить его основания, последствия и перспективы. Для достижения указанных целей необходимо выполнить следующие задачи: изучить нормативно-правовые акты, регулирующие проведение общероссийского голосования и регулирующие иные формы проявления демократии; рассмотреть научные работы в сфере социологии и права, посвященные данной теме, данные ВЦИОМ, ЦИК; выявить теоретические аспекты, позволяющие интерпретировать общероссийское голосование как социальный институт.

Гипотеза исследования: общероссийское голосование можно рассматривать как институционализацию еще одной формы народовластия. Социальный институт общероссийского голосования направлен на решение задач, которые выполняют все социальные

институты в различных сферах, и в то же время имеет свои особенности. В данной статье автор предприняла попытку аккумулировать имеющиеся исследования феномена общероссийского голосования и синтезировать резюме относительно определения обоснованности, последствий и перспектив данного проявления непосредственной демократии.

Методология и источники. Эмпирической базой исследования выступают данные ВЦИОМ, ЦИК РФ. В работе автор использовала научные труды и концепции российских ученых Дзидоева Р. М., Ильина В. А., Морева М. В., Хорунжего С. Н., Христофоровой Е. И., Соколовой Е. А., Чеботарева Г. Н. и др. Применительно к общероссийскому голосованию актуально применение теории плебисцитарной демократии М. Вебера, поскольку голосование за поправки актуализировало вопрос не только о регулировании важнейших сфер жизни общества, но и о доверии к действующей власти. Главной фигурой в теории Вебера выступает харизматичный лидер [1]. Инициатива проведения общероссийского голосования была поддержана российским президентом, эту тему активно развивали СМИ, тем самым максимально привлекая интерес населения к поправкам. Результаты голосования показали отношение граждан не только к поправкам, но и к действующей власти, лично к президенту, его инициативам.

Положения теории социального института, внимание которой уделялось классиками социологии, и актуальной сегодня, позволили поднять вопрос об институционализации практики общероссийского голосования, о возможности рассмотрения общероссийского голосования как складывающейся устойчивой формы организации совместной жизнедеятельности людей. Социальные институты и в прошлом, и в настоящем были предметом анализа социологов, и в социологической литературе представлено множество определений социального института. «Под институтом подразумевают и относительно стабильную и интегрированную совокупность символов, верований, ценностей, норм, ролей и статусов, которая управляет конкретной сферой социальной жизни: это семья, религия, образование, экономика, управление. Социальный институт – это устойчивый комплекс правил, норм, установок, регулирующих различные сферы человеческой деятельности и организуемых их в систему социальных ролей и статусов» [2, с. 46–47].

В исследовании использовался метод системного анализа, общелогические методы. Структурно-функциональный подход позволил рассмотреть общероссийское голосование в системе социальных отношений, определить его роль и значение. Как указывают А. В. Петров и А. В. Зырянов, «использование структурно-функционального подхода имеет огромный эвристический потенциал не только в рамках социологии (где он первоначально использовался), но и при изучении государственно-правовых явлений, социального управления...» [3, с. 38]. «Всестороннее и полное исследование части государственно-правовой действительности невозможно без использования как функционального, так и институционального, структурного методов в совокупности: глубокие знания государственных и правовых явлений предполагают исследование не только статичной структуры того или иного государственного или правового института, но и постижение тех качеств, свойств, которые актуализируются у такого института в результате его функционирования, выполнения возложенных на него целей, задач, а также и результатов различных направлений его деятельности» [3, с. 37].

На взаимосвязь структурно-функционального анализа и системного подхода обращает внимание Н. В. Вантеева: «Структурно-функциональный анализ тех или иных явле-

ний <...> осуществляется в рамках системного подхода, который в свою очередь является элементом философской методологии» [4, с. 28].

Следует отметить, что в работе осуществлялось сравнение феномена общероссийского голосования с иными формами проявления демократии, которые наблюдались ранее и используются в настоящее время в России.

Результаты и обсуждение. Исследования показывают, что различий между плебисцитом, референдумом, всенародным обсуждением и всенародным голосованием не усматривается, если обратиться к различным отечественным справочным изданиям социально-политического характера [5, с. 81].

В законодательстве России встречаются такие категории, по сути отражающие близкие явления правовой действительности, как всенародное голосование, общероссийское голосование, референдум, опрос граждан.

Вопросы проведения общероссийского голосования по изменениям в Конституцию, внесенным в 2020 г., урегулированы Законом РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ, Указом Президента РФ от 17.03.2020 № 188 (ред. от 25.03.2020) «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», Указом Президента РФ от 01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», Постановлением ЦИК России от 20.03.2020 № 244/1804-7 (ред. от 23.06.2020) «О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации». В целом, с момента принятия ФЗ о поправках к Конституции РФ до вступления поправок в силу (04.07.2020) прошло неполных четыре месяца, что свидетельствует о гибкости и оперативности законодательной системы и административного ресурса.

До разработки указанных нормативных правовых актов вопрос о проведении общероссийского голосования не был детально урегулирован в российском законодательстве. В соответствии с ФКЗ от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации» референдум определяется как всенародное голосование. В соответствии с нормами ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам. Определения термина «всенародное голосование» законодательство не содержит.

Однако этот термин встречался ранее в законодательстве. Так, в соответствии с Указом Президента России от 15.10.1993 № 1633 «О проведении всенародного голосования по проекту Конституции Российской Федерации» дата всенародного голосования – 12 декабря 1993 г. В ходе проведения «всенародного голосования» гражданам России предлагалось проголосовать за принятие Конституции России. Официально эта процедура не могла называться «референдумом», так как Президент России, в соответствии с действовавшим законодательством, формально не мог инициировать проведение референдума. Следовательно, под понятие «всенародного голосования» мог подпадать не только референдум, но и иные проявления народного волеизъявления. По смыслу действующего законодательства референдум и всенародное голосование – понятия тождественные. Так, ст. 57 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 18.06.2017) «О референдуме Российской Федерации» называется «Опубликование текста проекта новой Конституции Российской

Федерации, проекта нормативного акта, вынесенных на референдум». Ст. 6 – «Вопросы референдума и порядок их вынесения на референдум» – содержит норму о вынесении на всенародное голосование проекта новой Конституции Российской Федерации.

В соответствии с Конституцией РФ, ст. 135, нормы глав 1, 2 и 9 не могут быть изменены Федеральным собранием. Для их пересмотра в соответствии с федеральным конституционным законом (которого до настоящего момента в России нет) созывается Конституционное собрание. Конституционное собрание вправе принять новый проект Конституции или вынести его на всенародное голосование. Для внесения изменений в другие главы Конституции РФ нет необходимости в проведении всенародного голосования (референдума), а такого инструмента, как «общероссийское голосование», российский правовой тезаурус не содержал.

Упор в регулировании общероссийского голосования был сделан на подзаконные нормативные правовые акты – Указы Президента и Постановление ЦИК России, что является прецедентом в регулировании проведения выборов и референдумов. Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ носил одноразовый характер, что роднит его с правоприменительными актами, исходя из классификации правовых актов, принятой в теории государства и права. Следует отметить и тот факт, что изменения в соответствующие главы Конституции РФ, внесенные после общероссийского голосования, не нуждались в такой сложной процедуре, под которую было задействовано столько законодательной и правоприменительной техники. Достаточно было обойтись процедурой, уже предусмотренной действующим законодательством, Конституцией РФ. Вышеупомянутые подзаконные нормативные правовые акты и Закон РФ о поправке к Конституции РФ детально регламентировали вопросы общероссийского голосования (не приводя его дефиниции) применительно к конкретной ситуации по конкретным поправкам. Как правило, законодательная процедура, будь то принятие законов или внесение изменений в действующее законодательство, в Конституцию, предусматривает строго определенный порядок, регламентированный законодательством. Относительно общероссийского голосования наблюдается иная ситуация, в определенной степени схожая с ситуацией, в которой принималась Конституция РФ 1993 г. В 1993 г. законодательство, по-видимому, не успевало за настроениями политических сил, пришедших к власти в России. Поэтому «в ручном режиме» оно было изменено, и по Указу Президента было проведено всенародное голосование.

Весной 2020 г. каких-либо кардинальных изменений в политической жизни Российской Федерации не наблюдалось. Однако руководство России посчитало возможным и необходимым принять большое количество нормативных правовых актов, направленных на проведение общероссийского голосования, сформировав тем самым еще один правовой институт, направленный на выражение демократии, запустив процесс институционализации новой формы демократии.

Закономерно возникает вопрос о необходимости и целесообразности общероссийского голосования. Ведь изменения коснулись тех глав Конституции, которые возможно было изменить, используя уже имеющиеся правовые механизмы. Кроме того, проведение плебисцитов, выборов требует значительного финансирования.

О необходимости, важности общероссийского голосования неоднократно заявляли представители государственной власти. Об этом говорил и Президент РФ В. В. Путин во

время обращения к гражданам России 23.06.2010: «Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед...» [6].

В контексте общероссийского голосования, учитывая роль Президента, следует вспомнить теорию плебисцитарной демократии М. Вебера. «В концепции М. Вебера демократия выступает не как цель, а как способ и средство: способ избрания лидеров, средство придания законности их полномочиям, способ привлечения значительной массы населения к решению политических дел национального значения» [7, с. 15].

На ключевую роль Президента касательно общероссийского голосования обращают внимание В. А. Ильин и М. В. Морев, которые полагают, что на общероссийское голосование был поставлен вопрос о доверии главе государства. «Ведь именно В. Путин выступил с данной инициативой, стимулировал общественные дискуссии, создавал экспертные группы, проводил совещания с их представителями. Кроме того, среди изменений к Основному Закону фигурировала поправка о потенциальной возможности продления президентских сроков действующего главы государства, и российские избиратели голосовали, в том числе, и за нее тоже» [8, с. 29].

Относительно легитимности проведения общероссийского голосования высказывались противоположные точки зрения. Как указывает Г. Н. Чеботарев, в ряде появившихся публикаций после принятия Президентом РФ указа о проведении общероссийского голосования содержалось утверждение, что, поскольку процедура изменений Конституции РФ не предусматривает общероссийского голосования, то она неконституционна. Между тем участие народа в процедуре внесения изменений в Конституцию РФ согласно Докладу о конституционных поправках, одобренному еще в 2009 г. Венецианской комиссией, усиливает легитимность конституционных поправок [9, с. 8–9]. Конституционный суд РФ указывает также в своем Заключении: «Конституционный законодатель, руководствуясь принципом народовластия, в целях конституционной легитимации своего решения был вправе обратиться к общероссийскому голосованию, прямо не предусмотренному действующим правовым регулированием для принятия конституционной поправки» [10].

Высказывались и противоположные мнения, суть которых сводилась как к безусловному утверждению нелегитимности процедуры внесения поправок в Конституцию, «покушения на Конституцию и право» [11, с. 2], так и к сомнительности концепции организации общероссийского голосования [12, с. 160]. Как указывают Р. С. Марков и Е. С. Поляков: «Действительно, привлечение граждан государства к изменению существенных положений Основного закона видится шагом положительным, направленным на укрепление демократических институтов, но при этом вызывающим значительными противоречиями с законодательных и организационных позиций» [13, с. 181].

С. Н. Хорунжий в качестве основных аргументов отказа в признании легитимности положений Закона о поправке перечисляет три: первый – однократность действия принятого закона и отсутствие процедуры общероссийского голосования в системе действующего законодательства; второй – невозможность проголосовать за каждую поправку отдельно и третий – не предусмотренный указанным Законом «кворум участия» [14, с. 12].

За аргумент об отсутствии «кворума участия» выступает и Р. М. Дзидзоев, полагающий проведение общероссийского голосования по поправке к Конституции РФ, как и

Заключение Конституционного суда РФ о соответствии (несоответствии) положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу конституционных изменений, с точки зрения самой Конституции РФ, ее ст. 136, находящейся в «защищенной» главе основного закона, действиями, процессуально излишними: «Общероссийское голосование можно было бы условно полагать способом легитимации изменений, вносимых в Основной Закон, если бы оно предполагало волю большинства. Между тем, законодательный формат общероссийского голосования допускал одобрение конституционных поправок большинством граждан, принявших участие в голосовании, которое может составлять малую долю электората. Можно ли назвать актом легитимации поправки в Конституцию РФ ее одобрение меньшинством граждан?» [15, с. 19]. Таким образом, с процессуальной точки зрения появление нового института народовластия, который бы решал вопросы внесения изменений в Конституцию РФ, не обосновано при наличии уже существующих механизмов.

Но все мероприятия, направленные на внесение изменений в Конституцию, способствовали актуализации вопросов, вынесенных на общероссийское голосование, активному обсуждению проблем государственного строительства, сплочению общественности в определении перспектив развития социума и государства, статуса России на международной арене. Следовательно, можно говорить о роли и значении общероссийского голосования как института демократии, выражающегося в оперативном взаимодействии государства и общества как реакции на актуальные вопросы как внутренней, так и внешней политики. Насколько же эффективно оказалось это взаимодействие?

В. А. Ильин и М. В. Морев полагают: «Таким образом, многолетняя нерешенность вопросов, связанных с реально ощутимым широкими слоями населения ростом уровня и качества жизни, а также с более справедливым распределением национального благосостояния <...> негативно отражается на динамике общественного мнения относительно эффективности системы государственного управления и деятельности лично главы государства <...>. Об этом же говорит тот факт, что в большинстве субъектов РФ (в 47 из 86) доля людей, проголосовавших 1 июля 2020 г. против поправок к Конституции, была выше, чем в среднем по стране» [8, с. 29].

С другой стороны, рассмотрение поправок, внесенных в Конституцию вследствие общероссийского голосования, свидетельствует об их соответствии потребностям российского социума, вызовам со стороны внешнеполитической ситуации. Согласно данным ЦИК в голосовании приняли участие более 74 млн граждан РФ (67,97 %). За поправки проголосовало 77,92 % от числа граждан, принявших участие в голосовании. Эти же цифры подтверждаются ВЦИОМ. Следовательно, более половины избирателей России одобрило изменения Конституции РФ.

Часть поправок направлена на фундирование российского общества, они пронизывают единым стержнем все слои российского общества, являются, как принято артикулировать в современном российском политикуме, скрепой россиян. Эти же поправки являются посылом международному сообществу, они определяют ценности российского общества, российскую идентичность.

Имеется ряд поправок регулятивного характера. Их принятие обусловлено назревшими проблемами в социально-экономической, политических сферах: регулирование зарплат, пенсий, статус лиц, относящихся к публичной власти. Переформатированы полномочия

Государственной думы и президента. Кроме того, дополнены ст. 71, 72 Конституции РФ (ведение РФ и совместное ведение). Однозначно решен вопрос и о приоритете Конституции в случае противоречия ее нормам решений межгосударственных органов.

Остается открытым вопрос о судьбе нового правового института и института демократии в российском социуме. По этому поводу также нет единого мнения. Так, Чеботарев предлагает «положительный опыт общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ как особой формы народовластия закрепить все же в Федеральном законе “О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации” или в новом специальном Федеральном законе “О порядке проведения общероссийского голосования”. Нельзя исключать в будущем необходимости внесения очередных поправок в Конституцию РФ, и поэтому правовое регулирование в развитие ст. 136 Конституции РФ процедуры внесения поправок в Конституцию РФ будет способствовать дополнительной конституционной легитимации принятия конституционных поправок» [9, с. 10].

Р. С. Марков и Е. С. Поляков считают, что статус общероссийского голосования на сегодня – «специальная факультативная стадия принятия поправок к Конституции РФ». Авторы полагают, что в дальнейшем необходимо определить положение общероссийского голосования в ряду других институтов прямой демократии, следует закрепить возможность повторения данной процедуры при последующих изменениях основного закона страны. Как вариант предлагается выделить общероссийское голосование как самостоятельную разновидность прямого волеизъявления. Либо возможно «постепенное сближение общероссийского голосования с федеральным референдумом, расширение выносимых на референдум вопросов посредством внесения изменений в отдельные положения законодательства о референдуме» [13, с. 182].

Представляется все же, что применение такого разового правового инструмента, как общероссийское голосование по поправкам в 2020 г., останется уникальным примером, судьбу которого для дальнейшего использования и включения в правовое поле РФ законодатель никак не определит. А при возникновении потребности заручиться поддержкой народа возможны будут принятие еще закона однократного действия и наделение специальными полномочиями определенных государственных органов.

Заключение. В ходе исследования были рассмотрены нормативно-правовые акты, регулирующие проведение общероссийского голосования, референдума, регулирующие иные формы проявления демократии; были рассмотрены научные работы в сфере социологии и права, посвященные общероссийскому голосованию 2020 г., данные ВЦИОМ, ЦИК о результатах голосования; осуществлена экстраполяция положений теории социального института, теории плебисцитарной демократии, структурного функционализма на феномен общероссийского голосования.

Следует отметить наличие различных взглядов относительно проведения общероссийского голосования и принятых поправок. Вопросы о легальности и целесообразности процедуры общероссийского голосования вызывали споры в основном в профессиональной среде юристов. Но окончательный вывод был сделан Конституционным судом. Процедура соответствовала демократическим принципам, Конституции РФ. В то же время дискуссионным остается вопрос о целесообразности, возможности такого спонтанного изменения законодательства, когда для принятия конкретных норм допускается издание

специальных нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми и принимаются новые нормы. Кроме того, размещение норм, защищающих историческую правду, регламентирующих социально-экономические права граждан, утверждающих приоритет Конституции РФ в отношении решений международных органов, в гл. 3 Конституции РФ вызывает вопрос об их уместности в данной главе, является поводом для дальнейших научных дискуссий относительно содержания и построения Конституции РФ.

Что касается легитимности, большинство избирателей России пришли отдать свой голос за поправки. Это лучшее доказательство легитимности проведенного голосования. Кроме того, следует отметить, что свой голос россияне отдавали и за действующую власть в лице президента, так как одобрили возможность его избрания после окончания полномочий.

Поправки, внесенные в Конституцию, носят прогрессивный характер и способствуют построению социального, правового государства в РФ. Общероссийское голосование было призвано выполнить практически все функции, которые присущи различным социальным институтам: удовлетворение социальных потребностей, регулирование отношений, функция сплочения членов общества, транслирующая функция, функция социализации и коммуникативная. Возникает вопрос только о перспективах существования, развития или отмирания данной формы демократии. Представляется, что принятые в целях проведения общероссийского голосования нормативно-правовые акты были использованы лишь единожды, и при необходимости государство может прибегнуть к вновь созданной институции прямого волеизъявления граждан, подстроив под нее новое законодательство. Ведь по сути, общероссийское голосование – это второй прецедент (после 1993 г.), когда оперативно принимаются нормативные правовые акты, призванные урегулировать процедуры, уже урегулированные законодательством. Следовательно, представляется маловероятным сценарий, при котором государство адаптирует правовой институт общероссийского голосования в правовую систему РФ для дальнейшего применения. В то же время прецедент презентации новой формы проявления прямой демократии налицо, и возникает вопрос о ее институционализации.

Следует отметить, что, в отличие от выборов и референдумов, этих устоявшихся форм проявления народного волеизъявления, форма общероссийского голосования – это довольно необычный феномен, который разово, остро показал уровень взаимодействия государства и общества, действительный, искренний интерес власти к мнению народа о многих важнейших аспектах жизни страны, и в этом его особенность. И полученный ответ крайне красноречив – примерно 53 % избирателей поддержали поправки, выразив тем самым не только отношение к нормам регулирующего характера, но и к государственной политике и власти.

Конституционная реформа актуализировала вопрос о взаимодействии государства и общества, показала поддержку большинством существующей государственной власти. Реформа формализовала и закрепила актуальные для российского социума вопросы, касающиеся как ценностно-идеологической сферы, так и регулирования социально-экономической и политической жизни. Общероссийское голосование позволило не только закрепить определенный культурный этап жизни страны, но и эксплицировать вопросы идентичности, приверженности определенным ценностям «русской цивилизации».

Таким образом, гипотезы исследования подтверждены: общероссийское голосование можно рассматривать как институционализацию еще одной формы народовластия. Социальный институт общероссийского голосования направлен на решение задач, которые выполняют все социальные институты в различных сферах, в то же время имеет свои особенности. Эти особенности обусловлены тем, что данная форма народовластия появилась недавно, хотя похожий прецедент имел место и в 1993 г. Но, поскольку создано новое законодательство, регулирующее проведение общероссийского голосования, и оно состоялось на ином этапе развития России, прямой аналогии здесь не наблюдается.

Цель исследования достигнута, в работе были выявлены основания, последствия и перспективы общероссийского голосования как социального и правового института.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии: в 4 т. / пер. с нем. под ред. Л. Г. Ионина. Т. 1. Социология. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016.
2. Социология: социальная структура и социальные институты / Г. Б. Кошарная, Е. В. Щанина, Л. Т. Толубаева и др. / под ред. Г. Б. Кошарной. Пенза: Изд-во ПГУ, 2016.
3. Петров А. В., Зырянов А. В. Структурно-функциональный подход в современных юридических исследованиях // Юридический вестн. Кубанского гос. ун-та. 2017. № 1 (30). С. 37–39.
4. Вантеева Н. В. Принципы юридической ответственности (структурно-функциональный анализ): дис. ... канд. юрид. наук / ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Ярославль, 2005.
5. Синцов Г. В. Проблемы разграничения понятий института референдума и плебисцита в законодательстве зарубежных стран // Пробелы в российском законодательстве. 2010. № 4. С. 81–84.
6. Обращение Путина к россиянам // ТАСС. 2020. URL: <https://tass.ru/obschestvo/8800543> (дата обращения: 14.01.2021).
7. Христофорова Е. И., Соколова Е. А. Перспективы развития института плебисцитарной демократии в Российской Федерации // Выборы: теория и практика. 2020. № 1 (53). С. 14–18.
8. Ильин В. А., Морев М. В. Кредит доверия Президенту подтвержден. Достижение целей социально-экономического развития до 2024–2030 гг. в тумане // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13, № 4. С. 9–37. DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.1.
9. Чеботарев Г. Н. Конституционное право граждан на внесение изменений в Конституцию Российской Федерации // Государство и право. 2020. № 12. С. 7–15. DOI: 10.31857/S102694520012727-0.
10. Заключение Конституционного суда РФ от 16.03.2020 № 1–3. 2020. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003160037?index=0&rangeSize=1> (дата обращения: 14.01.2021).
11. Картина Фейком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации // Независимый общественный мониторинг. 2020. URL: <https://op.admhmao.ru/upload/iblock/c22/Doklad-NOM-kartina-feykom.pdf> (дата обращения: 14.01.2021).
12. Соколов М. В. Проблемы правового регулирования общероссийского голосования по поправкам к Конституции России // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2020. № 3 (43). С. 157–161.
13. Марков Р. С., Поляков Е. С. Конституционно-правовой статус общероссийского голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации // Тамбовские правовые чтения имени Ф. Н. Плевако: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф.: в 2 т. 22–23 мая 2020 г. / ТГУ им Г. Р. Державина. Тамбов, 2020. Т. 1. С. 178–183.
14. Хорунжий С. Н. Общероссийское голосование как субсидиарная форма реализации конституционного права граждан на участие в управлении делами государства // Мониторинг правоприменения. 2020. № 3 (36). С. 9–15. DOI: 10.21681/2226-0692-2020-3-9-15.

15. Дзидзоев Р. М. Конституционные поправки 2020 г.: процессуальные вопросы // Междунар. журн. конституционного и государственного права. 2020. Т. 3. С. 17–20.

Информация об авторе.

Игнатушко Ирина Викторовна – кандидат социологических наук (2018), доцент кафедры экономической теории Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I, Московский пр., д. 9, Санкт-Петербург, 190031, Россия. Автор 33 научных публикаций. Сфера научных интересов: электорально-правовая культура, правовая культура. E-mail: valira1971@yandex.ru

REFERENCES

1. Weber, M. (2016), *Khozyaistvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchei sotsiologii: v 4 t. Sotsiologiya* [Economy and Society: Essays on Understanding Sociology: in 4 volumes. Sociology], Transl. by Ionin, L.G., in Ionin, L.G. (ed.), vol. 1, HSE Publishing House, Moscow, RUS.

2. Kosharnaya, G.B., Shchanina, E.V., Tolubaeva, L.T. et al. (2016), *Sotsiologiya: sotsial'naya struktura i sotsial'nye instituty* [Sociology: social structure and social institutions], in Kosharnaya, G.B. (ed.), PSU Publishing House, Penza, RUS.

3. Petrov, A.V. and Zyryanov, A.V. (2017), "Structural and functional approach in modern legal research", *Legal Bulletin of the Kuban State University*, no. 1 (30), pp. 37–39.

4. Vanteeva, N.V. (2005), "Principles of Legal Responsibility (Structural and Functional Analysis)", Can. Sci. (Jurid.) Thesis, YarSU, Yaroslavl, RUS.

5. Sintsov, G.V. (2010), "Problems of differentiating the concepts of the institute of referendum and plebiscite in the legislation of foreign countries", *Probely v rossiiskom zakonodatel'stve* [Gaps in Russian legislation], no. 4, pp. 81–84.

6. "Putin's address to the Russians", TASS, available at: <https://tass.ru/obschestvo/8800543> (accessed 14.01.2021).

7. Hristoforova, E.I. and Sokolova, E.A. (2020), "Prospects for the development of the institute of plebiscite democracy in the Russian Federation", *Vybory: teoriya i praktika* [Elections: theory and practice], no. 1 (53), pp. 14–18.

8. Ilyin, V.A. and Morev, M.V. (2020), "Vote of confidence for the President is confirmed. Achievement of socio-economic development goals before 2024–2030 is uncertain", *Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast*, vol. 13, no. 4, pp. 9–37. DOI: 10.15838/esc.2020.4.70.1

9. Chebotarev, G.N. (2020), "Constitutional right of citizens to initiate amendments to the Constitution of the Russian Federation", *Gosudarstvo i pravo* [State and Law], no. 12, pp. 7–15. DOI: 10.31857/S102694520012727-0.

10. The conclusion of the Constitutional Court of the Russian Federation of March 16, 2020 No. 1–3 (2020), available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003160037?index=0&rangeSize=1> (accessed 14.01.2021).

11. "Painting by Fake. Information manipulations during the preparation for the all-Russian vote on amendments to the Constitution of the Russian Federation" (2020), *Nezavisimyi obshchestvennyi monitoring* [Independent Public Monitoring], available at: <https://op.admhmao.ru/upload/iblock/c22/Doklad-NOM-kartina-feykom.pdf> (accessed 14.01.2021).

12. Sokolov, M.V. (2020), "Problems of legal regulation of "All-Russian vote" on amendments to the Russian Constitution", *Skif. Student science questions*, no. 3 (43), pp. 157–161.

13. Markov, R.S. and Polyakov, E.S. (2020), "Constitutional and legal status of the all-Russian vote on amendments to the Constitution of the Russian Federation", *Tambovskie pravovye chteniya imeni F.N. Plevako* [Tambov Legal Readings named after F.N. Plevako], *Materialy IV Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii: v 2 t* [Materials of the IV International Scientific and Practical Conference: in 2 vol.], vol. 1, Tambov, RUS, 22–23 May 2020, pp. 178–183.

14. Khorunzhii, S.N. (2020), "All-Russian voting as a subsidiary form of realization of the constitutional right of citizens to participate in the management of state affairs", *Monitoring of law enforcement*, no. 3 (36), pp. 9–15. DOI: 10.21681/2226-0692-2020-3-9-15.

15. Dzidzoev, R.M. (2020), "A constitutional amendments 2020: procedural issues", *International Journal of Constitutional and State Law*, vol. 3, pp. 17–20.

Information about the author.

Irina V. Ignatushko – Can. Sci. (Sociology) (2018), Associate Professor at the Department of Economic Theory, Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, 9 Moskovsky pr., St Petersburg 190031, Russia. The author of 33 scientific publications. Area of expertise: electoral and legal culture, legal culture. E-mail: valira1971@yandex.ru

Парадигма смарт-образования: ожидаемые результаты и реальный опыт студентов

Е. В. Строгецкая[✉], И. Б. Бетигер

*Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия*

[✉]avs1973@mail.ru

Введение. В статье рассматривается переход высшей школы к парадигме смарт-образования. Представляются результаты социологического исследования, цель которого заключалась в сопоставлении реального опыта онлайн-обучения студентов с ожидаемыми результатами от воплощения в жизнь принципов новой цифровой образовательной парадигмы.

Методология и источники. В качестве методологической рамки исследования использовались принципы экономики высшего образования, институциональной традиции социологии высшего образования, а также теория социальных представлений.

Результаты и обсуждение. Представлены результаты мониторинга удовлетворенности и самооценки опыта онлайн-обучения студентов одного из ведущих технических университетов России. Авторами статьи выявлены интерес и в целом положительное отношение студентов вне зависимости от наличия или отсутствия у них соответствующего образовательного опыта в онлайн-обучении. Вместе с тем остается открытым вопрос, осуществляется ли на современном этапе цифровизации высшего образования его переход к принципам смарт-парадигмы.

Заключение. Во-первых, пока нет достаточных данных о существенном повышении эффективности образовательной деятельности. Можно зафиксировать лишь рост удовлетворенности студентов своей успеваемостью. Во-вторых, наблюдается проблема самоорганизации системы. Наконец, неясна степень готовности студентов, прошедших онлайн-обучение, к самостоятельному продуцированию знания и решению нестандартных задач. Скорее наоборот, чем сложнее становится осваиваемая профессиональная дисциплина, тем больше обучающиеся нуждаются в помощи преподавателя. Наиболее функциональным вариантом обучения студенты, особенно старших курсов обоих уровней образования, признают гибридные форматы.

Ключевые слова: социология высшего образования, смарт-образование, образовательная среда университета, онлайн-обучение в вузе, социальная эффективность образования, социальные представления студентов о цифровом образовании.

Для цитирования: Строгецкая Е. В., Бетигер И. Б. Парадигма смарт-образования: ожидаемые результаты и реальный опыт студентов // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 94–107. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-94-107

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 24.02.2021; принята после рецензирования 12.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

© Строгецкая Е. В., Бетигер И. Б., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.



The Smart Education Paradigm: Expected Outcomes and Real-Life Student Experience

Elena V. Strogetsкая[✉], Irina B. Betiger

Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

[✉]avs1973@mail.ru

Introduction. The article examines the transition of higher education to the paradigm of smart education. The article presents the results of a sociological study, the purpose of which was to compare the real experience of online learning of students with the expected results from the implementation of the principles of the new digital educational paradigm.

Methodology and sources. The principles of the economics of higher education, the institutional tradition of the sociology of higher education, and the theory of social representations were used as a methodological framework for the study.

Results and discussion. The results of monitoring the satisfaction and self-assessment of the online learning experience of students of one of the leading technical universities in Russia are presented. The authors of the article revealed the interest and generally positive attitude of students, regardless of whether or not they have an appropriate educational experience in online learning. At the same time, the question remains whether at the present stage of digitalization of higher education its transition to the principles of the smart paradigm is being carried out.

Conclusion. First, there is still no sufficient data on a significant increase in the effectiveness of educational activities. It is possible to record only an increase in student satisfaction with their academic performance. Secondly, there is a problem of self-organization of the system. Finally, the degree of readiness of students who have completed online training for independent production of knowledge and solving non-standard problems is not clear. Rather, on the contrary, the more difficult the mastered professional discipline becomes, the more students need the help of a teacher.

Key words: smart education, the educational environment of the university, online education at the university, social effectiveness of education, social perceptions of students about digital education.

For citation: Strogetsкая E. V., Betiger I. B. The Smart Education Paradigm: Expected Outcomes and Real-Life Student Experience. DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 94–107. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-94-107 (Russia).

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 24.02.2021; adopted after review 12.03.2021; published online 23.04.2021

Введение. В информационном обществе потребность в новой образовательной парадигме возрастает прямо пропорционально увеличению отдельных попыток дать объяснение происходящему в компьютеризированном социально-педагогическом пространстве. Особую остроту этой необходимости придает сегодняшняя трагическая ситуация, созданная пандемией коронавируса. Новая образовательная парадигма в условиях мировых катастроф, связанных с изоляцией субъектов всех сфер человеческой деятельности, может и должна становиться центральным стержнем, позволяющим выстраивать вокруг себя иерархию приоритетов преподавательских усилий, задавать ясность и обоснованность требованиям к составляющим учебного процесса и снижать неопределенность для всех его субъектов.

Рискнем утверждать, что ясного понимания образовательных ценностей, установок, критериев и моделей принятия решений, свойственных информационному обществу, пока

нет. Более того, краеугольный вопрос заключается в том, может ли вообще появиться единство в понимании этого, при характерных для современного общества фрагментарности и прагматичности самого знания и индивидуалистичности процессов обмена информацией. Тем не менее наиболее принятым в профессиональном академическом сообществе считается положение о том, что центральной идеей новой образовательной парадигмы является смещение фокуса внимания образования с процесса передачи / приема знаний на познавательную деятельность самого обучающегося, увеличение его возможностей в осуществлении самостоятельных действий при создании нового знания и совершенствовании навыков. Эта идея предлагается в качестве интеллектуального обоснования и вектора целеполагания для перевода учебного процесса в вузах в цифровую среду, поскольку на фоне заметного роста привлекательности и доступности высшего образования, обостряющих проблему его массовизации, онлайн-форматы учебных занятий рассматриваются чуть ли не как единственное средство осуществления индивидуализации процесса обучения. Среди предпосылок, формирующих такое положение, особо выделяются экономические, технологические и социальные.

Доминирующими предпосылками перехода высшего образования в цифровую среду чаще всего признаются экономические, связанные с оценкой крупных финансовых издержек высшего образования. Эта тема, получившая развитие в 1960-х гг. в исследованиях по экономике высшего образования [1, 2], в 2010-е гг. приобрела еще большую актуальность в связи со снижением государственного финансирования высшего образования [3]. Однако эти выводы и утверждения верны только в отношении использования МООС (массового открытого онлайн-курса) как «живого», визуализированного учебника, дополненного тестовыми процедурами, для массовых аудиторий. Специалисты ИТНАКА, некоммерческой организации, специализирующейся в области исследований в образовании, получили свои результаты, введя в модель в качестве базовой переменной численность студентов для одной образовательной программы. Естественно, отказ от ограничений в численности студентов-слушателей курса приводит к снижению издержек на него. Но возможно ли снятие такого ограничения в случае учебного процесса, стремящегося к индивидуализации? Вероятно, нет. Скорее наоборот, индивидуализация потребует сужения аудитории и/или привлечения вместо одного-двух преподавателей целой команды.

Кроме того, период пандемии со всеобщим переходом на онлайн-обучение продемонстрировал очевидную затратность этого образовательного формата, потребовав вложений в техническое оснащение, программное обеспечение и освоение преподавателями специальных компетенций. Утверждается, что переоснащение вызывает издержки лишь одновременно, но стоит заметить, что цифровые технологии и техника, их обеспечивающая, стремительно меняются, а это ставит пользователей в постоянную ресурсную зависимость. Наконец, затраты на онлайн-форматы постоянны в связи с необходимостью юридического сопровождения интеллектуальной собственности [4] при создании и внедрении в массовое использование новых цифровых продуктов.

Все перечисленное ставит под сомнение экономическое обоснование преимуществ цифрового формата при переходе к индивидуализации образования. Можно утверждать, что экономическая аргументация правомерна в случае, если, применяя онлайн-форматы, высшее образование в своем функционировании сохраняет традиционную парадигму, напри-

мер, внедряя в практики учебного процесса массовые онлайн-курсы как цифровые передатчики знаний на большие рассредоточенные аудитории. Если же принципы деятельности в высшей школе меняются в направлении новой образовательной парадигмы, включая индивидуализацию учебных занятий, то издержки на образование только возрастают.

Технологические предпосылки применения цифровых форматов для индивидуализации треков высшего образования выглядят более очевидными. Применение современных ИКТ почти безгранично расширяют возможности индивидуализации образования. Во-первых, они заметно облегчают конструирование нелинейных, асинхронных образовательных треков, которые могут подстраиваться как под вызовы среды, так и под персональные запросы обучающегося. Во-вторых, создают условия для осуществления многослойного учебного процесса в рамках конкретной дисциплины, когда преподаватель может легко «подстроить» материал под аудиторию, основываясь на уровне ее подготовки и предпочтениях в форме выполнения заданий [5] и стимулируя ее к самостоятельности познания.

Вместе с тем технологический скачок породил целый ряд вопросов о целях, ролевых сценариях субъектов образования, возможностях оценивания результатов функционирования новой образовательной среды. Вместе со смещением целевых ориентиров произошли и изменения в репертуаре ролей субъектов преподавательской деятельности. Так, преподаватели, находившие свое призвание в роли лекторов, получив выход на значительно более масштабную аудиторию, вместо акцента на качестве образования во многом сфокусировались на собственном имидже. Как показывают интервью с представителями технического сопровождения онлайн-курсов, при их проектировании далеко не все авторы-создатели детально разрабатывают методы выставления оценки, ставя в качестве приоритета привлечение массовой и разветвленной аудитории, а не проверку степени усвоения студентами материала. В связи с этим появляется несколько ниш для новых ролей субъектов образовательной деятельности – составителя и разработчика контрольных процедур, модератора группового обсуждения в сети, проверяющего-консультанта и т. д. Все новые роли субъектов преподавательской деятельности требуют спецификации критериев оценки качества и результативности.

Социальные предпосылки выраженных предпочтений студентов в выборе онлайн-образования перед оффлайн связаны с нарастающим доминированием «цифрового» образа жизни. Можно с уверенностью предполагать, что будущие преподаватели – сегодняшние студенты – для своей педагогической деятельности продолжат выбирать привычные, кажущиеся им наиболее эффективными и сохраняющими ценность «свободы» в учебном процессе формы и методы смарт-образования. На наш взгляд, если критическая перестройка системы образования в период пандемии несколько охладила обучающихся в оценках онлайн-образования, то возврат в оффлайн вскоре только усилит восприятие положительных сторон смарт-образования.

Таким образом, актуальность смарт-образования как базы для новой образовательной парадигмы хотя и была поставлена под вопрос сложностями пандемической реальности, но не девальвировалась и с еще большей силой требует своей дальнейшей систематизации [6]. Социологи высшего образования вносят в эту дискуссию свой вклад, фокусируя внимание на функциональных возможностях и социальных дисфункциях актуального, отвечающего на изменения среды образования, детерминированного цифровыми технологиями.

Социологические исследования smart-образования выстраиваются, в частности, вокруг следующих вопросов: Будут ли результаты цифрового образования такими же, как итоги традиционного? Существует ли разница в показателях эффективности преподавания традиционным способом – в аудитории – в сравнении с цифровым обучением? Что в цифровом и в традиционном форматах учебного процесса подлежит оценке с точки зрения обучающихся? [3]

Статья продолжает социологическую дискуссию о социокультурных и педагогических особенностях и эффектах цифровизации высшего образования. Она предлагает вниманию читателей результаты социологического исследования, цель которого заключалась в сопоставлении реального опыта онлайн-обучения студентов с ожидаемыми результатами перехода к новой цифровой образовательной парадигме. Основная гипотеза исследования состояла в том, что онлайн-обучение формирует у студентов новые установки, соответствующие ценностям информационного общества – готовности к автономному продуцированию знаний и совершенствованию навыков для решения нетрадиционных задач, – самостоятельно поставленных в ответ на изменение внешних условий, или обучающиеся переживают этот опыт лишь как более удобную, ресурсосберегающую форму занятий.

Методология и источники. Работая в контексте современной социологии высшего образования, авторы интегрировали положения нескольких методологических подходов к проблеме.

Прежде всего использовались принципы экономики высшего образования (W. G. Bowen, W. J. Baumol). Особое внимание было сосредоточено на дискуссиях о критериях и показателях «производительности» высшего образования [7].

В дополнение для концептуализации понятия «производительность образования» применялась методология институционального подхода (E. Durkheim, P. Berger and T. Luckmann, F. Collin). С ее помощью рассматривалась составная структура концепта. Выделялись такие составные ее части, как экономическая, организационная, педагогическая и социальная виды эффективности. Особое внимание уделялось социальной эффективности образовательного процесса, в результате чего были поставлены следующие задачи исследования: сравнительный анализ предпочтений студентов в выборе различных образовательных форматов; оценка удовлетворенности студентов онлайн-курсами и результатами своего обучения на них; выявление проблем и преимуществ онлайн-обучения.

Для подготовки измерительных процедур и интерпретации полученных результатов были использованы идеи теории социальных представлений (S. Moscovici) [8]. Согласно этой теории структура социальных представлений содержит три измерения: информационную плоскость и плоскости представлений и установок. Данные структурные компоненты интегрированно влияют на выбор паттернов поведения в новой для индивида социальной ситуации и определяют методы его адаптации к ней [9].

Важным аспектом для уточнения методологической рамки являлись вторичные источники в области цифровизации высшего образования [10–12].

Результаты и обсуждение. Для проверки основной гипотезы авторами предпринят ряд социологических исследований. Первое было нацелено на выявление социальных представлений о цифровом образовании у студентов, никогда не обучавшихся в онлайн-форматах. Исследование проводилось в начале 2018–2019 учебного года (уч. г.) в форме анкетного опроса магистрантов 1-го курса одного из ведущих технических университетов России.

Второе стартовало в 2018–2019 уч. г. и продолжает проводиться в форме мониторинга удовлетворенности и самооценки опыта обучения студентов на конкретных онлайн-курсах по дисциплинам, входящим в учебные планы основных образовательных программ исследуемого университета (далее – мониторинг). Письменные опросы проводятся в завершении учебных семестров, начиная с 2018–2019 уч. г. Опрашиваются студенты всех курсов бакалавриата и магистратуры, на которых традиционные аудиторные занятия либо полностью, либо частично (гибридный формат) заменены онлайн-аналогами, разработанными преподавателями того же вуза.

В 2018–2019 уч. г. в опросе приняли участие студенты-очники первого, второго и третьего курсов бакалавриата, а также обучающиеся на очно-заочной форме. Большинство из них обучались онлайн впервые. Целевую аудиторию в 2019–2020 уч. г. составили студенты-очники второго, третьего и четвертого курсов бакалавриата и магистранты первого и второго курсов, для многих из которых прохождение онлайн-курсов не было первым опытом цифрового обучения.

В результате проведения предварительного анкетного опроса и первых этапов мониторинга предполагалось сравнить мнения студентов о переходе высшего образования «на цифру» и выявить динамические тенденции в изменении их социальных представлений в ходе приобретения опыта онлайн-обучения. Кроме того, необходимо было получить от респондентов оценку удовлетворенности от прослушанных онлайн-курсов и результативности обучения на них.

Результаты анкетного опроса магистрантов первого курса технических факультетов, не имевших систематического опыта онлайн-обучения.

Выборка включала магистрантов без систематического опыта онлайн-обучения. Их численность составила 133 чел. Хотя респонденты не имели такого опыта, но в целом выразили положительное отношение к цифровизации образования, видя за ней будущее. Они проявляют хотя и пассивный, но явный интерес к онлайн-курсам. Вместе с тем наблюдаются незнание и, как следствие, недооценка респондентами некоторых ресурсов цифрового образования. Например, недооцениваются возможности возврата и повторного просмотра видеофрагмента занятия, использования форумов для более активной и дифференцированной обратной связи и т. д.

Результаты первого этапа мониторинга (2018–2019 уч. г.). В опросе приняли участие 438 респондентов.

Выявления предпочтений студентов в выборе форматов обучения. В результате сравнения отношения респондентов к традиционному аудиторному, гибриднему и онлайн-форматам было выявлено, что вне зависимости от курса, направления и формы обучения студенты отдают предпочтение онлайн-форматам (66 %). Предпочтение аудиторным занятиям выразили только 10 % респондентов. Вместе с тем для студентов-очников характерна следующая тенденция: чем старше студенты, тем больше они тяготеют к гибриднему формату обучения и тем меньше отдают предпочтение «чистым» онлайн-курсам (таблица). Респонденты очно-заочной формы в большинстве своем затрудняются с ответами относительно предпочтений в вопросе выбора формата обучения (45 %).

Оценка цифровых форматов обучения студентами разных курсов
Assessment of digital learning formats by students of different courses

Курс обучения	Предпочтение гибридного формата, %	Предпочтение онлайн-формата, %
2	43	21
3	57	16

Чем старше студенты, тем меньше желающих заменить аудиторные занятия онлайн-курсами и больше тех, кто выступает за гибридный формат.

Удовлетворенность студентов аспектами онлайн-курсов и результатами обучения. В целом можно утверждать, что все респонденты удовлетворены изученными онлайн-курсами. Количество учебных материалов, привлеченных для освоения курсов, было названо респондентами достаточным. Уровень тестов и заданий респонденты в подавляющем большинстве оценили как оптимальный.

Чтобы выявить важные для студентов аспекты онлайн-обучения, в исследовании использовался проективный вопрос «Если бы Вам самому пришлось подготовить учебный онлайн-курс, чему бы Вы уделили особое внимание?». Среди ответов на него чаще всего встречались: четкость и последовательность изложения учебного материала; полезность курса для специальности; занимательность курса. Последние места в совокупности ответов заняли внешний вид и дикция преподавателя и обратная связь (рис. 1). При этом оценки ключевых аспектов онлайн-обучения у студентов и преподавателей-авторов онлайн-курсов разошлись. Так, из интервью с авторами онлайн-курсов, входящих в программу мониторинга, стало известно, что преподаватели прежде всего озабочены собственным обликом при чтении видеолекций (дикция, внешний вид в кадре и т. д.).



Рис. 1. Важность аспектов онлайн-курса для студентов
Fig. 1. The importance of aspects of the online course for students

Оценивая результаты освоения онлайн-курсов в 2018–2019 уч. г., большинство студентов назвали уровень своих знаний средним. Они выразили мнение о том, что цифровое обучение интереснее и обеспечивает более высокую успеваемость, но занятия в аудиториях дают более прочные и ясные знания по предмету (рис. 2).



Рис. 2. Сравнительный анализ образовательных форматов
Fig. 2. Comparative analysis of educational formats

Проблемы и преимущества онлайн-обучения. В качестве проблемы онлайн-формата 27 % респондентов 2018–2019 уч. г. выделили невозможность проконсультироваться с преподавателем. Столько же студентов назвали наиболее важной составляющей онлайн-курсов обратную связь (рис. 3).

18 % столкнулись с трудностью сосредотачиваться при выполнении онлайн-заданий.



Рис. 3. Проблемы онлайн-обучения
Fig. 3. Problems of online learning

Результаты второго этапа мониторинга (2019–2020 уч. г.).

В опросе приняли участие 943 респондента 2–4 курсов бакалавриата и 1–2 курсов магистратуры очного обучения технических факультетов.

Выявления предпочтений студентов в выборе форматов обучения. По сравнению с предыдущим замером мониторинга доля респондентов, предпочитающих онлайн-форматы по сравнению с традиционными аудиторными занятиями, не изменилась и составила 65 %. 11 % отдают предпочтение работе в аудиториях.

Получила подтверждение тенденция, выявленная на предыдущем этапе мониторинга: студенты старших курсов как бакалавриата, так и магистратуры отдают предпочтение

гибридному формату перед другими форматами. Из студентов, предпочитающих аудитор-ные занятия, наибольшая доля принадлежит второкурсникам бакалавриата (рис. 4).

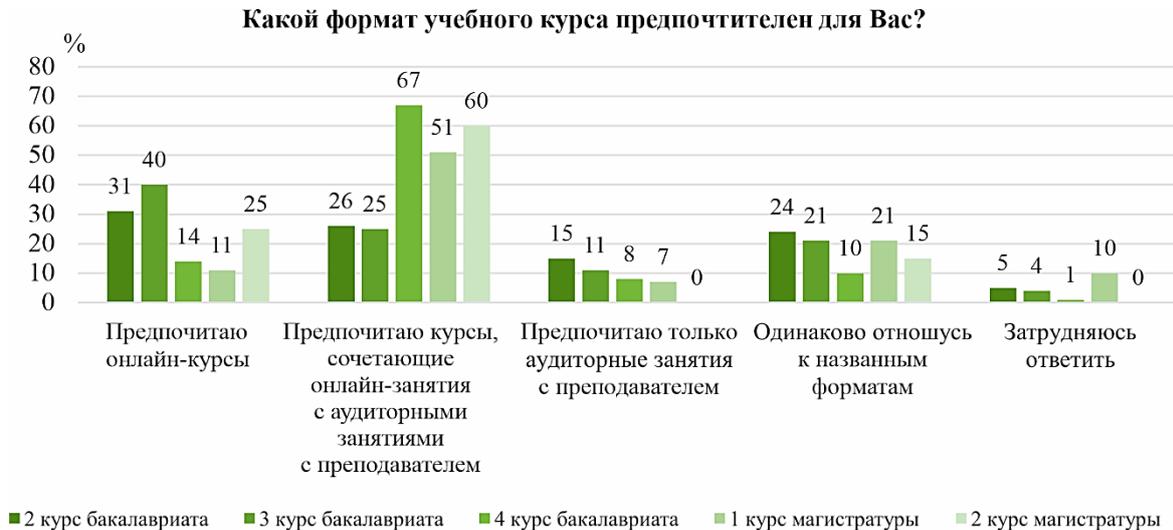


Рис. 4. Предпочтения студентов различных курсов в выборе форматов обучения
Fig. 4. Preferences of students of various courses in the choice of training formats

В ответах на вопрос о замене или сочетании форматов в рамках учебной программы семестра респонденты 2019–2020 уч. г. выразили явное предпочтение онлайн- и гибридным форматам перед аудиторными. Доля студентов, желающих заменить аудиторные занятия в рамках двух-трех и более дисциплин на занятия, содержащие онлайн-формы, выше трети вне зависимости от курса и уровня обучения (рис. 5).

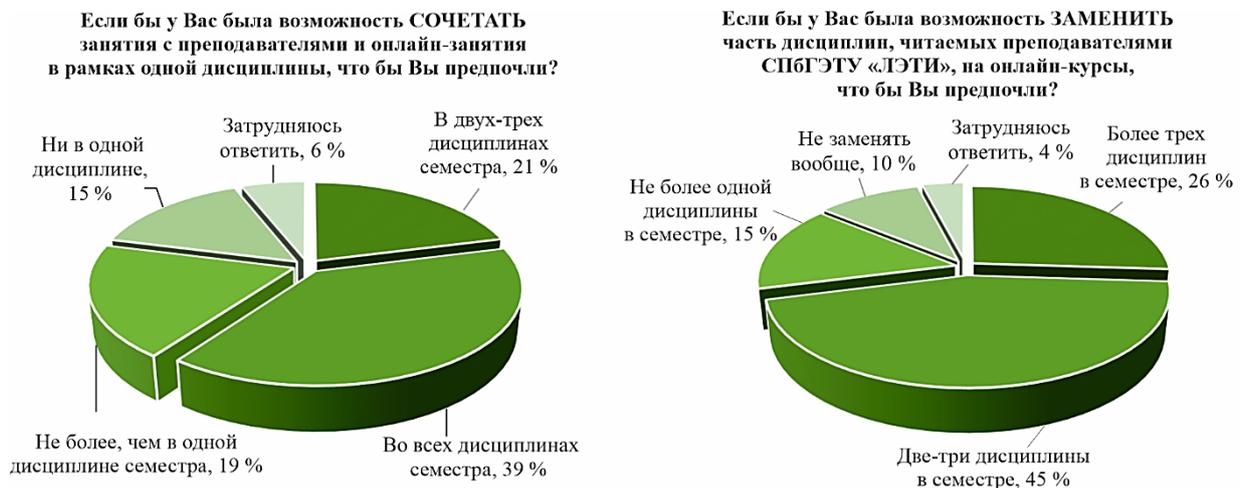


Рис. 5. Мнение студентов о необходимости замены/сочетания дисциплин онлайн-форматами
Fig. 5. Students' opinion on the need to replace/combine disciplines with online formats

Оценка удовлетворенности студентов различными аспектами онлайн-курсов и результатами своего обучения на них. Прежде чем переходить к описанию оценок удовлетворенности и результативности, данных студентами после обучения на конкретных онлайн-курсах, необходимо отметить существенное изменение характера выборки второго этапа мониторинга.

Доля респондентов, чей опыт онлайн-обучения является первым, падает. В 2019–2020 уч. г. она составила 44 % респондентов, что на 17 % меньше, чем на предыдущем этапе мониторинга. Вместе с тем доля респондентов, которые уже имели опыт онлайн-образования, возросла на 18 % и составила 56 %. При этом наибольший прирост дала доля студентов, получивших онлайн-образование в рамках основных образовательных программ, реализуемых в университете.

Респонденты, уже имевшие опыт онлайн-образования отмечают, что онлайн-курсы выбирали не только исходя из интереса к содержанию курса (32 %) или желания более тщательно разобраться в учебном предмете / теме (23 %), но и из-за невозможности изучать дисциплину в традиционном аудиторном формате (26 %). Данный ответ выходит на второе место среди указанных причин.

По сравнению с предыдущим замером также существенно изменился характер ответов на вопрос об образовательных платформах, на которых были размещены онлайн-курсы, прослушанные студентами ранее (рис. 6). Еще в прошлом учебном году большинство опрошенных затруднялись в наименовании таких платформ. Распределение ответов прямо указывает на рост информированности студентов о цифровом образовании и расширение опыта его использования.

Изменения характера выборки заставили обратить особое исследовательское внимание на различия в ответах «опытных» и «неопытных» респондентов и для этого выделить соответствующие целевые аудитории. В категорию «опытных» вошли в основном студенты бакалавриата 4-го курса, которые имели опыт онлайн-обучения на курсе младше. Группы «неопытных» составили второкурсники бакалавриата и первокурсники магистратуры.



Рис. 6. Образовательные платформы, известные студентам
Fig. 6. Educational platforms known to students

Респонденты 2019–2020 уч. г. по-прежнему в большинстве удовлетворены изученными онлайн-курсами. Уровень тестов и заданий большинство опрошенных на этом этапе мониторинга также оценили как оптимальный. Вместе с тем оценки количества учебных материалов, привлеченных для освоения курсов, были неодинаковыми. Удовлетворенность количеством учебных материалов в наибольшей степени продемонстрировали

«опытные» слушатели онлайн-курсов. В то время как примерно треть обучающихся на первом курсе магистратуры, т. е. составляющих группу «неопытных» респондентов, сообщили, что учебных материалов было недостаточно.

Отвечая на проективный вопрос «Если бы Вам самому пришлось подготовить учебный онлайн-курс, чему бы Вы уделили особое внимание?», респонденты 2019–2020 уч. г. в своем большинстве продемонстрировали ту же иерархию, что и опрошенные в 2018–2019 уч. г. Однако отличия в ответах показали как «опытные», так и «неопытные» респонденты. «Опытные» среди наиболее важных характеристик онлайн-курса на второе место после четкости и последовательности изложения материала поставили использование в курсе практических примеров и не ввели в список значимых занимательность курса. «Неопытные» среди важных характеристик назвали обратную связь.

Оценка результатов освоения онлайн-курсов в 2019–2020 уч. г. также стала дифференцированной. В среднем студенты назвали уровень освоенных ими знаний средним. Однако около 30 % «опытных» респондентов оценили уровень полученных знаний как высокий.

Интерес представляет различие в ответах «опытных» и «неопытных» респондентов на вопрос, связанный со сравнением возможностей форматов. Если мнение о том, что цифровое обучение интереснее и обеспечивает более высокую успеваемость, у этих групп совпадает, то мнения о том, какие форматы дают более прочные и ясные знания по предмету, явно отличаются. На рис. 7 приведены ответы респондентов, прошедших обучение по одной и той же дисциплине, но на разных курсах. При этом студенты 4-го курса бакалавриата уже имели опыт цифрового обучения курсом ранее, а магистранты 1-го курса в подавляющем большинстве не имели.

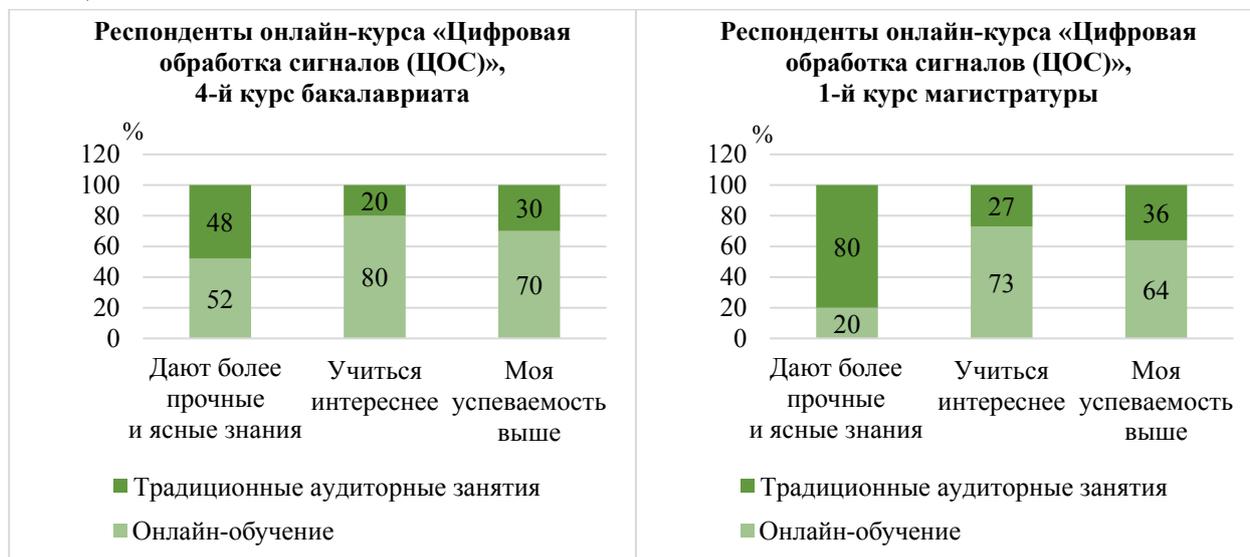


Рис. 7. Сравнительный анализ возможностей образовательных форматов
Fig. 7. Comparative analysis of the possibilities of educational formats

Кроме представленного распределения, примечательными были некоторые ответы на открытые вопросы. Например, следующий ответ студента 4-го курса бакалавриата одного из технических факультетов: «Считаю, что освоение курса без обратной связи с преподавателем подходит людям, которые не планируют в дальнейшем заниматься данным направлением, или людям, уже имеющим некоторое техническое образование, для формирования общей картины предмета».

Выявление проблем и преимуществ онлайн-обучения. Наиболее острой проблемой онлайн-обучения, как и в предыдущем замере, респонденты 2019–2020 уч. г. назвали невозможность проконсультироваться с преподавателем. На второе место вышла проблема отсутствия времени на выполнение заданий. В связи с последним хотелось бы отметить, что данные ответы были даны на фоне того, что студенты (как они сами отмечали) на онлайн-обучение тратили всего 1/5 от времени, еженедельно затрачиваемого на учебный процесс.

В качестве преимуществ онлайн-обучения респонденты как первого, так и второго этапов мониторинга назвали возможности изучать курс в удобное время в удобном месте и пересматривать учебные материалы.

Результаты проведенных исследований выявляют ряд парадоксов цифрового обучения в вузах и тем самым открывают следующие дискуссионные темы:

– на фоне явного предпочтения онлайн-форматов обучения перед аудиторными вне зависимости от наличия или отсутствия соответствующего образовательного опыта чем старше становятся студенты, тем более они тяготеют к гибридным (а не «чистым» онлайн) форматам;

– с одной стороны, среди проблем онлайн-обучения студенты на первое место ставят невозможность проконсультироваться с преподавателем, а с другой выявляется слабый интерес (или даже его отсутствие) у обучающихся к более широким возможностям ИКТ в области обратной связи, которую в цифровом формате можно организовывать как в индивидуальном, так и в групповом режиме, без участия и/или с участием преподавателя;

– онлайн-обучение привлекает студентов своей автономией, независимостью от образовательного хронотопа, но в то же время на второе место среди проблем, возникающих при таком режиме обучения, респонденты ставят отсутствие времени на выполнение заданий.

Заключение. В условиях все возрастающей конкурентной борьбы вузов «за студента» и учитывая естественный выбор молодежью «цифрового» образа жизни, переход высшего образования «на цифру» представляется неизбежным даже в условиях эмоциональной усталости от критических требований пандемии. Результаты представленных в статье исследований подтверждают интерес молодежи к онлайн-образованию и готовность самостоятельно искать полезные курсы этого формата. Более того, с ростом образовательного онлайн-опыта, вне зависимости от того, был ли он принудительным или свободным, студенты склонны считать результаты такого обучения более уверенными, а учебу более интересной. Если при первом опыте в онлайн-курсе их интересуют его занимательность и визуальность, а прочность и ясность полученных знаний приписываются традиционным формам образования, то со временем отношение меняется и представление об онлайн-курсе как о занимательной и несерьезной игре трансформируется к его восприятию как обычной учебной дисциплины. К нему начинают предъявляться те же требования, что и к традиционным курсам, например, в необходимости насытить учебные материалы практическими примерами.

Вместе с тем остается открытым вопрос, осуществляется ли на современном этапе цифровизации высшего образования его переход к принципам смарт-парадигмы. Во-первых, пока нет достаточных данных о существенном повышении эффективности образовательной деятельности. Можно зафиксировать лишь рост удовлетворенности студентов своей успеваемостью, возможно, в связи с возможностью несколько раз ответить на контрольные тесты.

Во-вторых, наблюдается проблема самоорганизации системы. Главные ее участники – обучающиеся – указывают на трудности в формировании навыков самостоятельного распределения времени и организации форм освоения знаний без участия преподавателя. Наконец, совершенно неясна степень готовности студентов, прошедших онлайн-обучение, к самостоятельному продуцированию знания и решению нестандартных задач. Скорее наоборот, чем сложнее становится осваиваемая профессиональная дисциплина, тем больше обучающиеся нуждаются в помощи преподавателя.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Baumol W. J., Bowen W. G. Performing Arts. The Economic Dilemma. A study of Problems common to Theater, Opera, Music and Dance. N. Y.: Twentieth Century Fund, 1966.
2. Bowen W. G. The Economics of the Major Private Universities. N. Y.: McGraw-Hill, 1968.
3. Interactive Online Learning on Campus. Research report / M. Chingos, C. Mulhern, R. Griffiths, R. Spies. 2014. DOI: <https://doi.org/10.18665/sr.22522>.
4. Kolowich S. How «Open» Are MOOCs? // Inside Higher Ed. 2012. November 8. URL: <https://www.insidehighered.com/news/2012/11/08/educause-discussion-about-oer> (дата обращения: 07.03.2021).
5. Barriers of Adoption of Online Learning Systems in U. S. Higher Education / L. Bacow, W. Bowen, K. Guthrie, K. Lack, et al. URL: <https://sr.ithaka.org/publications/barriers-to-adoption-of-online-learning-systems-in-u-s-higher-education/> (дата обращения: 07.03.2021).
6. Днепровская Н. В., Янковская Е. А., Шевцова И. В. Понятийные основы концепции смарт-образования // Открытое образование. 2015. № 6 (113). С. 43–51. DOI: [https://doi.org/10.21686/1818-4243-2015-6\(113-43-51\)](https://doi.org/10.21686/1818-4243-2015-6(113-43-51)).
7. Learning New Lessons // Economist. 2012. December 22.
8. Moscovici S. Social Representations: Explorations in Social Psychology / ed. by G. Duveen. Cambridge: Polity Press, 2000.
9. Habermas J. The Theory of Communicative Action / transl. by T. McCarthy. Boston: Beacon Press, 1987.
10. К вопросу об эффективности дистанционного обучения: исследование представлений / О. С. Виндекер, Е. А. Голендухина, М. В. Клименских и др. // Педагогическое образование в России. 2017. № 10. С. 41–47.
11. Кузьминов Я. И., Карной М. Онлайн-обучение: как оно меняет структуру образования и экономику университета. Открытая дискуссия // Вопр. образования. 2015. № 3. С. 8–43. DOI: [10.17323/1814-9545-2015-3-8-43](https://doi.org/10.17323/1814-9545-2015-3-8-43).
12. Заборова Е. Н., Глазкова И. Г., Маркова Т. Л. Дистанционное обучение: мнение студентов // Социол. исслед. 2017. № 2. С. 131–139.

Информация об авторах.

Строгецкая Елена Витальевна – кандидат политических наук (2000), доцент (2004), заведующая кафедрой социологии и политологии Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», ул. Проф. Попова, д. 5, 197376, Россия. Автор 76 научных публикаций. Сфера научных интересов: социология образования, политика и стратегии развития высшего образования, методология и методики институциональных исследований в области образования, современные мировые исследования высшего образования. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5304-2613>. E-mail: avs1973@mail.ru

Бетигер Ирина Борисовна – заместитель руководителя службы социологического и психологического сопровождения учебного процесса Санкт-Петербургского государствен-

ного электротехнического университета «ЛЭТИ», ул. Проф. Попова, д. 5, 197376, Россия. Автор 15 научных публикаций. Сфера научных интересов: социологические исследования в области образования, социальная психология. E-mail: ssps@etu.ru

REFERENCES

1. Baumol, W.J. and Bowen, W.G. (1966), *Performing Arts. The Economic Dilemma. A study of Problems common to Theater, Opera, Music and Dance*, Twentieth Century Fund, N.Y., USA.
2. Bowen, W.G. (1968), *The Economics of the Major Private Universities*, McGraw-Hill, N.Y., USA.
3. Chingos, M., Mulhern, C., Griffiths, R. and Spies, R. (2014), *Interactive Online Learning on Campus. Research report*. DOI: <https://doi.org/10.18665/sr.22522>.
4. Kolowich, S. (2012), "How «Open» Are MOOCs?", *Inside Higher Ed*, November 8, available at: <https://www.insidehighered.com/news/2012/11/08/educause-discussion-about-oer> (accessed 07.03.2021).
5. Bacow, L., Bowen, W., Guthrie, K., Lack, K. et al. *Barriers of Adoption of Online Learning Systems in U.S. Higher Education*, available at: <https://sr.ithaka.org/publications/barriersto-adoption-of-online-learning-systems-in-u-s-higher-education/> (accessed 07.03.2021).
6. Dneprovskaya, N.V., Yankovskaya, E.A. and Shevtsova, I.V. (2015), "The conceptual Basis of the smart education", *Open Education*, no. 6 (113), pp. 43–51. DOI: [https://doi.org/10.21686/1818-4243-2015-6\(113-43-51\)](https://doi.org/10.21686/1818-4243-2015-6(113-43-51)).
7. "Learning New Lessons" (2012), *Economist*, December 22.
8. Moscovici, S. (2000), *Social Representations: Explorations in Social Psychology*, in Duveen, G. (ed.), Polity Press, Cambridge, UK.
9. Habermas, J. (1987), *The Theory of Communicative Action*, in McCarthy, T. (ed.), Beacon Press, Boston, USA.
10. Vindeker, O.S., Golendukhina, E.A., Klimenskikh, M.V., Korepina, N.A. and Sheka, A.S. (2017), "The Efficiency of Distance Learning: Research of Attitude to Distance Learning", *Pedagogicheskoe Obrazovaniye v Rossii* [Pedagogical Education in Russia], no. 10, pp. 41–47.
11. Kuzminov, Ya.I. and Carnoy, M. (2015), "Online Learning: How It Affects the University Structure and Economics. Panel discussion", *Educational Studies*, no. 3, pp. 8–43. DOI: [10.17323/1814-9545-2015-3-8-43](https://doi.org/10.17323/1814-9545-2015-3-8-43).
12. Zaborova, E.N., Glazkova, I.G. and Markova, T.L. (2017), "Distance learning: students' perspective", *Sociological Studies*, no. 2, pp. 131–139.

Information about the authors.

Elena V. Strogetskaia – Can. Sci. (Policy) (2000), Docent (2004), Head of the Department of Sociology and Political Sciences, Saint Petersburg Electrotechnical University, 5 Professor Popov str., St Petersburg 197376, Russia. The author of 76 scientific publications. Area of expertise: sociology of education, policies and strategies for the development of higher education, methodology and methods of institutional research in the field of education, modern world studies of higher education. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5304-2613>. E-mail: avs1973@mail.ru

Irina B. Betiger – Deputy Head of the Service of Sociological and Psychological Support of the Educational Process, Saint Petersburg Electrotechnical University, 5 Professor Popov str., St Petersburg 197376, Russia. The author of 15 scientific publications. Area of expertise: sociological research in education, social psychology. E-mail: ssps@etu.ru

Роль образности в кинопроизведении (на примере технических образов в зарубежных фантастических фильмах)

С. А. Панкратова✉

Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения,
Санкт-Петербург, Россия

✉svetpankrat@yandex.ru

Введение. Рассматриваются особенности технической образной номинации в зарубежных фантастических кинофильмах. Целью статьи является анализ способов передачи технической образности в современных фильмах. Научная новизна состоит в обращении к современному когнитивному подходу к образной концептуализации, осуществляемой в целях демонстрации индивидуальной неповторимой картины мира в кинопроизведении. Объектом исследования выступают технические образы из англоязычных зарубежных кинофильмов о технике и компьютерах. Актуальность изучения технической образности определяется неизменно высоким уровнем популярности техносферы в наши дни по сравнению с иными (природными, биологическими) семантическими сферами.

Методология и источники. Применены частнолингвистические методы лингвистического наблюдения, описательный метод, метод количественных подсчетов и универсальный метод сравнения. Уникальная методика концептуального моделирования позволила реконструировать стоящие за отдельными образами фрагменты действительности. Метод «от противного» ставил вопрос о том, почему некоторые тематические поля не активированы в образной номинации. Информационную базу исследования составили более 500 технических образов современного английского языка, извлеченные методом сплошной выборки из более чем 30 художественных киносценариев, повествующих о мире техники, по данным интернет-ресурса *scripts.com*.

Результаты и обсуждение. Проведен анализ привлечения технической образности в зарубежном кинодискурсе, основанный на когнитивно-дискурсивной методике, раскрывающей ценностные суждения киногероев, направленные на решение проблем кинопроизведения. Анализ продемонстрировал, что образ, благодаря своей имплицитности, способен ненавязчиво создавать эмоциональное состояние, придавать импульс для размышлений, задавать не лишнюю простора свободы программу переработки информации. Оценочные категории экспрессивности и образности привлекаются режиссерами и сценаристами для осмысления и адаптации коллективных знаний и схем в личной концептуальной системе киногероя, ищущего способы объяснения и передачи собственного видения мира.

Заключение. Использование когнитивно-дискурсивных методов позволило установить роль образа в кинопроизведении. Образ не относится к ретуширующему (второстепенному, фоновому) знанию, он расположен в срединной позиции между ретуширующим (второстепенным) и рецептным (существенным), привнося в знание

© Панкратова С. А., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.



элемент эмоции. Имплицитность образа в кинематографе стимулирует мысль, направляет поиск оборванных сюжетных линий, закладывает фундамент для разгадки режиссерского замысла. Образ делает зрителя активным, процесс просмотра становится сотворчеством, дорисовыванием образа.

Ключевые слова: образность, техносфера, киносценарий, концептуализация, дискурс.

Для цитирования: Панкратова С. А. Роль образности в кинопроизведении (на примере технических образов в зарубежных фантастических фильмах) // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 108–117. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-108-117

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 26.01.2021; принята после рецензирования 11.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

The Role of Imagery in Film Creation (on the Example of Technical Images in Western Sci-Fi Films)

Svetlana A. Pankratova✉

Saint Petersburg State Institute of Film and Television, St Petersburg, Russia

✉svetpankrat@yandex.ru

Introduction. The paper deals with the peculiarities of the technical image nomination in western sci-fi films. The aim of the paper is to analyse the means of rendering of the technical imagery in modern films. The scientific topicality is in treating the subject of the paper in the light of the modern cognitive approach to image conceptualization, which is studied with the aim of demonstrating the individual specific picture of the world of the film creation. The study is centered around technical images from western films about computers and mechanisms. The topicality of the study is defined by the invariably high level of popularity of the technical sphere in the modernity by comparison with other (natural, biological) semantic spheres.

Methodology and sources. The paper makes use of specific linguistic methods of observation, description, qualitative count and the universal method of comparison. The unique method of conceptual modelling allows to reconstruct reality objects behind certain technical images. The method “from the opposite” questions the trend to activate certain thematic fields in image nomination whilst other are left unheeded. The fact basis of the study is formed from more than 500 technical images of the modern English language, found by means of solid selection from more than 30 feature film scripts, dealing with the world of technology based on the site *scripts.com*.

Results and discussion. The analysis of technical imagery in western film discourse was carried out with the help of cognitive and discursive methods, disclosing evaluational statements of film characters aimed at solving the topical issues in films. The analysis demonstrated that thanks to its implicit nature the image is able to render the emotional condition, to give direction to thought process, to provide wide program of information processing accompanied by the freedom of choice. Evaluational categories of expressiveness and imagery are used by directors and scriptwriters in assessment and adaptation of the collective knowledge and schemes in personal conceptual system of the film character in the process of the rendering of the personal vision of the world.

Conclusion. The use of cognitive and discursive methods allowed to identify the role of images in film production. The image doesn't belong to the secondary background knowledge, it is situated in the middle between the secondary and the significant, enabling the knowledge with the element of emotion. The implicitness of images in films stimulates

thinking, directs the search of lost plot lines, lays the basis for the disclosure of the director's vision. The image allows the viewer to be active and the process of viewing become a kind of common creation, common drawing of the image.

Key words: imagery, technical sphere, film script, conceptualization, discourse.

For citation: Pankratova S. A. The Role of Imagery in Film Creation (on the Example of Technical Images in Western Sci-Fi Films). DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 108–117. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-108-117 (Russia).

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 26.01.2021; adopted after review 11.03.2021; published online 23.04.2021

Введение. Предлагаемая вниманию заинтересованных читателей статья обращается к техническим образам в зарубежном кинематографе. Техническая лексика играет все более важную роль в современной культуре, львиную долю лингвокультуры, единиц с национально-культурным компонентом значения составляет предметно-бытовая лексика, наименования артефактов, технических явлений, действий, ситуаций [1]. Поскольку способы и средства отражения мировидения специфичны для языковых семей, особая картина мира не может не отразиться и в киноискусстве, которое в большинстве случаев ориентировано на реалистичность передачи повествуемых событий. Изучение особенностей взаимодействия языка нации и языка кино способно выявить универсальное и специфическое в языке и образе мыслей его носителей. Совместное рассмотрение словообраза и кинообраза, как представляется, позволяет выявить общую систему видения режиссеров, говорящих на английском языке, пролить свет на общую связь между образом и культурой.

Методология и источники. В данной статье применены как общенаучные методы индукции (от частного к общему) и дедукции (от общего к частному), так и частнолингвистические методы лингвистического наблюдения, описательный метод, метод количественных подсчетов и универсальный метод сравнения. Методологическая обоснованность общедедуктивного метода в том, что образность изучается по реальным языковым высказываниям, неконтекстуализированным и несконструированным исследователем ad hoc. Метод семантико-когнитивного анализа позволил установить структуры знаний, стоящих за связанными ассоциациями фрагментами. Выявление языковой реализации технических образных схем производилось с привлечением математического метода «от противного», при котором ставился вопрос о том, почему одни тематические поля не активированы в образной номинации по сравнению с другими, которые привлекаются в образном описании.

Результаты и обсуждение. Итак, в центре нашего исследования находится вторичное осмысление реализуемых в языке словами конкретной семантики образов, опирающихся на чувственное восприятие предметов техники. Уделим внимание тому, что такое образ – осевое понятие целого ряда таких направлений, как эстетика, лингвистика, философия, психология, кинематография. Эстетика понимает образ как способ освоения жизни искусством. Лингвистика рассматривает его как способ бытия художественного произведения. В строгом философском смысле образ есть идеальная форма отражения объекта. Образ как один из элементов и способов человеческого познания является объектом изучения в когнитологии, сложившейся в начале XX в., это так называемый «когнитивный шести-

угольник», состоящий из содружества таких наук, как философия, лингвистика, психология, антропология, нейронаука и искусственный интеллект. В нашем исследовании мы сфокусировались на когнитивно-дискурсивном уровне, на котором носитель языка поновому концептуализирует проблемные ситуации, выражая не прямые смыслы способом профилирования, организации «фон-фигура», концептуальной интеграции, а также привлекая концептуальную метонимию и метафору.

Соотношение образности и знаковости подробно описано в теории Ч. С. Пирса. В пирсовском понимании существует три типа знаков: иконы (форма и содержание в отношениях подобия), индексы (форма и содержание в отношениях причинно-следственной связи) и символы (форма и содержание в конвенциональных отношениях) [2]. Индексы основаны на отношении смежности и причинно-следственных связях (дым как указание пожара, жар как указание на болезнь). Иконическими по природе являются образы сознания, сложившиеся на основе сенсомоторной деятельности человека, в основе отношений с обозначаемым у икон лежит отношение сходства (изоморфизма). Классический пример иконических знаков – это звукоподражательные слова типа «мурлыкать», «чирикать», «рычать», иконический характер носят и большинство первых слов: «ням-ням», «бабах». С ростом опытных сведений и систематизацией логического мышления образы, в основе которых лежит чувственный опыт, приобретают качественное когнитивное содержание.

Иконические (образные) и индексальные составляющие знака часто недооцениваются, несмотря на их ингерентный и неискоренимый характер. Л. А. Козлова справедливо полагает, что несмотря на то, что большинство знаков есть символы, «...природный мир не может и не должен быть полностью изгнан из языковой субстанции, поскольку сам человек и его язык являются органической частью этого природного мира» [3, с. 47–54]. Возникнув в результате взаимодействия с природой, язык с его символами не мог не отразить признаки порождающей их среды. В иконических знаках сама форма отражает ментальный образ, делая иконический принцип означивания наиболее экономичным и доступным интерпретации.

Актуальным является изучение развития образности в ее связи с восприятием, **концептуализацией**, категоризацией и репрезентацией. Все эти процессы изучаются в контексте всеобщей «заместительной репрезентации» содержания (термин Г. И. Берестнева), понимаемой как «...способность человека использовать для формы реализации мысли нечто отличное от нее самой – другую мысль, имя этой мысли или реальный предмет» [4, с. 67]. Благодаря выраженному знаком образу когнитивные процессы могут быть физически проявлены, наблюдаемы и интерпретируемы как получение, хранение, переработка и мобилизация информации для рационального решения разумно формулируемых человеческих задач.

Познание может протекать на основе «...чувственного опыта, предметно-практической деятельности, экспериментальной и мыслительной деятельности» [5, с. 29]. Действительно, что значит понять, постичь предмет, явление? По Дж. Джейнсу, понять – значит найти хорошую метафору, подобрать «...хорошо знакомый и связанный с нашими сенсорными ощущениями образ осмысливания малопонятного» [6, с. 50–51]. Живя в мире вещей, человек ориентируется в нем на основе собственных представлений, образов и схем [7–9].

Познание – это не копирование реальности, а формирование человеком предположений и перцептивных гипотез, важную роль в формировании которых играет именно образ. Образ, создаваемый человеком, не тождественен реальности, какая она есть на самом деле, в то же время он отражает особенный для человека способ познания.

Образное номинирование эффективно повышает информативность сообщения, обладающего свернутой имплицатурой, отсылающей к целой ситуации или культурному сценарию. Способность к образной номинации (умение совершать осознанный выбор между предлагаемыми системой языка альтернативными способами прямого и образного описания ситуации объекта мысли или явления действительности) является главной в эвристической дискурсивной деятельности и составляет суть творчества. Эвристический потенциал образной номинации важен в лингвокреативной деятельности при вербализации того, что еще никто не смог вербализовать [10, 11]. В результате опоры на образ интерпретируемое событие визуализируется и также становится мыслительной картинкой, что помогает выйти из познавательных затруднений.

Итак, образ двойственен по своей природе. Он является когнитивной структурой, «всплывающей» на экран сознания в чувственно-наглядном, невербализованном виде. В то же время образ предметен (возникает из восприятия предметов и явлений материального мира) и объективен по своему содержанию в той мере, в какой он верно отражает объект. Чувственно-предметная оппозиция не препятствует выражению образа в языке, поскольку сам язык не сводится единственно к системе знаков или акустическому коду, в языке заключается и «...система смысловых образов (означаемых), смысловой код» [12, с. 165]. Именно связь с образом наделяет слово избыточностью актуального и потенциального значения. Эта связь носит ассоциативный характер, соединяя акустический образ (означающее) с мысленным образом (означаемое). Образность порождена воображением, основана на знании жизни и активно воздействует на жизнь. Образное мышление создает символическую сеть, в понимании Э. Кассирера, это «запутанная ткань человеческого опыта» из нитей языка, мифа, искусства и религии. Весь человеческий прогресс в мышлении и опыте утончает и одновременно укрепляет эту сеть» [13, с. 71]. Приметами широкого имплицативного диапазона образа служат: полнота слова, автосемантическая (способность без помощи других слов актуализировать в сознании ассоциативный ряд), конкретность семантики, высокая таксономичность, когнитивно-прагматическая значимость.

Образность имплицитно предполагает развитие заложенного в образе потенциала в сторону более выпуклой, детализированной, завершено-целостной картины реальности. **Амплификация (развертывание, достраивание)** образной схемы – это включение в объем ее смысловой нагрузки новых признаков, принадлежащих к одной области дискурса и усиливающих одну и ту же систему импликаций, позволяющее достичь максимального освещения и более глубокого понимания проблемной ситуации [14–17].

По наблюдениям Е. П. Дулесова, есть три основных приема **образного расширения**: 1) доведение до абсурда; 2) прием бумеранга; 3) замена образа. «В первом случае образ гиперболизируется, создается нелепый и утрированный образ. Во втором случае слушающий, формально принимая правила игры, выводит из данного образа следствия, угодные ему. При замене заданный образ заменяется на необходимый ответчику образ» [18, с. 96–100]. Замена образа удобна тем, что перед говорящим открывается возможность подобрать ту нить, что

ему бросили, подхватить образ оппонента, перемещая смысловые нюансы. О связности образов говорит Э. Гоатли, предлагая свою систему метафорических взаимодействий (от англ. *the interplay of metaphors*). Выделяют такие типы метафорической коллаборации, как повтор, поливалентность, диверсификация, развитие, реализация, контаминация, составление и модификация. Характерным свойством амплифицированной (развернутой) образности является **энантосемия**, т. е. противоречие логики предметного мира внутри системы образов.

О потенциале концептуальных структур говорится в теории концептуальной интеграции, где новая концептуальная структура живет собственной жизнью. **Эвристический потенциал** работает в творческом рассуждении, сопровождаемом преодолением психологической инерции привычного мышления и типовых методов решения задач. В отечественной лингвистике говорят о семантическом потенциале, выраженном в совокупности всех возможных значений слова, реализуемых человеком в речи, «...не реализуемый полностью и реализуемый неравномерно». **Лексическими маркерами** эвристической образности являются: 1) уточнения и усиления (*because, besides, despite*); 2) интерпретации (*besides, however, nonetheless*); 3) введения новых когнитивных представлений (*allegedly, also, as far as, fortunately, furthermore*) [18, с. 145; 19, 20]. Есть и **параграфемные маркеры** (курсив, кавычки), они сигнализируют о варьировании концептуального содержания, указывают на «...концептуальную аберрацию, т. е. изменение аксиологической структуры нейтрального концепта» [21, с. 88–89].

В данной статье мы рассматриваем то, как выбор образных технических средств в кино способствует эвристическому поиску решения проблем. Для этого нами изучена амплифицированная (развернутая) образность. Обратимся к развернутой технической образности на примере триллера «Геймер» (*Gamer*) (2009) режиссера Марка Невелдайна с Джерардом Батлером в главной роли. Действие фильма происходит в недалеком утопическом будущем, где высочайшее развитие нанотехнологий позволило технологическому гению Кену Кастлу соединить видеоигру с реалити-шоу и смоделировать ультрафункциональную, мультиплеерную игру «Убийцы» [22]. В сценарии М. Невелдайна [23] есть обширнейший ряд – 26 (!) технических образов, формирующих эвристический потенциал этого фильма и работающих на усложнение образной схемы «ЧЕЛОВЕК > МЕХАНИЗМ» с позиций структурно-номинативных, качественно-адъективных и предикативных образов.

«ЧЕЛОВЕК > МЕХАНИЗМ»: структура техники

Пример 1: «← What are we looking at? – His memories. Translating into raw **audiovisual data**. (– На что ты смотришь? – Его память. Перевожу в сырые **аудиовизуальные данные**.)».

Пример 2: «The healthcare system is collapsing. And this time he’s pushing for total control over genetic diseases. Birth **defect** is no longer an issue. (Здравоохранение ухудшается. Теперь он настаивает на полном контроле генетических болезней. Врожденные **дефекты** больше не проблема.)».

Пример 3: «And these copied cells contain **remote access** functionality. Every human that undergoes this procedure, will have a distinct “IP” address, like a mobile device... – or a **notebook computer**? – Similar, yes. (И эти скопированные клетки имеют **удаленную функциональность**. Каждый человек, прошедший процедуру, будет иметь личный **электронный адрес**... как телефон... – Или **лэптоп**? – Да, наподобие.)».

Пример 4: «And I'm having these, like, **blackouts** ... and is scaring the shit out of me. (У меня это... типа, **отключка** и мне дико страшно.)».

Пример 5: «That's what it's like on the inside. Wonder how long you would last on **the other side of the screen**? (Так это внутри. Интересно, сколько ты протянешь **с той стороны экрана**?)».

«ЧЕЛОВЕК > МЕХАНИЗМ»: качества техники

Пример 6: «Let's talk about the so called "genericons". Sent into the Slayers environment, with a set of **pre-programmed** actions, with no one controlling them, and no way to react, their chances of survival next to nil? (Поговорим о так называемых «дженериконах». Направленные к Слейерам, с набором **запрограммированных действий**, неподконтрольные никому, неспособные реагировать, их шансы на выживание равны нулю?)».

Пример 7: «Yeah, Kable is a perfect soldier, he's a tactical **killing computer**. (Да, Кейбл – идеальный солдат, тактический **компьютер-убийца**.)».

«ЧЕЛОВЕК > МЕХАНИЗМ»: действия техники

Пример 8: «The nanex. It modifies the actual cell structure of your brain. We can **crack** it, but it's not one size fits all, we need your DNA so that we can **generate** costume code. (Нанэкс. Он модифицирует структуру мозга. Мы можем **взломать** его, но он не универсален, нам нужна ваша ДНК, чтобы **сгенерировать** маскировочный код.)».

Пример 9: «We're going to have to keep her sedated until we **kill the link**. Otherwise she will be **broadcasting** everything she sees and hears, you give us **a robot**... we give you back a super hot female. (Нам придется держать ее на транквилизаторах, пока мы не **отсоединимся**. Иначе она будет **транслировать** все, что видит и слышит. Вы нам **робота**, мы вам горячую штучку.)».

Пример 10: «One thing even they didn't know, though, I'm **wired** too. I replaced 98 % of my own noodle with **nano-tissue** years ago. But mine's different. It's built to send, **to transmit**, whereas every other nano-cell that I've put out there, including the ones in your head Kable, are designed **to receive**. (Они не знали одного, я тоже **подключен**. Я заменил 98 % своих тканей **нанотканями** давным-давно. Но мои другие. Они отправляют, **транслируют**, в то время как твои, Кейбл, встроены, чтобы **получать** сигнал.)».

Пример 11: «They talk about that. About how long it takes the Slayer **to respond to the command**. (Они говорят о том, как долго у Слейера на то, чтобы **ответить на команду**.)».

Пример 12: «Kable, you're gotta plan in your head, you gotta mission, you never **break**, you never **snar**, don't you? (Кейбл, у тебя есть план в коробушке, миссия, ты **не ломаешься, не сдаешь**, верно?)».

Пример 13: «The idea was to replace your brain, bit by bit, cell by cell. The new tissue would never **break down**, never **deteriorate**. (Идея была в том, чтобы заменить твой мозг, понемногу, клетка за клеткой. Новая ткань никогда **не сломается, не деградирует**.)».

Пример 14: «I'm going to find you... and I'm going to **rip you to fucking pieces**, do you understand me? I'm getting you out of here. I'm going to take you to some place where you can **turn it off, the program**. (Я найду тебя и **разберу на кусочки**, понимаешь? Отведу в такое место, где ты **отключишь свою программу**.)».

Пример 15: «We can't quarantine the foreign cells per say, but... we can **disable** their ability to **transmit** and **receive**. (Мы не можем изолировать чужеродные клетки сами по себе... но мы можем **обесточить их передачу и входной сигнал**.)».

Итак, сквозь призму вторичного означивания раскрывается ментальное пространство человека, то, как он оценивает события, формирует взгляды и убеждения. Наблюдение за технической образностью позволяет сделать вывод о системности и детализированности технической образности в кинофильме. Высокий уровень детализации проявляется в типологии образов, которые могут быть как структурными (audiovisual data, defect, remote access), так и качественными (pre-programmed actions, killing computer) и динамическими (generate code, broadcast everything, wired). Техническая образность неразрывно связана с познанием и разнообразно отражается на уровне языка, предоставляя богатый (26 образов) ассоциативный ряд вторичных образных номинаций. Очевидно, что степень детализации техносферы в кинофильме свидетельствует о познавательном интересе к вышеназванной сфере при ее объективации в языке. Это «зеркало» номинативной техники языка, уделяющей особое внимание именно сфере техники.

Заключение. Подытоживая, отметим, что модель «ЧЕЛОВЕК > МЕХАНИЗМ» весьма популярна в кинематографе (20 фильмов задействуют ее), система видения режиссеров является всеобъемлющей (от 2 до 26 единиц в одной модели), глубоко детализированной (предметность, качественность и деятельность), оригинальной, прагматической, трактующей свойства и действия через образность. Данная модель помогает решать творческую задачу на открытие, создание оригинального видения, на психолого-философское осмысление и демонстрацию возможностей изучаемых явлений. Игра с образами помогает инструментально решить насущные проблемы отношения человека и техники, отталкиваясь от стереотипизированных представлений, предлагая новые решения (творец-инженер, возможность все начать сначала, перепрограммировать жизнь). Связь между англосаксонской технологичной культурой и образом техники постоянна и укоренена в истории, существенна для понимания мировидения людей, говорящих на английском языке, связь эта прямая (механизм воздействует на результат), ценная и продуктивная в силу возникновения новых образно осмысляемых артефактов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шульц Д. П., Шульц С. Э. История современной психологии / под ред. А. Д. Наследова; пер. с англ. А. В. Говорунова, В. И. Кузина, Л. Л. Царука. СПб.: Евразия, 2002.
2. Пирс Ч. С. Логические основания теории знаков / пер. с англ. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотина. СПб.: Алетейя, 2000.
3. Козлова Л. А. Явление иконичности в языке: семиотический, когнитивный и коммуникативный аспекты (на материале английского языка) // Вопр. когнитивной лингвистики. 2018. № 1 (54). С. 47–55.
4. Берестнев Г. И. Слово, язык и за их пределами. Калининград: БФУ им. И. Канта, 2007.
5. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: введение в когнитивную лингвистику. Тамбов: ТГУ им. Г. Р. Державина, 2014.
6. Jaynes J. The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind. Boston: Houghton Mifflin, 1976.
7. Fauconnier G. Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

8. Lakoff G., Johnson M. *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought*. N. Y.: Basic Books, 1999.
9. Mio J. S. Metaphor and Politics // *Metaphor and Symbol*. 1997. Vol. 12, № 2. P. 113–133. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327868ms1202_2.
10. Ниренберг Дж. И. *Искусство творческого мышления*. Минск: Попурри, 1996.
11. Песина С. А. Понятие «семантический инвариант» в ряду когнитивных терминов // *Дискурс*. 2020. Т. 6, № 2. С. 125–135. DOI: <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2020-6-2-125-135>.
12. Попова З. Д., Стернин И. А. *Языкознание*. М.: АСТ: Восток-Запад, 2007.
13. Кассирер Э. *Избранное. Опыты о человеке*. М.: Гардарика, 1998.
14. Агеев С. В. *Метафора как фактор прагматики речевого общения: автореф. дис. ... канд. филол. наук / РГПУ им. А. И. Герцена. СПб., 2002.*
15. Демьянков В. З. Понимание как интерпретирующая деятельность // *Вопр. языкознания*. 1983. № 6. С. 58–67.
16. Молчанова Г. Г. Когнитивные проблемы категоризации: свертка смысла и емкость текста // *Когнитивная лингвистика: современное состояние и перспективы развития: материалы 1-й Междунар. школы-семинара по когнитивной лингвистике*. Ч. 1. Тамбов, 26–30 мая 1998 г. / ТГУ. Тамбов, 1998. С. 48–51.
17. Москвин В. П. *Русская метафора: очерк семиотической теории*. М.: ЛКИ, 2007.
18. Карасик В. И. *Языковой круг: личность, концепты, дискурс*. М.: Гнозис, 2004.
19. Wilkinson P. R. *Thesaurus of Traditional English Metaphors*. N. Y.: Routledge, 2002.
20. *Longman grammar of spoken and written English / D. Biber, S. Johansson, G. Leech, et al.* Harlow, Essex: Pearson Education Limited, 1999.
21. Юзефович Н. Г. Коммуникативный дисбаланс в политическом дискурсе: от концептуальной деривации к концептуальной аберрации // *Вопр. когнитивной лингвистики*. 2015. № 4. С. 88–93.
22. Геймер // *КиноПоиск*. URL: <https://www.kinopoisk.ru/film/325393> (дата обращения: 07.09.2020).
23. Gamer // *Scripts*. URL: https://www.scripts.com/script/gamer_8764 (дата обращения: 07.09.2020).

Информация об авторе.

Панкратова Светлана Анатольевна – доктор филологических наук (2014), профессор кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, ул. Правды, д. 13, Санкт-Петербург, 191119, Россия. Автор 70 научных публикаций. Сфера научных интересов: когнитивная теория метафоры, эвристика, прагматика речевого манипулирования, кино и перевод. E-mail: svetpankrat@yandex.ru

REFERENCES

1. Schultz, D.P. and Schultz, S.E. (2002), *Istoriya sovremennoi psikhologii* [A History Of Modern Psychology], in Nasledov, A.D. (ed.), Transl. by Govorunov, A.V., Kuzin, V.I. and Tsaruk, L.L., Evraziya, SPb., RUS.
2. Pirs, Ch.S. (2000), *Logicheskie osnovaniya teorii znakov* [Logical foundations of the theory of signs], Transl. by Kiryushchenko, V.V. and Kolopotin, M.V., Aleteiya, SPb., RUS.
3. Kozlova, L.A. (2018), "The phenomenon of iconicity in the language: semiotic, cognitive and communicative aspects (on the material of the English language)", *Issues of Cognitive Linguistics*, no. 1 (54), pp. 47–55.
4. Berestnev, G.I. (2007), *Slovo, yazyk i za ikh predelami* [Word, language and beyond], IKBFU, Kaliningrad, RUS.

5. Boldyrev, N.N. (2014), *Kognitivnaya semantika: vvedenie v kognitivnuyu lingvistiku* [Cognitive semantics: introduction to cognitive linguistics], TSU, Tambov, RUS.
6. Jaynes, J. (1976), *The origin of consciousness in the breakdown of the bicameral mind*, Houghton Mifflin, Boston, USA.
7. Fauconnier, G. (1994), *Mental Spaces: Aspects of Meaning Construction in Natural Language*, Cambridge University Press, Cambridge, UK.
8. Lakoff, G. and Johnson, M. (1999), *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought*, Basic Books, N.Y., USA.
9. Mio, J.S. (1997), "Metaphor and Politics", *Metaphor and Symbol*, vol. 12, no. 2, pp. 113–133. DOI: https://doi.org/10.1207/s15327868ms1202_2.
10. Nierenberg, G.I. (1996), *Iskusstvo tvorcheskogo myshleniya* [The Art of Creative Thinking], Popurri, Minsk, Belarus.
11. Pesina, S.A. (2020), "The Concept "Semantic Invariant" as a Cognitive Term", *Discourse*, vol. 6, no. 2, pp. 125–135. DOI: <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2020-6-2-125-135>.
12. Popova, Z.D. and Sternin, I.A. (2007), *Yazykoznanie* [Linguistics], AST: Vostok-Zapad, Moscow, RUS.
13. Cassirer, E. (1998), *Izbrannoe. Opyty o cheloveke* [Favorites. Experiments about human], Gardarika, Moscow, RUS.
14. Ageev, S.V. (2002), "Metaphor as a factor of pragmatics of speech communication", Abstract of Can. Sci. (Ling.) dissertation, Herzen University, SPb, RUS.
15. Dem'yankov, V.Z. (1983), "Understanding as an interpretive activity", *Voprosy yazykoznaniiya* [Questions of linguistics], no. 6, pp. 58–67.
16. Molchanova, G.G. (1998), "Cognitive problems of categorization: convolution of meaning and capacity of the text", *Kognitivnaya lingvistika: Sovremennoe sostoyanie i perspektivy razvitiya* [Cognitive linguistics: Current state and development prospects], *1 Mezhdunarodnaya shkola-seminar po kognitivnoi lingvistike* [1st international school-seminar on cognitive linguistics], part 1, Tambov, RUS, 26–30 May 1998, pp. 48–51.
17. Moskvin, V.P. (2007), *Russkaya metafora: Ocherk semioticheskoi teorii* [Russian Metaphor: An Outline of Semiotic Theory], LKI, Moscow, RUS.
18. Karasik, V.I. (2004), *Yazykovoii krug: lichnost', kontsepty, diskurs* [Language circle: personality, concepts, discourse], Gnozis, Moscow, RUS.
19. Wilkinson, P.R. (2002), *Thesaurus of Traditional English Metaphors*, Routledge, N.Y., USA.
20. Biber, D., Johansson, S., Leech, G. et al. (1999), *Longman grammar of spoken and written English*, Pearson Education Limited, Harlow, Essex, UK.
21. Yuzefovich, N.G. (2015), "Communicative imbalance in political discourse: from conceptual derivation to conceptual aberration", *Issues of Cognitive Linguistics*, no. 4, pp. 88–93.
22. "Gamer", *KinoPoisk*, available at: <https://www.kinopoisk.ru/film/325393> (accessed 07.09.2020).
23. "Gamer", *Scripts*, available at: https://www.scripts.com/script/gamer_8764 (accessed 07.09.2020).

Information about the author.

Svetlana A. Pankratova – Dr. Sci. (Philology) (2014), Professor at the Department of Foreign Languages, Saint Petersburg State Institute of Film and Television, 13 Pravda str., St Petersburg 191119, Russia. The author of 70 scientific publications. Area of expertise: cognitive metaphor theory, heuristics, pragmatics of speech manipulative tactics, film and translation. E-mail: svetpankrat@yandex.ru

Зевгма как прием прагматического фокусирования в художественном тексте (на материале немецкого языка)

Ю. Г. Тимралиева✉

Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербург, Россия
✉juliati@yandex.ru

Введение. Цель данного исследования – выявление специфики функционирования в художественной речи зевгмы. Хотя данная риторическая фигура известна еще с античных времен и используется в разных сферах коммуникации, до настоящего времени нет полной ясности относительно сущности этого лингвистического феномена.

Методология и источники. В статье рассматриваются различные трактовки зевгмы, определяется ее место в кругу прочих риторических фигур, проводится структурный анализ зевгматических конструкций, в частности выявляются ее синтактико-морфологические вариации, анализируется стилистический потенциал. В качестве эмпирического материала используются лирические и прозаические тексты немецкоязычной литературы XIX–XX вв., в том числе произведения Г. Гейне, А. Деблина, Г. Тракля, Г. Бенна, К. Эдшмида, Г. Бёлля и других авторов.

Результаты и обсуждение. Как риторическая фигура зевгма строится на конфликте синтаксиса и семантики, представляя собой ряд синтаксически однородных, но семантически разнородных элементов. Зевгма, как правило, имеет в своем составе ядерное слово, в котором в соединении с различными актантами актуализируются разные значения/оттенки значений, хотя встречаются и «безъядерные» зевгмы. В немецком языке в роли опорного элемента чаще всего выступает глагол-сказуемое, реже ядром конструкции становятся прилагательное, причастие, наречие, существительное. Элементы паратактического ряда, как правило, существительные (однородные подлежащие, дополнения, обстоятельства), однако в ходе анализа выявлены и случаи алогичных сочетаний, представленных другими частями речи, а также примеры с разнородными морфологическими формами в рамках одной зевгматической конструкции. Функциональный анализ зевгмы демонстрирует богатый стилистический потенциал данной риторической фигуры, выступающей в художественных текстах средством юмора и сатиры, служащей для передачи эмоциональных состояний, способствующей семантическому насыщению высказывания, приращению новых смыслов.

Заключение. Зевгма выступает в художественном тексте значимым приемом прагматического фокусирования, будучи особенно широко представленной в модернистской литературе, характеризующейся семантической многослойностью и интенсивностью художественного выражения.

Ключевые слова: риторическая фигура, художественный текст, зевгма, синтаксис, семантика, стилистический потенциал.

Для цитирования: Тимралиева Ю. Г. Зевгма как прием прагматического фокусирования в художественном тексте (на материале немецкого языка) // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 118–126. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-118-126

© Тимралиева Ю. Г., 2021

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.



Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 19.01.2021; принята после рецензирования 11.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

Zeugma as a Method of Pragmatic Focusing in a Literary Text (Based on the Material of the German Language)

Julia G. Timralieva✉

Saint Petersburg State Economic University, St Petersburg, Russia

✉juliati@yandex.ru

Introduction. The article analyses the specifics of the functioning of the zeugma in artistic speech. Despite the popularity of this rhetorical figure since ancient times and its use in various spheres of communication, there is still no complete clarity about the essence of this linguistic phenomenon.

Methodology and sources. The article considers various interpretations of the zeugma, determines its place in the circle of other rhetorical figures, conducts a structural analysis of zeugmatic constructions, identifies its syntactic and morphological variations, analyzes the stylistic potential. As an empirical material, lyrical and prose texts of German-language literature of the XIX–XX centuries are used, including works by H. Heine, A. Döblin, G. Trakl, G. Benn, K. Edschmid, H. Böll and other authors.

Results and discussion. As a rhetorical figure, zeugma is built on the conflict of syntax and semantics, representing several syntactically homogeneous, but semantically heterogeneous elements. Zeugma, as a rule, has a nuclear word in its composition, in which, in conjunction with various actants, different meanings/shades of meanings are actualized, although “non-nuclear” zeugmas are also found. The role of the reference element is most often a verb-predicate, less often the core of the construction becomes an adjective, participle, adverb, noun. The elements of the paratactic series are usually nouns (homogeneous subjects, additions, circumstances), but the analysis also reveals cases of illogical combinations represented by other parts of speech, as well as examples with heterogeneous morphological forms within the same zeugmatic construction. The functional analysis of the zeugma demonstrates the rich stylistic potential of this rhetorical figure, which acts as a means of humor and satire in literary texts, serving to convey emotional states, semantic saturation of the utterance, and the increment of new meanings.

Conclusion. Zeugma acts as a significant method of pragmatic focusing in a literary text, being especially widely represented in modernist literature, characterized by semantic multilayering and intensity of artistic expression.

Key words: rhetorical figure, artistic text, zeugma, syntax, semantics, stylistic potential.

For citation: Timralieva J. G. Zeugma as a Method of Pragmatic Focusing in a Literary Text (Based on the Material of the German Language). DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 118–126. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-118-126 (Russia).

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 19.01.2021; adopted after review 11.03.2021; published online 23.04.2021

Введение. В последние десятилетия наблюдается выраженный интерес исследователей к функциональным аспектам речепорождения и речевосприятия. Особое внимание приковано к поэтическому тексту, который выступает как средство художественного мышления, осознающее мир «через освоение его путем творческого воссоздания» [1, с. 130].

Художественный текст, наделенный особой эстетической функцией, «которая не совпадает с функцией языка как средства обычного общения, а представляется ее своеобразным обосложнением» [2, с. 142], отличается от прочих типов текста характером использования языкового материала. «Если для текстов прочих функциональных стилей характерно логически оправданное языковой системой употребление, то для художественной речи характерным является ненормативное использование всех средств языковой системы в целях образной выразительности, использование устоявшихся экспрессивных форм, таких как эмфатический порядок слов, повторы, обособления, тропы и другие. Поэтому при анализе языка художественной литературы в фокусе особого внимания оказываются стилистически маркированные языковые единицы, которые участвуют в реализации идейно-художественного замысла текста и достижении необходимого эстетического эффекта» [3].

Одним из таких стилистически маркированных элементов, выступающих в художественных текстах наряду с каламбуром, градацией, антитезой и другими риторическими фигурами, приемом прагматического фокусирования является зевгма. Хотя зевгма как риторическая фигура известна еще со времен античности (др.-греч. ζεύγμα – буквально «соединение», «сопряжение», «связь») и на протяжении долгого времени пользуется популярностью как в художественной речи, так и в прочих сферах коммуникации, сам термин до сих пор не получил однозначного толкования, и под зевгмой понимаются различные языковые явления. В данной статье обобщаются результаты исследований по зевгме в германской и российской филологии, проводится структурно-семантический анализ зевгматических конструкций в немецкоязычной литературе.

Методология и источники. В современной филологии сложились два разных подхода к определению зевгмы. В рамках первого подхода, восходящего к традиционной античной риторике, зевгма определяется как «ряд гипотактических (сочиненных) предложений, организованных вокруг одного общего для всех них главного члена, употребленного только в одном из предложений» [4]. Похожие, ориентированные на грамматическую сторону явления трактования зевгмы находим также у О. С. Ахмановой [5, с. 158], А. П. Квятковского [6, с. 167], Г. Варига [7] и других авторов, рассматривающих зевгму в ряду прочих перечислительных синтаксических конструкций.

Второй подход, более широко представленный в современной риторике/стилистике и взятый за основу в данном исследовании, основывается на нарушении логического тождества и определяет зевгму как «стилистическую фигуру, синтаксически объединяющую в себе семантически несовместимые члены предложения» [8, с. 379], т. е. рассматривает как грамматическую, так и семантическую составляющие данной фигуры речи. Подобное рассмотрение зевгмы находим как в германской [9, с. 259; 10, с. 139; 11, с. 319; 12, с. 180], так и в отечественной [13] филологии. При такой трактовке зевгма занимает место в ряду прочих стилистических фигур, в частности, разными исследователями относится к разновидностям каламбура [8, с. 379], к алогичным сочетаниям [14, с. 216; 9, с. 258], к разновидности силлепса [15, с. 50], который, в свою очередь, часто характеризуется как синоним зевгмы.

Результаты и обсуждение. Как структурная единица текста зевгма, как правило, включает в себя «ядерное слово, вокруг которого выстраиваются зависимые от него однородные члены предложения, равноценные грамматически, но семантически разноплановые,

вследствие чего в многозначном ядерном слове одновременно активизируются минимум два разных значения или смысловых оттенка» [13, с. 60]. Например, в следующем отрывке из романа Г. Бёлля актуализируются прямое и переносное значения глагола *geben* (давать), когда в качестве актантов, являющихся звеньями зевгматической конструкции, выступают конкретные (*Brot, Wasser*) и абстрактные (*Trost*) существительные: «...sie gab den Bettlern Brot, wenn wir welches hatten, ließ sie wenigstens eine Tasse Kaffee trinken, und wenn wir nichts mehr im Hause hatten, gab sie ihnen frisches Wasser in einem sauberem Glas und den Trost ihrer Augen» (H. Böll, «Und sagte kein einziges Wort»).

В роли опорного (ядерного) элемента зевгматической конструкции чаще всего выступает глагол-сказуемое: «Er wußte, daß ich jede Nacht bei der jungen Frau des Wirtes war, die neunzehn Jahre und ganz weiße Haare hatte und eine Haut, glatt wie ein Aal» (K. Edschmid, «Das beschämende Zimmer»). В приведенном примере из новеллы К. Эдшмида выступающий опорным предикатом глагол *haben* (иметь) является одновременно элементом устойчивого и свободного словосочетания, в результате чего элементами перечисления становятся семантически неравнозначные актанты: обозначение возраста героини (*neunzehn Jahre*) и описание ее внешности (*ganz weiße Haare, eine Haut, glatt wie ein Aal*). Аналогичным образом вокруг глагола *haben* строится зевгматическая конструкция в отрывке из рассказа Л. Франка: «Jedoch der Gymnasiast, dem er zu entkommen gelang, hatte einen Vorsprung, Angst und lange Beine» (L. Frank). С существительными *Vorsprung* и *Angst* данный глагол образует устойчивые сочетания, а с существительным *Beine* (как и в предыдущем примере, отсылающем к внешности персонажа) – свободное. Аналогично: «Zwei Mädchen lagen am Waldessaum/ und schliefen sanft im Grase./ Die eine hatte 'nen schönen Traum,/ die andere 'ne häßliche Nase» (H. Seydel, «Alles Unsinn»).

Особую группу зевгматических сочетаний с глагольным ядром в немецком языке образуют примеры, где выступающий опорным элементом зевгмы глагол используется в разных значениях, определяемых разными приставками: «Er brach das Siegel auf und das Gespräch nicht ab» (A. von Chamisso, «Peter Schlemihls wundersame Geschichte»). В приведенном примере в двух частях предложения содержатся разные префиксальные вариации глагола *brechen* в составе устойчивых сочетаний: *das Siegel aufbrechen* (взломать печать) и *das Gespräch abbrechen* (прервать разговор).

Реже семантически разнородные члены предложения выстраиваются вокруг прилагательного/наречия или причастия: «Ihr wächsern-runder Blick sinnt goldner Zeiten./ Erfüllt von Träumerei und Ruh und Wein» (G. Trakl, «Dämmerung»). В роли ядерного слова также может выступать существительное, как правило, отглагольное: «Ich würge heftig, ein Gemisch von Staub, Tränen und Verzweiflung gleitet in meinen Magen, und ich nehme nun wirklich den Kampf auf» (H. Böll, «Und sagte kein einziges Wort»). Вместе с тем встречаются и примеры, когда члены зевгматической конструкции не соотносятся с определенным ядром, а выступают элементами перечисления в назывных конструкциях: «Tanzende heben sich von einer schwarzen Mauer;/ Fahnen von Scharlach, Lachen, Wahnsinn, Trompeten» (G. Trakl, «Trompeten»).

В роли синтаксически однородных членов в подавляющем большинстве случаев выступают существительные, однако нами были выявлены и случаи алогичных сочетаний, представленных другими частями речи, например, прилагательными и причастиями: «Niederdrückend und hoch spannen sich innen in Chor und Querschiff die Bogen zu einem Gewölbe,

das voll ist von Sonne, Erschauern und dem Sang einer Biene» (К. Edschmid, «Bilder aus den Südvogesen»). В данном примере глагол *sich spannen* одновременно характеризуется причастием *niederdrückend* (давящий, удручающий), предлагающем субъективную оценку, и прилагательным *hoch* (высокий), предлагающем объективную оценку архитектурного элемента (в данном случае субъективная и объективная оценки еще и противоречат друг другу, поскольку давящими обычно воспринимаются низкие, а не высокие своды), а предложение в целом содержит еще одну зевгматическую конструкцию, элементами которой выступают конкретное (*Sonne*) и абстрактные (*Erschauern, Sang*) существительные, группируемые вокруг прилагательного *voll*.

Следует отметить, что цепочки из нескольких зевгматических конструкций в рамках одного предложения в художественной речи отнюдь не редкость: «*Verwirrt im Haar, im Meer, die Brüste bluten/ vor Tanz, vor Sommer, Strand und Ithaka*» (G. Benn, «Über Gräber»). С другой стороны, зевгма зачастую выходит за рамки одного предложения, определяя структуру целой строфы/целого абзаца, а иногда и целого текста: «*Mütter gebärten krei-schend. Kinder flatterten. <...> Betrunkene torkelten. Idioten blökten. Selbstmörder wankten*» (J. R. Becher, «Kindheit»). В данном отрывке из рассказа И. Р. Бехера зевгма задается посредством синтаксического параллелизма и представляет собой цепочку простых предложений, в каждом из которых подлежащим является одушевленное существительное во множественном числе, однако логика данного перечислительного ряда нарушается вследствие отнесения данных существительных к разным семантическим группам, так как они характеризуют людей по разным критериям: по степени родства (*Mütter*), возрасту (*Kinder*), физическому состоянию (*Betrunkene*), психическому состоянию (*Idioten*), способу ухода из жизни (*Selbstmörder*). Аналогичным образом, но уже в рамках одного предложения, сочетаются субъекты в рассказе Г. Бенна: «*Der Jäger und der Krüppel, der Vergeßliche und der Tänzer, – alle glaubten, versteckt oder frei, an die großen Gehirne, um die die Götter schwebten*» (G. Benn, «Die Eroberung»). Будучи звеньями одной синтаксической цепочки, персонажи относятся к разным семантическим рядам, в частности определяются по роду занятия (*Jäger, Tänzer*), физическому статусу (*Krüppel*), психотипу (*Vergeßliche*).

В зависимости от позиции «общего» слова традиционно различают протозевгму, когда опорное слово стоит в начале синтаксической конструкции, мезозевгму – с опорным словом в середине конструкции и гипозевгму, когда опорное слово замыкает синтаксическую конструкцию. Анализ примеров показал, что в немецкой литературе более широко представлены протозевгмы: «*Doch nieder regnet Aschengräue, Sturm und Schlacht*» (A. Wolfenstein, «Der gute Kampf»). Гипозевгмы менее продуктивны: «*Aus Totenreich, Erinnern, Tiertorturen/ Steigt Gott hinein*» (G. Benn, «Das späte Ich»). Что касается мезозевгмы, то в ходе анализа языкового материала подобные конструкции нами обнаружены не были, что, по всей видимости, объясняется более жесткой фиксированностью отдельных членов предложения в немецком языке в сравнении с русским.

Если говорить о функциях зевгмы, то многими исследователями зевгма рассматривается в первую очередь как фигура языкового комизма [8, с. 379; 14, с. 218]. Например, в следующем, ставшем хрестоматийным, примере из путевых заметок Г. Гейне, содержащем сразу два зевгматических ряда, комический эффект достигается соположением на равных объектов, трудно сопоставимых с точки зрения их роли в жизни города: «*Die Stadt Göttingen,*

berühmt durch ihre Würste und Universität, gehört dem Könige von Hannover und enthält 999 Feuerstellen, diverse Kirchen, eine Entbindungsanstalt, eine Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothek und einen Rastkeller, wo da Bier sehr gut ist» (Н. Heine, «Die Harzreise»). Так же неравнозначны, как в предыдущем примере – существительные *Würste* и *Universität* (колбаски и университет), в следующем примере – духовное *Geist* (дух) и материальное *Pflaster* (пластырь): «*Gott, wie elend sah er aus, als ich ihn zuletzt sah. Er bestand nur noch aus Geist und Pflaster...*» (Н. Heine, «Ideen»). Аналогичный эффект достигается и в рассказе А. Деблина, где столкновение в рамках одного предложения (как и рассказа в целом) предметно-бытовой и религиозно-возвышенной лексики создает выраженную оценочную модальность в регистре «комическое – гротеск»: «*Sie trinken Most aus Holzbechern, preisen die unsterbliche Seele*» (А. Döblin, «Astralia»).

Однако стилистический потенциал зевгмы не исчерпывается юмором и сатирой. Зевгма в целом очень органична для ассоциативного художественного мышления, позволяет поэту или писателю в соответствии с собственной поэтической логикой выстроить цепь перемежающихся ассоциаций, тем самым подталкивая читателя к более эмоциональному и образному восприятию происходящего: «... *und dann fuhr mit Fahnen und Geschrei ein Autobus an dem aufglühenden See vorüber*» (К. Edschmid, «Bilder aus den Südvogesen»). Кроме того, зевгма помогает передать различные эмоциональные состояния и чувства лирического героя или героев произведений, их ощущение мира и себя в этом мире: «*Wenn ich am Sonntag reite, den Dress spüre, das leichte Keuchen höre aus der Gurgel des Gauls und von seinem Mundschweiß beschneit dahänge zwischen Zügeln, Rücken, Gegnern und Welt – weiß ich, daß dies eine Sekunde Seligkeit sein wird, ist*» (К. Edschmid, «Der Lazo»). «*Ich bin gehirnlisch heimgekehrt/ Aus Höhlen, Himmeln, Dreck und Vieh.*» (G. Benn, «Synthese»).

Подобно многим другим риторическим фигурам, зевгма способствует семантическому насыщению высказывания, приращению новых смыслов. Нарушение семантической гомогенности фразы, нарочитая алогичность связи между элементами сочинительного ряда переносит акцент на модальный аспект высказывания, тем самым фокусируя внимание читателя, заставляя его задуматься над смыслом предложения: «*Es roch nach dem alten Schweiß alter Schuhe, nach neuem Leder, nach Pech, und ich hörte die altmodische Steppmaschine surren*» (Н. Böll, «Und sagte kein einziges Wort»). В данном примере появление среди семантических актантов глагола *riechen* (пахнуть) наряду с существительными *Schweiß alter Schuhe, neues Leder* существительного *Pech* образно и емко характеризует жизнь владельцев мастерской, пропитанной не только запахом пота, старой обуви и новой кожи, но еще и запахом несчастья, и более широко в контексте всего романа – жизнь послевоенной Германии. Схожее впечатление производят строки из другого произведения «литературы руин»: «*Im Rock des Feindes,/ in zu großen Schuhen,/ im Herbst,/ auf blattgefleckten Wegen/ gehst du heim*» (Н. Bender, «Heimkehr»).

По мнению Э. М. Береговской, «с точки зрения стилистического функционирования зевгму можно трактовать как фигуру, в которой запрограммировано “обманутое ожидание”». Обычно читательское ожидание нагнетается в пределах абзаца, главы, произведения. В зевгме же оно и нарастает, и разрешается в пределах одного словосочетания. Зевгма – самая лапидарная форма реализации эффекта “обманутого ожидания”» [13, с. 66].

Особую популярность зевгма приобретает в литературе XX в., уходящей от линейности повествования, характеризующейся ослаблением структурных и логико-смысловых

связей внутри текста. На смену системному взгляду приходит так называемое клиповое мышление, когда не справляющееся со все увеличивающимся потоком информации человеческое сознание начинает воспринимать реальность как череду меняющихся картин, запахов, звуков и, соответственно, воспроизводить ее методом монтажа, превращая тексты в пестрые мозаики из предметов и явлений: «Über Krüppel und Badeproleten, Sonnenschirme, Schoßhunde, Boas, über das Herbstmeer und das Grieg-Lied: Ob Iris kommt?» (G. Benn, «Kurkonzert»). «Г. Апполинер в своем эссе “Новый дух и поэты” (1918) сравнивает современный стих с газетной полосой, где всякая всячина одновременно бросается в глаза, или фильмом, нанизывающим образ на образ» [16, с. 184].

Например, необычайно продуктивной как на уровне отдельно взятого предложения, так и на уровне текста в целом зевгма становится в немецком литературном экспрессионизме, будучи широко представленной как в лирике, так и в прозе: «Und dann die langen Einsamkeiten. Nackte Ufer. Stille. Nacht. Besinnung. Einkehr. Kommunion. Und Glut und Drang/ Zum Letzten, Segnenden. Zum Zeugungsfest./ Zur Wollust. Zum Gebet. Zum Meer./ Zum Untergang» (E. Stadler, «Fahrt über die Kölner Rheinbrücke bei Nacht»). Это объясняется симультанностью экспрессионистского мироощущения, разрушением системных связей в сознании художника, зыбкостью границ между объектами окружающего мира, заставляющих соседствовать в предложении/строке/строфе элементы из разных предметно-бытовых сфер: «Hier Evas Schatten, Jagd und rotes Geld» (G. Trakl, «Menschheit»). Соединение на равных одушевленного и неодушевленного, части и целого, частного и общего, конкретного и абстрактного, реального и воображаемого, а также предмета и признака, предмета и действия, признака и действия становится в экспрессионизме отрицанием существующих связей, отражением того «вселенского беспорядка», ощущением которого в той или иной степени проникнуто большинство экспрессионистских текстов: «Das ganz schmalschuhige Raubpack, Russinnen, Jüdinnen, tote Völker, ferne Küsten, Schleicht durch die Frühjahrsnacht» (G. Benn, «Englisches Cafe») [17].

В модернистских текстах семантическая зевгма нередко совмещается с грамматической, когда элементами одного синтаксического ряда становятся не только семантически, но еще и морфологически разнородные элементы – существительные, местоимения, субстантивированные прилагательные, причастия, полные и усеченные инфинитивы: «Wehet langsam unter Laub und Sternen, Weht durch Weg und Tür und Atemwandern, Alte Mutter, elendste der Mütter» (F. Werfel, «Hekuba»). «Aus dir, du süßes Tierisches, Aus euern Schatten, Schlaf und Haar, muß ich mein Hirn besteigen...» (G. Benn, «Ikarus»). Например, в примере из стихотворения П. Цеха в паратактическом ряду соединяются не только формы существительных и субстантивированных атрибутов, но также имена собственные и нарицательные: «Ihr blassen Krüppel, sanft von Kindern vorgeschoben, und ihr Geschwächten aus dem Hospital, ihr Irren von den Straßen aufgehoben// und ihr Entlaufnen aus dem Arbeitssaal, Töchter der Magdalena, Kains robuste Söhne, Verwanderte von China her und vom Ural...» (P. Zech, «Die neue Bergpredigt»). А в следующем отрывке из стихотворения Ф. Верфеля происходит синтаксическое уравнивание не только семантически разнозначных существительных (обозначений людей по национальному и профессиональному признакам), но также грамматических форм именного и глагольного сказуемого: «Bist du Neger, Akrobat, oder ruhst du noch in tiefer Mutterhut...» (F. Werfel, «An den Leser»).

Заключение. Таким образом, в художественном тексте зевгма выступает важным элементом языковой структуры, будучи как средством юмора и сатиры, так и способом приращения смыслов. Особенно популярным этот стилистический прием становится в модернистских текстах, с одной стороны, характеризующихся ослаблением структурных связей, уходом от устоявшихся норм и канонов, претендующих на новаторство в области языкового оформления, с другой стороны, демонстрирующих высокую семантическую плотность, когнитивную усложненность, многослойность, интертекстуальность, ориентированных на максимальную интенсивность художественного выражения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М.: АН СССР, 1963.
2. Винокур Г. О. Филологические исследования: лингвистика и поэтика. М.: Наука, 1990.
3. Руберт И. Б., Тимралиева Ю. Г. Поэтический язык как объект лингвистических исследований // Изв. СПбГЭУ. 2017. № 3. С. 95–100.
4. Жеребило Т. В. Словарь лингвистических терминов. 5-е изд., испр. и доп. Назрань: Пилигрим, 2010. URL: https://lingvistics_dictionary.academic.ru/ (дата обращения: 12.01.2021).
5. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. М.: Сов. энцикл., 1969.
6. Квятковский А. П. Поэтический словарь. 3-е изд., испр. и доп. М.: РГГУ, 2013.
7. Wahrig G. Deutsches Wörterbuch. Güterslohn: Bertelsmann, 1971.
8. Брандес М. П. Стилистика немецкого языка. М.: Высш. шк., 1990.
9. Ризель Э. Г., Шендельс Е. И. Стилистика немецкого языка. М.: Высш. шк., 1975.
10. Krahl S., Kurz J. Kleines Wörterbuch der Stilkunde. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1970.
11. Sowinski B. Deutsche Stilistik. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 1973.
12. Fleischer W., Michel G. Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1977.
13. Береговская Э. М. Проблемы исследования зевгмы как риторической фигуры // Вопр. языкознания. 1985. № 5. С. 59–67.
14. Riesel E. Stilistik der deutschen Sprache. Moskau: Verlag für fremdsprachige Literatur, 1959.
15. Volker H. Einführung in die Lexikologie. Darmstadt: WBG, 2015.
16. Фридрих Г. Структура современной лирики: от Бодлера до середины двадцатого столетия / пер. с нем. Е. В. Головина. М.: Языки славянских культур, 2010.
17. Тимралиева Ю. Г. Языковая картина мира немецкого литературного экспрессионизма (на основе анализа малоформатных текстов): дис. ... д-ра филол. наук / СПбГЭУ. СПб., 2017.

Информация об авторе.

Тимралиева Юлия Геннадьевна – доктор филологических наук (2017), доцент (2005), заведующая кафедрой романо-германской филологии и перевода Санкт-Петербургского государственного экономического университета, ул. Садовая, д. 21, Санкт-Петербург, 191023, Россия. Автор 70 научных публикаций. Сфера научных интересов: германские языки, немецкая литература, лингвопоэтика, функциональная стилистика. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6961-7840>. E-mail: juliati@yandex.ru

REFERENCES

1. Vinogradov, V.V. (1963), *Stilistika. Teoriya poeticheskoi rechi. Poetika* [Stylistics. The theory of poetic speech. Poetics], ANSSSR, Moscow, USSR.
2. Vinokur, G.O. (1990), *Filologicheskie issledovaniya: lingvistika i poetika* [Philological Research: Linguistics and Poetics], Nauka, Moscow, USSR.

3. Rubert, I.B. and Timralieva, J.G. (2017), "Poetic Language as the Object of Linguistic Research", *Izvestiya SPbGEU*, no. 3, pp. 95–100.

4. Zherebilo, T.V. (2010), *Slovar' lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of linguistic terms], 5th ed., revised and enlarged. Pilgrim, Nazran', RUS, available at: https://linguistics_dictionary.academic.ru/ (accessed 12.01.2021).

5. Akhmanova, O.S. (1969), *Slovar' lingvisticheskikh terminov* [Dictionary of linguistic terms], Sovetskaya entsiklopediya, Moscow, USSR.

6. Kvyatkovskii, A.P. (2013), *Poeticheskii slovar'* [Poetic Dictionary], 3rd ed., corrected and additional, RGGU, Moscow, RUS.

7. Wahrig, G. (1971), *Deutsches Wörterbuch*, Bertelsmann, Güterslohn, DEU.

8. Brandes, M.P. (1990), *Stilistika nemetskogo yazyka* [German stylistics], Vysshaya shkola, Moscow, USSR.

9. Riesel, E.G. and Schendels, E.I. (1975), *Stilistika nemetskogo yazyka* [Deutsche Stilistik], Vysshaya shkola, Moscow, USSR.

10. Krahl, S. and Kurz, J. (1970), *Kleines Wörterbuch der Stilkunde*, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, DEU.

11. Sowinski, B. (1973), *Deutsche Stilistik*, Fischer Taschenbuch, Frankfurt am Main, DEU.

12. Fleischer, W. and Michel, G. (1977), *Stilistik der deutschen Gegenwartssprache*, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig, DEU.

13. Beregovskaya, E.M. (1985), "Problems of studying zeugma as a rhetorical figure", *Voprosy Jazykoznanija*, no. 5, pp. 59–67.

14. Riesel, E. (1959), *Stilistik der deutschen Sprache*, Verlag für fremdsprachige Literatur, Moskau, USSR.

15. Volker, H. (2015), *Einführung in die Lexikologie*, WBG, Darmstadt, DEU.

16. Friedrich, H. (2010), *Struktura sovremennoi liriki: Ot Bodlera do serediny dvadtsatogo stoletiya* [Die Struktur der modernen Lyrik: Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten], Transl. by Golovin, E.V., *Yazyki slavyanskikh kul'tur*, Moscow, RUS.

17. Timralieva, J.G. (2017), "The linguistic picture of the world of German literary expressionism (based on the analysis of small-format texts)", Abstract of Dr. Sci. (Philol.) dissertation, SPbSEU, SPb., RUS.

Information about the author.

Julia G. Timralieva – Dr. Sci. (Philology) (2017), Docent (2005), Head of Department of Romance and Germanic Philology and Translation, Saint Petersburg State Economic University, 21 Sadovaya str., St Petersburg 191023, Russia. The author of 70 scientific publications. Area of expertise: Germanic languages, German literature, linguistic poetics, functional stylistics. ORCID <https://orcid.org/0000-0001-6961-7840>. E-mail: juliati@yandex.ru

Linguistic Data Model for Natural Languages and Artificial Intelligence. Part 6. The External Logic

Oleg M. Polyakov✉

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, St Petersburg, Russia

✉road.dust.spb@gmail.com

Introduction. The article continues a series of publications on the linguistics of the relationship (hereafter R-linguistics) and is concerned with the semantic interpretation in terms of the linguistic model that is the initial stage to consider the logic of natural language (external logic).

Methodology and sources. The results obtained in the previous parts of the series are used as research tools. In particular, the verbal categorization method is used to represent concepts and verbs. To develop the necessary mathematical representations in the field of logic and semantics of natural language, the previously formulated concept of the interpretation operator is used. The interpretation operator maps the sentences of the language into the model, taking into account the previously interpreted sentences.

Results and discussion. The problems that arise during the operation of the natural language interpretation operator are analyzed using examples of text translation and utterance algebra. The source of problems is the dependence of the interpretation of sentences on the already accumulated results of interpretation. The features of the interpretation of negation and double negation in the language are analyzed. In particular, the negation of a sentence affects the interpretation of previous sentences, and double negation usually denotes a single negation with an indication of its scope. It is shown that even from the point of view of classical logic, linguistic negation is not unconditional, and the operation of concatenation is not commutative and associative. General rules of text interpretation in the form of step-by-step mapping of sentence elements into a linguistic model are formulated.

Conclusion. From the considered examples of the implementation of the interpretation operator, it follows that the negation of a sentence requires a change in the meaning of the operation of attributing sentences in the text. For this reason, the negative particle "not" in the language is actually a label for changing the interpretation rule. The double negation rule in sentence logic does not hold, so sentences containing double negations are likely to contain information about the scope of the sentence negation in the text. Based on the analysis, the contours of the interpretation operator for the linguistic model are indicated.

Keywords: R-linguistics, ascription operation, interpretation operator, semantics.

For citation: Polyakov O. M. Linguistic Data Model for Natural Languages and Artificial Intelligence. Part 6. The External Logic. DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 127–134. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-127-134

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 07.01.2021; adopted after review 10.03.2021; published online 23.04.2021

© Polyakov O. M., 2021



Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Лингвистическая модель данных для естественных языков и искусственного интеллекта. Часть 6. Внешняя логика

О. М. Поляков✉

Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург, Россия

✉road.dust.spb@gmail.com

Введение. Статья продолжает серию публикаций по лингвистике отношений (далее R-лингвистика) и посвящена вопросам семантической интерпретации в рамках лингвистической модели, что является первоначальным этапом к рассмотрению естественной логики языка (внешней логики).

Методология и источники. В качестве инструментов исследования используются результаты, полученные в предыдущих частях серии. В частности, для представления понятий и глаголов применяется глагольный способ категоризации. Для разработки необходимых математических представлений в области логики и семантики естественного языка используется сформулированное ранее понятие оператора интерпретации. Оператор интерпретации отображает предложения языка в модель с учетом ранее интерпретированных предложений.

Результаты и обсуждение. На примерах перевода текста и алгебры высказываний проанализированы проблемы, которые возникают при работе оператора интерпретации естественного языка. Источником проблем является зависимость интерпретации предложений от уже накопленных результатов интерпретации. Проанализированы особенности интерпретации отрицания и двойного отрицания в языке. В частности, отрицание предложения оказывает влияние на интерпретацию предшествующих предложений, а двойное отрицание, как правило, обозначает одиночное отрицание с указанием области его действия. Показано, что даже с точки зрения классической логики языковое отрицание не является безусловным, а операция конкатенации (приписывания) не является коммутативной и ассоциативной. Сформулированы общие правила интерпретации текста в виде пошагового отображения элементов предложения в лингвистическую модель.

Заключение. Из рассмотренных примеров реализации оператора интерпретации следует, что отрицание предложения требует изменения смысла операции приписывания предложений в тексте. По этой причине отрицательная частица «не» в языке фактически является меткой изменения правила интерпретации. Правило двойного отрицания в логике предложений не выполняется, поэтому предложения, содержащие двойные отрицания, скорее всего, содержат информацию об области действия отрицания предложения в тексте. На основе проведенного анализа обозначены контуры оператора интерпретации для лингвистической модели.

Ключевые слова: R-лингвистика, операция приписывания, оператор интерпретации, семантика.

Для цитирования: Поляков О. М. Лингвистическая модель данных для естественных языков и искусственного интеллекта. Часть 6. Внешняя логика // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 127–134. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-127-134

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 07.01.2021; принята после рецензирования 10.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

Introduction. The questions discussed in the previous article [1] are not just philosophical questions, although there the semantic model is extremely general. This, as stated, means that the postscript to the text s^{-1} (the postscript of the negation of the sentence s) formally affects not only the sentence s nearest to the left, but also the sentences preceding the sentence s . In the following two examples, we will consider how the results described above are implemented in specific situations.

Methodology and sources. The results obtained in the previous parts of the series are used as research tools. In particular, the verbal categorization method is used to represent concepts and verbs. To develop the necessary mathematical representations in the field of logic and semantics of natural language, the previously formulated concept of the interpretation operator is used. The interpretation operator maps the sentences of the language into the model, taking into account the previously interpreted sentences.

Results and discussion. The first example is related to the translation of tests. So, let P_1 and P_2 be sets of sentences of two languages and the text composed of sentences of the set P_1 is translated into the text composed of sentences of the set P_2 . The semantics of the text t in the first language means its translation s in the second language. For example, the semantics of the English text in this case is the Russian text obtained as a result of translation. Translation (interpretation of the English text in Russian) is carried out as follows: first, the first sentence of the text t_1 is translated and the translation of this sentence s_1 is obtained. The second sentence t_2 is translated into sentence s_2 , taking into account the already received sentence s_1 , and so on. In order to fully fit into the semantic model described in [1], it is necessary to make two assumptions about the translation. First, an empty sentence of the first language is translated into an empty sentence of the second language, regardless of what translation has already been received. Secondly, either two identical, consecutive sentences in the first language are translated one sentence regardless already received a translation (though translation itself is, of course, depends on the already obtained translation), or they can be two sentences, but then we believed hypothesis idempotency applies to the second language.

It is easy to see that the described method of translation exactly corresponds to the model of interpretation described earlier and, therefore, the results of the previous subsection are valid for it. In particular, for example, the translation of a sentence and the negation that follows it must depend on the text that has already been translated, otherwise such a translation may lose its meaning. This provision is important for understanding the features of the semantics of simultaneous translation: a simultaneous translator must remember the already translated text and make the current translation taking into account the already translated text, otherwise he risks destroying the semantics of the translation.

The second example is related to the logic of statements. In logic, the operations of disjunction and conjunction are associative, and negation is unconditional. Does this mean that logic has not only formalized logical operations between language sentences, separating them from meaning, but it has also rendered meaningless any natural language to which it applies? This question ended the previous article in the series and now it's time to answer it.

As you know, in expert systems, the text is divided into separate sentences, and this set of sentences is the basis for subsequent output. This is done because they assume the operation of attributing an identical conjunction (that is, not just associative, but even commutative). All the

denials in expert systems are considered to be unconditional. And yet, contrary to Theorem 1 [1], logic has a model in the form of set theory and, therefore, has a set-theoretic semantics. What's the matter? What is the difference between semantic and logical approaches to text?

To begin with, we note that when we talk about external logic, we mean the logic of actions with the text sentences themselves. At the same time, logical connectives are often found inside sentences, but we will not consider logical operations inside sentences now, but only outside them. We will postpone the consideration of logic within sentences until the next article.

For simplicity, consider suggestions about the possession of an object by some property. Each such sentence is represented by a predicate $P(x)$ (literal), which takes the value TRUE on those objects x that have the property $P(x)$. Thus, each such predicate defines a set of A_p objects that have the property $P(x)$.

The logical approach to the text from the standpoint of truth makes us consider the text as a conjunction of sentences, where sentences are considered as literals. Thus, the truth of the text is represented as a conjunction of the truth values of sentences. Since the conjunction corresponds to the intersection of the sets of A_p , then with each sentence the result of the intersection (the truth area of the text) decreases.

However, our semantic experience says that in the process of reading a text, the "amount" of meaning increases. For example, one sentence in a book makes less sense than the whole book. So, contrary to the logical view, in this logical example, we will look at the attribution operation as a disjunction of literals $P(x)$, which corresponds to the union of sets A_p . An empty sentence corresponds to the property P_\emptyset , which defines an empty set.

When we look at the text from a semantic point of view, we have in mind the following situation. Someone says to us: "Please write down such information: ..." We are not required to verify the truth of the text, and in this sense, the logical and semantic approaches are opposed to each other. In the semantic approach, we are required to interpret, because truth analysis is a matter of matching the received semantics and the model of the world. For example, owned by Bertrand Russell [2] the dilemma "the current king of France is bald" is quite normally interpreted. Another thing is that in the model of the world of a modern European, the current France does not have a king. However, there are many people in the world with a model of the world that does not respond to Russell's sly look.

Disjunction as an attribution operation satisfies two introduced axioms of the language. In fact, for any $P(x)$ we have $P(x) \vee P_\emptyset(x) = P(x)$ and $P(x) \vee P(x) = P(x)$, and these equalities, due to the associativity of the disjunction, are fulfilled for any previous disjunction of literals (that is, they are unconditional).

Now note that no disjunction can transform the non-empty set A_p of the predicate $P(x)$ into an empty set. This means that we cannot define semantic negation in terms of disjunction. We can only define the attribution of negation as the conjunction $P(x) \& \square P(x)$ (the intersection of A_p and $\square A_p$), and more precisely, as the second operand, we can take any set belonging to $\square A_p$. As follows from Theorem 1 [1], such a negation cannot be an unconditional right negation, since then, for example, $P_\emptyset(x) = P(x) \& \square P(x) = P(x) \vee P(x) \& \square P(x) = P(x)$. Thus, if $Q(x)$ is some disjunction of literals, then the negation of the last literal is $(Q(x) \vee P(x)) \& \square P(x) = (Q(x) \& \square P(x)) \vee (P(x) \& \square P(x)) = Q(x) \& \square P(x)$. In this situation, since $Q(x)$ can be any, it is necessary to choose as a negation the maximum subset of the set $\square A_p$, that is, $\square A_p$ itself.

So, the need to circumvent Theorem 1 [1] in connection with the associativity of disjunction leads to the need to replace the chosen attribution operation, which was a disjunction, with another operation, and so that this operation affects the previous result of combining sets (accumulated semantics), which removes the question of the unconditionality of negation. Note that $Q(x)*P(x)*\square P(x) = Q(x)\&\square P(x)\neq Q(x)\&P(x) = Q(x)*\square P(x)*P(x)$. In other words, the literal and its negation cannot be swapped (not commutativity).

The considered example from the point of view of semantics denotes a number of problems.

1. From the logical or set-theoretic point of view, the predicate $\square P(x)$ and its corresponding set are no different from other similar predicates and sets. However, to determine $\square P(x)$, you need to know the entire area of change of x (universe U). This is not always known. Therefore, the set corresponding to $Q(x)\cap\square P(x)$ must be considered as the difference between the sets A_Q and A_P . In this case $A_{\square P} = U - A_P$ and for $Q(x)*\square(\square P(x))$ we get $Q(x)*\square(\square P(x)) = Q(x) - (U(x) - P(x)) = Q(x)\&P(x) \neq Q(x)\vee P(x) = Q(x)*P(x)$, so there is no double negation in the semantic sense.

2. Since the occurrence of a negative sentence in the text leads to a change in the way of interpretation (to the transition from disjunction to difference), there is a need to somehow mark (highlight) negative sentences. In other words, positive and negative sentences and corresponding literals are not equivalent, and the logical system loses its symmetric character. In Russian, such a label is the particle “not”. Apparently, any language that has a developed logical structure must have a “negativity” label for the sentence. This label is not needed to indicate a connection with a positive sentence that formed a negative one. This label has not an illustrative, but a fundamental semantic character, since when it appears, the way the meaning is formed changes.

3. So, when a negative literal appears, it is necessary to remove from the sets corresponding to the preceding literals the elements belonging to the set from which the negation is formed. Do I need to do this with subsequent text literals? If yes, how long and for what? For example, if as a result of negating the literal “x-round”, the object “ball” is removed from the previous sets, then is it necessary to react somehow to the appearance of this object in subsequent sets? Maybe if this conflict occurs, you should ask a question at the end of the paragraph: “You said that the ball should not be included in the semantics of the text, because it is round?” This will allow you to adjust the semantic result. Apparently, double negations in sentences serve as an indication of the method of action when such a collision occurs. For example, the sentence “I will never love you” “not” in the verb simply negates the binary relationship of love between objects A and B. But it is reinforced by the word “never”. Most likely, this means that checking the absence of such a connection should be done not only in subsequent sentences of this text, but also in the models of the world of objects a and b, in order to check any text for the absence of the pair “a loves b”.

4. Finally, it is important to understand what part of the formulas of the algebra of statements can be expressed by texts with the structure described above, taking into account the action of certain reinforcing negatives.

Let’s go back to the language and texts. Let $t = s_1*...*s_n$ be some text. Denote by $s = s_i*...*s_{i+j}$ some part of the text, then $t = s_1*...*s_{i-1}*s*s_{i+1}*...*s_n = s_1*...*s_i*...*s_{i+j}*...*s_n$. In essence, s is several sentences of the text t , highlighted because they form a compound sentence

using the conjunction (union) “and”. This can be denoted by parentheses $t = s_1 * \dots * (s_i * \dots * s_{i+j}) * \dots * s_n$. These parentheses do not indicate a change in the order of actions, but are simply a sign that a certain part of the sentences is combined into one. At the same time, it is generally impossible to rearrange sentences inside parentheses. Let’s say (“it rained and I stayed home”) \neq (“I stayed home and it rained”).

Similarly, we will introduce square brackets into the text, which will mean splitting the text into several branches, depending on the number of sentences in square brackets. Highlighting with square brackets means that the sentences covered by these brackets form one complex sentence using the conjunction (union) “OR”. For example, $s_1 * [s_2 * s_3] * s_4$ means that after the sentence s_1 , the text is split into two chains: $s_1 * s_2 * s_4$ and $s_1 * s_3 * s_4$. In other words, we use square brackets to indicate that two strings of sentences are actually interpreted. The appearance of square brackets causes the interpretation process to branch, so that over time it may require significant resources. That is why when discussing the concept of a paragraph in the previous article, it was noted that it is important to find out the reasons for the completion of a paragraph, since most likely the branching of the interpretation should be completed within the paragraph.

The entered parentheses do not yet carry any logical load: this is only an element of technology in writing texts, which we will need in the future. We will also not consider other conjunctions of compound sentences here, because, first, we are interested in the logical component of texts, and, secondly, other conjunctions are usually reduced to the conjunctions “AND” and “OR” with the addition of some semantic coloring, which is not yet interested in us.

Before we formulate general semantic interpretation rules for the linguistic data model, we will prove one simple fact about the relationship between the linguistic model and its source data. Let be a space and a co-space together with a verb and a co-verb. Is it possible to restore the original relation S from this information? We define S' as follows: $xS'y$ if and only if there are categories X and Y such that $X^\Delta = Y$, $x \in X$, $y \in Y$. In other words, S' is obtained by combining Cartesian products of categories that are connected by a verb.

Theorem 1. $S = S'$.

Proof.

Let xSy . Then $y \in x^\Delta$ and $x \in x^{\Delta\nabla}$, and $x^{\Delta\nabla} x$ and x^Δ are connected by the verb, and, therefore, $xS'y$. Conversely, let $xS'y$, then there are categories X and Y such that $x \in X$, $y \in Y$, and $X^\Delta = Y$. Since $y \in \bigcap_{x \in X} x^\Delta$, then xSy .

It would seem that not all categories can be used to restore S , but only \cap -generators (or Σ -generators). Unfortunately, this is not the case. The problem is that the generators are defined to reconstruct the linguistic space, not the relation. In particular, Σ -generators may not even cover all the elements included in the relation (all kinds). This, however, does not apply to U -generators.

Investigation. The relation S can be restored only by using U -generators spaces and \cap -generators co-spaces, with the addition of some additional categories to the latter.

Proof.

For the proof, as in theorem 1, the categories $x^{\Delta\nabla}$ and x^Δ are used. It remains only to recall that, according to proposition 20 [3], the categories $x^{\Delta\nabla}$ and only they are U -generators. In this case, some co-categories of x^Δ may not be \cap -generators.

In conclusion of this article, taking into account theorem 1 and the considered example with logic, we formulate some ideas about the semantics of the text of narrative sentences from the point of view of R-linguistics.

1. If a proper name occurs in the text of a sentence for which there is a specific image (a tuple of features), then this tuple (or a reference to it) is stored in the RAM of meanings in the model.

2. If a category occurs in the text, then it corresponds to a link to the pattern recognition algorithm of this category in RAM. This means that we can determine the composition of features (parameters) and the set of their values for a given category, as well as restore the set of tuples from the values of features (parameters) that correspond to the category. If the text uses the plural (for example, “trees”), then the reference means that it refers to any tuples that will result in recognition of this category. If we are talking about a single object, then the reference means that this object must be identified (recognized) in this category (belong to this category). Using the values of features and parameters, from the identification algorithm (recognition) and tuples of individual objects for this category, you can create an image of the object. It will contain general features from the identification algorithm (recognition) and specific features, supplemented with parameters from the images of literal memorization. For example, the image of the “tree” should contain features that correspond to the identification (recognition) algorithm. The image of a particular tree can be obtained by adding to the “general image” the missing parameters from the literal images of trees stored in our memory. As a result, one person will have the image of a birch, and the other – an oak.

A category can have several identification algorithms. For example, the category “president” has a different identification algorithm in different countries, described in the constitution or in the regulations (for example, the president of the chess federation). These algorithms have common properties. It is on them that a link is obtained by the name of “president”. In other words, we get a shortened tuple of properties. If in the text we meet the category “president of Russia”, then here the reference is already given to one algorithm.

3. Variables should get values whenever possible. In the text, variables are usually used for the categories specified in the preceding sentences. For example, when you encounter the variable “I” in the text of this book, you do not hesitate to replace it with the category “author”. However, there are cases when a variable cannot be assigned a value. One of these cases will be discussed in the next article.

4. If two categories are connected by a verb in some affirmative sentence, then the categories connected by this verb are stored in RAM, and a reference is given in the model to the verb, which is represented by a generator of trajectories of properties modified by this verb. The noun and complement must have properties that are affected by the verb. If the verb is ternary, then it connects three categories. If there are several indirect additions in the sentence, they are also connected to this verb reference. In any case, using tuples of categories, a relation can eventually be constructed that has a verb name (Theorem 1). The circumstances in the sentence usually correct the operation of the trajectory generators.

5. For negative sentences, everything is the same as for affirmative sentences, with the only difference that the tuples of negative sentences are removed from the tuples of the preceding affirmative sentences.

We have sketched only the outlines of the formation of the semantics of the text within the framework of the linguistic model. There are certainly thousands of subtleties here, but we will not consider them yet, since a separate large work should be devoted to this. The purpose of this article is to give only a general idea at the level of language sentences. Now we leave the sentence level, because our main task will be to understand what is happening inside the sentences. This is what we will do in the next article in the series.

REFERENCES

1. Polyakov, O.M. (2020), "Linguistic data model for natural languages and artificial intelligence. Part 5. Introduction to Logic", *DISCOURSE*, vol. 6, no. 3, pp. 109–117. DOI: <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2020-6-3-109-117>.
2. Wittgenstein, L. (2017), *Logiko-filosofskii traktat* [Logisch-Philosophische Abhandlung], Kanon+, Moscow, RUS.
3. Polyakov, O.M. (2019), "Linguistic data model for natural languages and artificial intelligence. Part 1. Categorization", *DISCOURSE*, vol. 5, no. 4, pp. 102–114. DOI: <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2019-5-4-102-114>.

Information about the author.

Oleg M. Polyakov – Can. Sci. (Engineering) (1982), Associate Professor at the Department of Information Technology of Entrepreneurship, Saint-Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, 67 Bol'shaya Morskaya str., St Petersburg 190000, Russia. The author of 32 scientific publications. Areas of expertise: linguistics, artificial intelligence, mathematics, database design theory, philosophy. E-mail: road.dust.spb@gmail.com

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Polyakov O. M. Linguistic data model for natural languages and artificial intelligence. Part 5. Introduction to Logic // *DISCOURSE*. 2020. Vol. 6, № 3. P. 109–117. DOI: <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2020-6-3-109-117>.
2. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. М.: Канон+, 2017.
3. Polyakov O. M. Linguistic data model for natural languages and artificial intelligence. Part 1. Categorization // *DISCOURSE*. 2019. Vol. 5, № 4. P. 102–114. DOI: <https://doi.org/10.32603/2412-8562-2019-5-4-102-114>.

Информация об авторе.

Поляков Олег Маратович – кандидат технических наук (1982), доцент кафедры информационных технологий Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, ул. Большая Морская, д. 67, Санкт-Петербург, 190000, Россия. Автор 32 научных публикаций. Сфера научных интересов: лингвистика, искусственный интеллект, математика, теория проектирования баз данных, философия. E-mail: road.dust.spb@gmail.com

Критика гендерного языкознания с позиций феминистской лингвистики

Л. А. Ульяницкая✉

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»
им. В. И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия

✉ulianitckaia_liubov@mail.ru

Введение. Настоящее исследование посвящено раскрытию особенностей и основных задач феминистской лингвистики. Научной новизной является впервые проводимое противопоставление феминистской лингвистики и гендерного языкознания, выявление их принципиальных отличий, а также аргументов в пользу научной и практической значимости именно феминистских лингвистических исследований. Актуальность исследования объясняется категорической недостаточностью научных трудов по теме, а также все возрастающим интересом к изучению языка как антропоцентрического социокультурного феномена и увеличивающимся значением феминистского движения во всем мире.

Методология и источники. Теоретическую базу исследования составили отечественные и зарубежные работы по гендерным исследованиям (А. В. Кирилина, А. М. Кузнецов), по феминистским исследованиям в социологическом и социолингвистическом аспекте (Л. Н. Казнин, Р. Лакофф, М. Фуко), а также по феминистским лингвистическим исследованиям (Н. А. Антропова, Е. Горшко, О. А. Воронина, Е. Здравомыслова, А. В. Толстокорова). В качестве методов исследования следует рассматривать метод анализа и синтеза теоретического материала, метод опроса респондентов, метод анализа фактического материала.

Результаты и обсуждение. Последние научные результаты в области феминистской лингвистики все более выявляют несостоятельность попыток доказать существование «языка женщин» или «языка мужчин», и тем более гендерлекта. Речь идет исключительно о социокультурном феномене воспроизведения речевых шаблонов женского и мужского поведения в той или иной культуре. Феминистская лингвистика использует в своих исследованиях более глубокий подход и обращается непосредственно к системе языка, выявляет в нем гендерную асимметрию, выражаемую в языковой андроцентричности, предлагает стратегии по борьбе с языковым сексизмом, разрабатывает конкретные способы его устранения: создание гендерно нейтральных лексем, внедрение феминитивов, применение инклюзивного письменного языка. Это становится возможным лишь при условии проведения языковых феминистских реформ и осуществлении грамотного языкового феминистского планирования.

Заключение. Анализ достижений традиционного гендерного языкознания позволяет утверждать, что феминистские лингвистические исследования привносят в языковедение множество новых идей, имеющих особую ценность. Феминистская критика языка является прогрессивным направлением в современной лингвистике, обращает внимание на наиболее насущные языковые проблемы общества и предлагает пути их эффективного разрешения.



Ключевые слова: феминистская лингвистика, феминистская критика языка, языковая политика, андроцентризм, феминизм.

Для цитирования: Ульяницкая Л. А. Критика гендерного языкознания с позиций феминистской лингвистики // ДИСКУРС. 2021. Т. 7, № 2. С. 135–155. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-135-155

Конфликт интересов. О конфликте интересов, связанном с данной публикацией, не сообщалось.

Поступила 10.02.2021; принята после рецензирования 12.03.2021; опубликована онлайн 23.04.2021

The Critique of Gender Linguistics from the Perspective of Feminist Linguistics

Liubov A. Ulianitckaia✉

Saint Petersburg Electrotechnical University, St Petersburg, Russia

✉ulianitckaia_liubov@mail.ru

Introduction. The paper reviews features and main problems of feminist linguistics. The novelty of the study is an unparalleled take on feminist linguistics in contradistinction to gender linguistics; the identification of their fundamental differences as well as emphasizing arguments in favour of both scholarly importance and practical value of feminist linguistic studies. The relevance of the study is conditioned by the lack of academic papers concerning the subject; the growing interest in studying the language as an anthropocentric sociocultural phenomenon; and the increasing significance of the feminist movement world-wide.

Methodology and data sources. The theoretical foundation of the study constitutes Russian and foreign gender studies (works of A. V. Kirilina, A. M. Kuznetsov), feminist sociological and sociolinguistic studies (L. N. Kaznin, R. Lakoff, M. Fuko) as well as feminist linguistic studies (N. A. Antropova, E. Gorshko, O. A. Voronina, E. Zdravomyslova, A. V. Tolstokorova). The methods of the study include both analysis and synthesis of theoretical material; polling research; the analysis of the collected data.

Results and discussion. The latest results on feminist linguistics research are showing inadequacy of the attempts of proving the existence of either «women's language», «men's language», or genderlect. This is in fact entirely sociocultural phenomenon of the replicating women's and men's behavioral patterns in a particular culture, including the patterns of speech. Feminist linguistics uses a more in-depth approach in the studies and addresses the language system directly, identifying gender asymmetry that is evident in the androcentrism of a language; it also develops strategies against language sexism and suggests concrete ways of its elimination, such as the introduction of gender-neutral lexical units and feminine gender-specific job titles, the implementation of inclusive language. All of that is possible with feminist language reforms and appropriate feminist language planning.

Conclusion. An overview of conventional gender linguistics findings draws to a conclusion that feminist linguistic studies introduce lots of new ideas of a special value to linguistics. Feminist language critique is a progressive course of modern linguistics that draws attention to the most vital language issues of the society and suggests effective means of addressing them.

Key words: feminist linguistics, feminist language critique, language policy, androcentrism, feminism.

For citation: Ulianitckaia L. A. The Critique of Gender Linguistics from the Perspective of Feminist Linguistics. DISCOURSE. 2021, vol. 7, no. 2, pp. 135–155. DOI: 10.32603/2412-8562-2021-7-2-135-155 (Russia)

Conflict of interest. No conflicts of interest related to this publication were reported.

Received 10.02.2021; adopted after review 12.03.2021; published online 23.04.2021

Введение. Лингвистика в XX в., будучи наукой не только естественной, но и гуманитарной, стала во многом антропоцентрична, что позволило сформироваться целому ряду междисциплинарных направлений, изучающих не просто язык как самостоятельную закрытую систему, а непосредственную реализацию языка в человеческом общении. Теория коммуникации, теория дискурса, психолингвистика, социолингвистика, лингвокультурология, контактология – все эти дисциплины рассматривают актуализацию языка в той или иной коммуникативной ситуации и принимают во внимание, может быть даже в первую очередь, контекст коммуникации и ее интенцию. Язык стал довольно явно восприниматься важной составляющей при изучении человеческого взаимодействия, а главное, в нем увидели некий «маркер», показатель реальных отношений между коммуницирующими. Лингвокультурологи видят в языке закрепленные культурные коды, психолингвисты – индивидуальные психические процессы, а социолингвисты – взаимоотношения людей в обществе. В сферу исследований социолингвистики входит широкий ряд вопросов: от изучения социальных диалектов до понятия социальной идентичности, от формирования креольских языков до языковой политики, от проблем межкультурной коммуникации до гендерной лингвистики. Впрочем, последнее можно считать уже полностью сформировавшимся самостоятельным направлением в науке.

Предпосылок к возникновению идеи об обособленных «мужских» и «женских» исследованиях чего-либо в языке, казалось бы, не так много, но есть одна и, по-видимому, очень весомая. Естественное биологическое разделение на два пола – женский и мужской – зачастую заставляет ученых так или иначе обращаться к этому разделению в описании поведения, реакций, ценностных ориентиров или языковой картины мира объекта их исследования. Стадией «дополового» разделения окружающего мира можно было бы назвать стремление увидеть мир вокруг нас антропоморфным. Доказательством этому служит большое количество антропоморфных метафор, которые мы находим практически в любом языке (антропоморфная метафора считается базовой, основополагающей и универсальной). Примерами таких метафор в русском языке могут считаться: *ручка двери, носик чайника, ножка стола, подножье горы, глава государства, твердое тело, родственные языки, искусственный интеллект, эмбриональный вулкан, плакучая ива, пароходы дремлют, месяц улыбается* и т. д. Но в языке встречаются примеры, когда общей антропоморфности становится недостаточно, и в различных номинациях возникают разделения по мужскому и женскому полу. Разделение животных на особей женского и мужского пола в зависимости от репродуктивной функции по аналогии с человеком вряд ли покажется чем-то необычным, тогда как применение схожих принципов в ботанике уже начинает казаться менее естественным, хотя все же и связано с возможностью репродукции. Соответственно, есть мужские и женские растения, есть *пестики* и *тычинки*, есть *облепиха «мальчик»* и *облепиха «девочка»* и т. д. Это характерно для всех однодомных растений, которым необходим противоположный пол для размножения. Еще более занятным представляется экстраполяция человеческих половых различий на область за пределами фауны и флоры. Так, в технике используются термины *разъем «папа»* и *разъем «мама»*, *материнская плата*,

в поэтике – *мужская рифма* (стихотворная строка заканчивается ударным слогом) и *женская рифма* (ударение падает на предпоследний слог в строке).

Распространение категорий и законов биологии на понимание общественной жизни получило название *биологического детерминизма*. Наиболее распространенными школами этого направления стали: социальный дарвинизм, выдвигающий принципы естественного отбора в качестве определяющих факторов общественного развития; расово-антропологическая школа, заявляющая о решающем воздействии расовых различий на историю и культуру отдельных народов и общества в целом; фрейдизм – течение, апеллирующее в объяснении поведения прежде всего к половому инстинкту и инстинкту самосохранения; мальтузианство [1]. Словарь гендерных терминов в первую очередь обращает внимание на то, что биодетерминизм придает биологическому полу привилегированную значимость. В рамках этого течения именно биологический пол не просто определяет человека как женщину или мужчину, но и формирует ее/его гендерный образ. Биологические различия между полами рассматриваются как универсальная основа, которая имеет свое культурное продолжение в виде гендерных ролей в каждом обществе [2]. Здесь стоит обратиться к принципиальному отличию между понятиями «пол» и «гендер».

Категория *gender* была введена в понятийный аппарат науки в конце 60-х – начале 70-х гг. прошлого века для описания социальных, культурных, психологических аспектов «женского» в сравнении с «мужским», и эта категория была названа английским словом *gender*, чтобы избежать контаминации с понятием биологического пола *sex*. Под полом стали понимать естественно присущие женщине и мужчине различия, а гендер определялся как способ существования пола, совокупность социальных и культурных представлений о нем. Первоначальные работы в данной области возникли на Западе, и первые системные описания мужских и женских особенностей речи и языка были сделаны на базе языков германской и романской языковых групп. Отечественные исследователи заимствовали термин «гендер», хотя иногда встречается его синоним «социальный пол». Тем самым, с одной стороны, гендер относят к мыслительным конструктам или моделям, разработанным с целью более четкого научного описания проблем пола и разграничения его биологических и социокультурных функций. С другой стороны, гендер рассматривается как конструкт социальный, создаваемый обществом, в том числе и посредством языка [3, с. 17–18].

На этом этапе изложения наших взглядов на гендерные исследования и феминистскую лингвистику необходимо отметить, что при широком подходе к предмету разговора становится не столь важно, какой термин мы используем – «пол» или «гендер», если речь идет о якобы мужских или женских речевых особенностях, ведь в итоге все гендерные лингвистические исследования так или иначе сводятся к выявлению речевых особенностей женщин или мужчин. Безусловно, термин «гендер» является важным и смыслоразличительным в ряде гуманитарных наук: социологии, психологии, антропологии, но для лингвистики такое его понимание – это, скорее, дань междисциплинарному подходу к проблеме и выработанному понятийному аппарату. Из уважения к научному дискурсу и желания оставаться в его рамках в этой статье мы будем использовать термин «гендер», как это принято в подобного рода исследованиях. Заострять внимание на этом термине кажется более уместным, если речь идет об ЛГБТ-лингвистике или квир-лингвистике, где, действительно,

терминов «женщина» и «мужчина» становится недостаточно. В данной статье мы не будем рассматривать эти направления лингвистических исследований, не отрицая при этом их важности и актуальности.

Методология и источники. В исследовании мы опираемся на труды, посвященные гендерной и феминистской лингвистике таких авторов, как А. В. Кирилина [3], Н. А. Антропова [4], Е. Здравомыслова [5], А. М. Кузнецов [6], А. В. Толстокорова [7]. Также обращаемся к научным трудам, посвященным феминистским исследованиям в социологическом и социолингвистическом аспектах Л. Н. Казнина [8], Р. Лакофф [9], М. Фуко [10].

Работа выполнялась с применением общенаучных исследовательских методов, таких как анализ, обобщение и систематизация теоретической информации, анализ фактического материала. Также использовался метод опроса респондентов.

Отдельно необходимо отметить работы Е. Горшко [11] и О. А. Ворониной [12]. Их исследования представляются наиболее полными, актуальными и отвечающими идеологическим и научным воззрениям автора статьи.

Е. Здравомыслова и А. Темкина в предисловии к «Хрестоматии феминистских текстов» описывают общность позиций авторов, чьи тексты представлены в книге, по отношению к некоторым основным референциям [5]. Можно согласиться с двумя из этих референций и отметить, что настоящая статья относится к постлиберальному феминистскому дискурсу (утверждение равенства и безразличие мужского и женского субъектов, признание того, что политика либерального феминизма во многом улучшила положение женщин в мире, но ни в коем случае не подорвала основы гендерного устройства в обществе), а также, что дискурс статьи можно назвать постбобуарным, что отсылает нас к классической работе Симоны де Бовуар «Второй пол» (восприятие женского как иного; инакость женщины сводится к ее вторичности; женщина – объект, а не субъект; критика властного порядка, ориентированная на его изменение) [13].

Результаты и обсуждение. Как уже было указано, гендерная лингвистика за последние десятилетия оформилась в молодое, но самостоятельное направление. Подробно ознакомиться с историей становления этого направления, его основными этапами, учеными основоположниками и основоположницами можно в работах А. В. Кирилиной [3, 14], А. М. Кузнецова [6], О. А. Ворониной [12], М. В. Ласковой [15].

В качестве первых попыток к осмыслению взаимосвязи языка и понятия пола можно, разумеется, упомянуть античную языковую традицию, в которой формируется понятие грамматического рода. Однако следует отметить, что практически все исследователи сходятся в том, что интерес к гендерному фактору в языке зародился в недрах социолингвистики, и что гендерная лингвистика была в том числе впервые обозначена в работе Отто Эсперсена «Язык: его суть, происхождение и развитие» [16]. В ней автор посвящает целую главу вопросам языка и пола и описывает примеры из экзотических языков, показывающие, что в некоторых племенах женщинам категорически запрещалось использовать «мужские» речевые средства, и наоборот. Или же мужчинам разрешалось употреблять одни суффиксы, женщинам – другие и т. д. Работа Эсперсена относится к 1922 г., времени, когда формировалась гипотеза лингвистической относительности, разрабатываемая американскими антропологами и лингвистами Францем Боасом, Эдвардом Сепиром и Бенджамином Уорфом, которая в своей мягкой версии объясняет манеру функционирования

нашего мышления в зависимости от влияния языка, его лингвистических категорий (но также и некоторых других видов неязыкового поведения). Впрочем, уже в начале XX в. Ф. Маутнер изучал мужское и женское речевое поведение в различных социальных группах и соотносил гендерную вариативность в языке с социальными факторами [17]. Благодаря и упомянутому ученому 20-е гг. прошлого века принято считать расцветом американской антропологии: проводятся масштабные полевые исследования, в том числе и в русле гендерной лингвистики, и уже на принципиально междисциплинарной основе. Во второй половине XX в. наука все больше фокусируется на человеке. Происходит некий подготовительный, переходный период, и в 60-е гг. гендерное языкознание окончательно складывается под влиянием развивающейся социолингвистики, под воздействием формирующейся постмодернистской теории познания и, разумеется, в связи с подъемом феминистского движения. С 60-х по 90-е гг. выходит ряд определяющих для гендерной лингвистики работ М. Фуко [10], У. Лабова [18], М. Мид [19], Д. Таннен [20], Е. Гоффмана [21].

В современной науке выделяют три магистральных подхода к гендерным лингвистическим исследованиям: трактовка исключительно социальной природы языка женщин и мужчин, выявление тех *языковых различий, которые можно объяснить особенностями перераспределения социальной власти в обществе*; социопсихолингвистический подход, подразумевающий построение психолингвистических теорий *мужского и женского типов речевого поведения*; когнитивный аспект *различий в языковом поведении полов*, создание целостных лингвистических моделей когнитивных оснований языковых категорий [22]. В этой связи автору статьи представляется оправданным выступить с некоторой критикой гендерного языкознания, отметить очевидную неактуальность и продолжающееся однообразие исследований, а также недостаточность их реальной ценности для лингвистики и, более того, их возможную вредоносность для науки и социальной ситуации в целом.

Лингвистка А. В. Кирилина приводит довольно подробный обзор работ 1990-х гг., выполненных в ключе гендерной лингвистики. Приведем несколько примеров: «Употребление ненормативной лексики с позиции гендера», «Исследование особенностей преформации у мужчин и женщин», «Антропоцентричность семантики названий животных в связи с их полом», «Особенности отражения понятий “мужественность” и “женственность”», «Общение между мужчинами и женщинами в семье», «Тезаурус любовных романов», «Гендерные особенности речи депутатов» [3]. Из года в год эти исследования посвящаются закреплению сложившихся в языковой картине мира патриархальных устоев, языковых ущемлений женщин, гендерной асимметрии языковых номинаций. Все эти гендерные штудии продуцируют примерно одинаковые и не меняющиеся уже несколько десятилетий выводы. Так, О. Есперсен в своей работе пишет, что язык женщин примитивнее языка мужчин (основываясь на том, что женщины предпочитают эллиптические конструкции и паратакис, тогда как в речи мужчин чаще встречаются периоды и гипотаксис), а также что женщины более склонны к эвфемизмам и менее – к ругательствам и чаще остаются монолингвальными, а мужчины быстрее усваивают новый язык [16]. Работа Робин Лакофф «Язык и место женщины» описывает андроцентричную природу языка и отмечает, что для мужской речи характерны императивы, а для женщин ограничители (*I guess, sort of, kind of*), сверхвежливые формы, расчлененные вопросы, говорение метафорами, пустые прилагательные, гиперкорректная грамматика и произношения, недостаток чувства юмора, прямое

цитирование, особый лексикон, вопросительная интонация в декларативных контекстах, к типично женским тактикам речевого поведения она относит также уступчивость, кооперативность [9]. Д. Хомбергер отмечает, что женщины часто прибегают к уменьшительным суффиксам; для женщин типичны косвенные речевые акты; в их речи больше форм вежливости и смягчения, утверждения в форме вопросов, иллюкуция неуверенности при отсутствии самой неуверенности, в речевом поведении отсутствует доминантность, они умеют лучше слушать и сосредоточиться на проблемах собеседника; в целом речевое поведение женщин характеризуется как более гуманное [23]. М. Кей называет женский язык языком оправданий, а язык мужчин языком объяснений [24]. Хотя самым главным (и на самом деле единственным) выводом всех исследований речевых и языковых особенностей женщин и мужчин является вывод о воспроизведении речевых шаблонов под влиянием социокультурных норм, в которых воспитываются дети, под влиянием окружения и из-за существующих в обществе закрепленных паттернов и моделей женского и мужского поведения. Тем самым гендерные исследования речевых и языковых особенностей женщин и мужчин лишь «добавляют масла в огонь», создавая доказательную базу с примерами, подтверждающими эти различия, заставляя вращаться по кругу стереотипное восприятие языковых ролей и языкового поведения женщин и мужчин в обществе.

Так ли необходимо продолжать дескриптивные исследования речевых особенностей женщин и мужчин? Не актуальнее ли сконцентрироваться на феминистских вопросах языка, представляющихся, как будет показано далее, важными и своевременными? Весьма точно современная ситуация характеризуется цитатой Ричарда Докинза, известного атеиста и популяризатора науки, из его книги «Бог как иллюзия»: «...некоторые женщины-богословы – сторонницы феминизма, пытаюсь побороть историческую несправедливость, объявляют бога женщиной. Но, в конце концов, какая разница между несуществующим лицом женского или мужского пола? Возможно, однако, что в странной сфере переплетения богословия и феминизма реальность объекта становится менее существенной, чем его пол» [25]. Так и в отношении лингвистики, в частности гендерного языкознания, хочется задать подобным вопросом: в конце концов, какая разница, какие отличительные черты можно найти в речевом поведении у двух социальных конструктов? Язык изначально един, как едино сознание, и даже без обращения к структуралистским подходам в рассмотрении языка сложно представить, что язык вообще можно разделять на чей-то и чей-то. В гендерных языковедческих исследованиях мы видим очередной пример междисциплинарного слияния во имя самой лишь междисциплинарности. Возможно, для социологов и антропологов наборы языковых клише, приписываемых тому или иному гендеру, представляются важным звеном в цепи общегуманитарных исследований, но для лингвистики в исследованиях такого толка нет никакой пользы. Сложно представить, для чего могут послужить результаты гендерных штудий, кроме как для изготовления очередной главы в научно-популярном сборнике, названном в духе «язык – зеркало культуры». Единственным адекватным аргументом в пользу различий между женской и мужской речью является лишь факт, что женская гортань в среднем меньше, чем мужская, а голосовые связки короче, поэтому основная частота голоса у женщин выше, чем у мужчин, но даже это относится не к самому языку, а к просодике.

Интересно, что внутри самого направления между учеными нет единения по вопросам гендерных исследований, а главное – нет четкого разделения на гендерную и феминистскую лингвистику. Так, в статье Д. О. Добровольского и А. В. Кирилиной «Феминистская идеология в гендерных исследованиях и критерии научности» [26] предлагается критический разбор трудов зарубежных авторов в рамках рефлексии о методологических основах формирующейся новой науки (гендерной лингвистики), ее понятийном аппарате и методах исследования. Приведем цитату из этой статьи: «*Так, паремию для милого дружка и сережку из ушка К. Тафель относит к семантической группе “Внешность, физическая привлекательность”* [27, с. 172]. *Еще большее недоумение вызывает толкование этой поговорки: “Ценность, приписываемая серьге, отражает классический стереотип важности для женщины физической привлекательности и ее интеллектуальных предпочтений: женщины интересуются только своей внешностью и такими материальными вещами, как украшения и деньги”* [там же]. *На самом деле смысл поговорки, как показал нам опрос 84 носителей русского языка обоего пола, означает готовность к самопожертвованию. Примеры подобного рода толкований можно продолжить*». Недоумение вызывает и попытка авторов обоих исследований всерьез использовать фразеологический материал для выведения неких общих черт для положения женщины и мужчины в российском обществе (или, скорее, русскоязычном обществе). В данном случае мы склонны согласиться с критикой работы К. Тафель (выборкой послужили 40 русских паремий, на их основе делаются выводы об ущемлении прав женщины в российском обществе, которое обнаруживает все признаки патриархата), но не можем принять утверждений Д. О. Добровольского и А. В. Кирилиной.

Нами был проведен дополнительный опрос 59 носителей русского языка обоего пола на предмет толкования паремии «для милого дружка и сережку из ушка». Большинство респондентов и респонденток интерпретировали ее как метафору **щедрости** (33 объяснения паремии словосочетаниями: *ничего не жалко, ничего не жаль, ничего не пожалею, отдам самое дорогое*). Другими толкованиями были: **магическая** метафора (три объяснения паремии как совершение какого-то ритуала, обряда с дарением серьги или отдаванием ее, отказом от девичества и вступлением в замужнюю жизнь), **казаческая** метафора (три объяснения паремии казаческой традицией носить серьгу в левом ухе, если казак единственный сын у родителей, а в правом, если он является последним мужчиной в роду, и что вынуть серьгу из уха – это некий символ отказаться от семьи и пойти на войну, например, вместо своего товарища), **политическая** метафора (одно объяснение паремии как одаривание сокровищами из казны приближенных к властителю), метафора **угодничества** своему партнеру (три объяснения паремии как готовность пойти на уступки ради любимого, на изменения во внешности или внешнем виде). Однако последнее выделение по принципу угодничества можно было бы отнести и к метафоре **жертвенности/самопожертвования**, которая также встретилась в 16 интерпретациях паремии (выражена словосочетаниями: *отдать все, пожертвовать всем, отдать последнее, отдать последнюю рубашку, пожертвовать*). Также разделились мнения респондентов(ок) по поводу того, от чьего имени произносится эта поговорка: от имени **мужчины** (три объяснения через указание на то, что это казаческая поговорка, и через словосочетание *на все готов*), от имени **женщины** (16 объяснений паремии через слова и словосочетания: *любимому, для любимого*

го, готова одарить, возлюбленному, ради него, и через конкретные указания: со стороны женщины – мужчине, которого любит, девушка отдаст все за парня), **без указания от чьего имени** (40 объяснений паремии через нейтральные лексемы и словосочетания: для друга ничего не жалко, для своих, для близкого человека, для любимого человека). Однако именно этот пункт не столь очевиден для трактования, ведь респондентки(ы) могли подразумевать, например, отношения не в гетеросексуальной паре, а в гомосексуальной, тогда словосочетание «для любимого» могло бы означать обращение и от женского, и от мужского лица. Отдельного уточняющего вопроса по этому пункту не было. Приводим его результаты, скорее, для демонстрации языкового разнообразия в интерпретации паремии. 17 объяснений касались того, что эта паремия **про дружеские отношения** (другу, товарищу, хорошему другу, боевому товарищу), 15 объясняли эту паремию в рамках **романтических отношений** (любимому, любимый, возлюбленному, ради любви), 12 **не указывали на характер взаимоотношений** (дорогой человек, близкий человек, для другого человека, для своих, близкому, милому другу). Также мы обратили внимание на использование предлогов «для» и «ради» в ответах респондентов(ок). Предлог **ради** был использован 12 раз, а предлог **для** 28 раз, что говорит о том, что данная паремия воспринимается лишь меньшинством как некая жертва (срав.: я сделала это для тебя – я сделала это ради тебя). Анализируя полученные данные, а также выводы К. Тафель, Д. О. Добровольского и А. В. Кирилиной, можно прийти к утверждению, что закрепленные в какой-то исторический момент формы в языке не могут считаться показательными для описания актуальной ситуации, а также к подтверждению неправомерности интерпретации паремий как объективных показателей характерных черт женщин или мужчин, свойственных всем представительницам(ям) той или иной культуры.

Другой опрос был проведен в целях опровержения довольно сомнительного пассажа в статье А. М. Кузнецова «Феминизм и лингвистика: гендерные аспекты языка» [6], где, не давая ссылки на какие-либо конкретные исследования, лингвист утверждает, что в «русском языке есть специфические “женские выражения” (междометия, выражающие эмоции, эмоционально-оценочные слова типа *прелестный*, фразеологизмы типа *с ума сойти*) и специфические мужские (например, фразеологизмы *дать прикурить*, *будь здоров*, *дело дрянь*, *это вещь!*)». Двумя предложениями ранее ученый упоминал об исследованиях 1960–1970-х гг. (сама статья относится к 2005 г.), что вводит в некое замешательство и вызывает вопрос: идет речь о языковых особенностях прошлого века или этого?

Мы опросили 375 носителей русского языка обоих полов на предмет атрибуции того или иного выражения женщине или мужчине. Респондентам предлагалось отметить, какие утверждения они считают верными. Приводим список утверждений и количество отметок этих утверждений как верных:

«Использование выражения “с ума сойти” свойственно женщинам» – **143**.

«Использование выражения “с ума сойти” свойственно мужчинам» – **0**.

«Использование выражения “с ума сойти” свойственно всем носителям языка» – **231**.

«Использование выражения “дело дрянь” свойственно женщинам» – **5**.

«Использование выражения “дело дрянь” свойственно мужчинам» – **134**.

«Использование выражения “дело дрянь” свойственно всем носителям языка» – **222**.

Можно увидеть, что большинство респондентов(ок) не стали соотносить эти выражения с мужскими или женскими речевыми особенностями, а отметили их как свойственные

всем носителям(ьницам) языка. Это лишний раз доказывает, что гендерные исследования лишаются своей актуальности в современной повестке «язык и пол». Однако не станем отрицать, что процент тех, кто все-таки отнес выражение «с ума сойти» к женскому полу и «дело дрянь» к мужскому, довольно велик – 36–38 % и в том и в другом случае. Это указывает как раз на то, что многие пока еще являются заложниками(цами) «круговорота» предписаний того, как должны говорить лица женского и мужского пола, и продолжают следовать стереотипным характеристикам языка женщин и мужчин.

К. Уэст и Д. Зиммерман еще во второй половине XX в. отмечали, что феминность и маскулинность являются и процессом, и результатом постоянных повторений культурных практик, типичных для той или иной гендерной идентичности: жестикюляции, форм артикуляции, моды, походки, общественных норм поведения [12], а также речевого поведения. То есть то, что мы видим в языке, в контексте исследования гендерных речевых особенностей, есть не первопричина, а лишь результат воспроизведения навязываемых обществом установок и стереотипов. М. Мид еще в 1930-е гг. высказала идею о том, что нормативные модели феминности и маскулинности определяются, скорее, культурой, чем биологическим полом [19], и соответственно, все составляющие этой феминности или маскулинности, в том числе и язык, являются вторичными признаками, продиктованными социокультурной нормой. М. Фуко в своей работе «История сексуальности» определяет культуру как технологию власти, производящую в том числе и гендерные неравенства. Ученый отмечал, что биологический пол и тело находятся в сфере идеологического контроля, поскольку именно общество делит человеческие существа на мужчин и женщин (хотя биология не так однозначно бинарна), контролируя этот процесс посредством общественной морали, системы здравоохранения, законов о браке, возрасте вступления в половую жизнь, норм и законов [12].

В какой-то момент ученые так увлеклись собиранием гендерных речевых особенностей, что ввели в оборот термин «гендерлект» (по аналогии с социолектом) – постоянный набор признаков женской и мужской речи. Справедливости ради (и к нашему счастью) нужно отметить, что в последние годы исследования все убедительнее показывают, что говорить о гендерлекте неправомерно [28] и что различия в женской и мужской речи не проявляют себя облигаторно в любом речевом акте. Ряд зарубежных авторов, обобщая без преувеличения огромное количество исследований на материале европейских языков, приходят к мнению о невозможности сделать твердые выводы о неотъемлемых атрибутах мужской и женской речи [3]. Е. Маккоби и К. Джеклин обращают внимание на большую неясность и высокую степень противоречивости полученных результатов гендерных исследований [29]. С. Хиршауер показал, что весьма распространены ситуации и контексты, когда пол нерелевантен для общения, и предложил учитывать фактор «гендерной нейтральности» для ситуаций, где пол коммуникантов незначим [30].

Единственной заслугой гендерного языкознания можно назвать то, что оно стало неким катализатором для возникновения и развития феминистской лингвистики, которой было недостаточно заниматься дескрипцией языковых отличий, а нужно было шагнуть дальше, в область прикладного применения знаний о языке в условиях тотального неравенства полов и притеснения прав меньшинств.

Феминистская лингвистика зарождается в 60–70-е гг. прошлого века как одно из направлений гендерного языкознания. Ее возникновение связано с множеством факторов:

смена научной парадигмы и переход от структурализма к функционализму, развитие концепций постмодернизма, рассматривающего язык как формирующую основу окружающей нас реальности. Безусловно решающую роль в становлении феминистской лингвистики сыграл феминизм, который выступил в роли альтернативной философской концепции социокультурного развития [8]. Поскольку феминизм считается частью постмодернистской философии, его связь с языком вполне очевидна: наряду с представительницами(ями) феминистской лингвистики на гендерную асимметричность языка обращали внимание многие теоретики постмодернизма. По их мнению, язык воспроизводит картину мира с мужских позиций, а значит, он не только антропоцентричен, т. е. ориентирован на человека, но и андроцентричен, т. е. ориентирован на мужчину. Женский взгляд на мир при этом признается другим, отличным от нормы (т. е. от мужского взгляда), или игнорируется вовсе, что не могло не вызвать возмущения у феминистов(ок).

Все направления постмодернистской мысли признают языковую концепцию реальности, видя в том, что мы воспринимаем как реальность, социально и лингвистически сконструированный феномен, результат наследуемой нами лингвистической системы. Мир, утверждают они, познаваем только через языковые формы, следовательно, наши представления о нем не могут отразить реальность, которая существует за пределами языка. Эти представления могут быть соотнесены только с другими языковыми выражениями [31].

Некоторые ученые отмечают политическую ангажированность тех, кто занимается вопросами феминистской лингвистики [8], [26], но можно ли согласиться, что это стоит рассматривать в негативном ключе? Подобная ангажированность представляется преимуществом, потому что именно она заставляет ученых и активистов(ок) искать максимально практическое применение результатам проведенных исследований, а также предлагает рассматривать язык не как пассивный регистратор устоявшихся общественных стереотипов, а как активный инструмент борьбы с этими стереотипами. Какой практический смысл в бесконечном описании так называемых речевых особенностей женщин и мужчин? В теоретическом смысле такие исследования тоже вряд ли принесут много нового по перечисленным выше причинам.

Критика феминистской лингвистики в России также связана с недоверием к феминизму в целом и настороженным отношением к применению любой идеологии в науке, основываясь на печальном опыте идеологии советской эпохи и ее негативном отпечатке на некоторых научных направлениях в XX в. Интересной кажется и другая трактовка советской идеологии как аргумента в пользу существующей откровенной враждебности по отношению к феминизму и феминистским исследованиям в России. Речь о том, что в советские годы ввиду социалистической и коммунистической идеологий у женщин были права, и вопросы феминизма не стояли остро, чего не скажешь о Европе. Для сравнения перечислим некоторые страны и годы принятия в этих странах законов, позволяющих женщинам иметь избирательное право: Новая Зеландия – 1893 г., Финляндия – 1906 г., Норвегия – 1907 г., Дания – 1915 г., Россия – 1917 г., Германия – 1918 г., Нидерланды – 1919 г., Швеция – 1921 г., Испания – 1931 г. (но во время режима Франко это право было утеряно с 1936 г. по 1976 г.), Франция – 1944 г., Италия – 1944 г., Китай – 1947 г., Южная Корея – 1948 г., Швейцария – 1971 г., Саудовская Аравия – 2011 г. (де-юре – 2011 г., де-факто – 2015 г.) [32]. Также само по себе феминистское движение в России не столь сильно, как, например, в Германии, Швеции,

Франции и т. д.; соответственно, прежде повестка подобных исследований вовсе не ставилась. Как показал М. Фуко [10], дискурсивные практики, связанные с тематизацией пола, имеют в западноевропейской культуре давнюю традицию, и пол в ней относится к числу важнейших экзистенциальных параметров личности.

Основным направлением исследований в феминистской лингвистике, а также основным направлением феминистского лингвистического активизма является выявление гендерных асимметрий в системе языка, направленных против женщин, и предложение разных способов нивелирования патриархальных по своей сути стереотипов, зафиксированных в языке и навязывающих его носительницам(ям) мужскую картину мира. Другими словами, в основе феминистской лингвистики лежит феминистская критика языка (неслучайно эти два понятия иногда рассматриваются как тождественные), главная цель которой – выявление и устранение гендерных асимметрий в языке как проявлений женской дискриминации [4].

В противовес гендерным исследованиям речевых особенностей и традиционной фразеологии феминистская лингвистика обращает внимание непосредственно на сам язык, на его лексические, грамматические и синтаксические особенности, выявляет современные устойчивые сочетания слов, клише (вне зависимости от того, свойственно так говорить женщинам или мужчинам), свидетельствующие о наличии сексизма в языке (например: *Мужчины – это сильный пол. – It's a man's world (это мир мужчин).*) [33].

Феминистская лингвистика выделяет следующие черты языковой андроцентричности (под андроцентричностью или андроцентризмом (или в категорических заявлениях – фаллоцентричностью) языка понимают наличие в нем гендерной асимметрии в пользу мужчин): отождествление понятий «человек» и «мужчина» во многих языках; производность имен женского рода от мужских; применение имен мужского рода к референту-женщине осознается как допустимое и повышает ее статус, наоборот, номинация мужчины формой женского рода несет негативную оценку; механизм включенности и превращения мужского рода в средний/общий род; синтаксическое (не смысловое) согласование [6]. Начиная с 1980-х гг. было проведено множество исследований, подтверждающих наличие сексизма в языке на материале более чем 30 языков мира. Но несмотря на практически повсеместное превалирование патриархального устоя жизни и наличие андроцентричности во многих языках, степень ее варьируется в зависимости от социокультурного и политического контекстов той или иной страны.

В феминистской лингвистике выработались две основные стратегии устранения андроцентризма в языке: гендерная нейтрализация (т. е. создание/использование гендерно нейтральных слов) и гендерная спецификация (т. е. создание/использование феминитивов в ситуациях, когда речь идет о женщинах, вместо употребления для них наименований в мужском роде), ведь при гендерной асимметрии языка существительные и местоимения мужского рода часто используются как общие, гендерно нейтральные, хотя исследования доказывают, что такими они воспринимаются не всегда.

Реализовать эти стратегии возможно при помощи языковых реформ или языкового планирования (языковая реформа — это некое точечное изменение в языке, принятие конкретной реформы; языковое планирование или языковое строительство – это, скорее, ряд мер, необязательно на уровне законодательства, некая стратегия реализации общего вектора языковой политики, в данном случае феминистской языковой политики).

Как правило, языковые реформы действуют в двух направлениях: либо в сторону упрощения языка, либо в сторону языкового пуризма (языкового протекционизма), в первом случае язык что-то теряет, а во втором сохраняет и «охраняет», чтобы не потерять. Основными принципами феминистской языковой реформы являются обогащение языка и увеличение его разносторонности.

Что касается языкового планирования, то его принято разделять на три типа:

– статусное планирование занимается установлением, распределением или перераспределением статуса языка/языков/диалекта/диалектов между функциональными областями внутри общества [34];

– корпусное планирование относится к предписывающему вмешательству в форму языка. В отличие от статусного планирования, которым в основном занимаются управленцы и политики, корпусное планирование, как правило, является прерогативой лингвистов и академиков. Существует три традиционно признанных типа планирования корпуса: графизация, стандартизация и модернизация [35];

– планирование освоения языка, связанное с составлением и выпуском учебников, учебных пособий, словарей, разработкой принципов многоязычного обучения в школах, двуязычных программ обучения [36].

Очевидно, что феминистское языковое планирование относится ко второму типу и представляет собой прескриптивный подход к языку, т. е. это попытка установить правила, определяющие предпочтительное или правильное использование в языке. Примеров стран, в которых такое планирование было бы введено централизованно, катастрофически мало. Пожалуй, только Швецию можно привести в качестве примера страны, где достижение гендерного равенства является одной из важнейших государственных задач, реализуемой через разнообразные сферы человеческого взаимодействия, в том числе и через язык. Эта страна близка к достижению гендерного паритета благодаря равным услугам в области здравоохранения, образования, возможностей трудоустройства и щедрой политике отпусков по уходу за ребенком. Швеция практически полностью сократила разрыв в оплате труда мужчин и женщин (женщины получают 88 % от заработной платы мужчин) [37] и в общем рейтинговом списке стран по гендерному разрыву занимает 4-е место среди 153 стран, показывая результаты выше среднего в паритете своих граждан(ок) в политической сфере, сфере образования, экономике и здравоохранении (для сравнения: Российская Федерация занимает 81-е место) [38].

В других странах языковой феминистский активизм носил и продолжает носить, скорее, спорадический характер. Начиная с середины 1970-х гг. различные организации Британии стали издавать собственные руководства по корпоративным правилам лингвистической этики, а в 1977 г. Комиссия равных возможностей издала руководство по правилам рекламирования рабочих мест, разработанное на основании «Акта о дискриминации по признаку пола», принятого в 1975 г. В конце 1970-х гг. федеральное правительство Канады издало ряд документов, направленных на гендерную демократизацию обоих официальных языков страны (английского и французского). В 1984 г. федеральное правительство Австралии приняло специальный акт, направленный на устранение сексистских штампов в языке государственных документов. В Бельгии в 1987 г. был принят закон, запрещающий указание пола требуемых работников в официальных объявлениях о трудоустройстве,

а в 1994 г. было издано первое руководство по употреблению несексистского языка. 1990 г. отмечен принятием Комитетом министров Совета Европы «Рекомендаций об устранении сексизма из языка». В 1994 г. в Италии был издан «Гендерный словарь итальянского языка», а в новое издание «Словаря итальянского языка» в 1995 г. были включены женские формы названий для традиционно мужских профессий. Такие же процессы наблюдались в те же годы и в ряде других стран: Швеция, Испания, Китай, Япония, Греция, Россия, Украина, Литва. Во Франции в 1984 г. на основании правительственного декрета была создана комиссия по феминизации названий профессий [7].

В Германии уже в 1980 г. обнаружен документ «Директивы по избеганию сексистского употребления языка», а в 1993 г. немецким отделением ЮНЕСКО были изданы профеминистские рекомендации «Язык для обоих полов: директивы для несексистского употребления языка», в этом же году по поручению магистрата Франкфурта-на-Майне публикуется «Справочник по несексистскому употреблению языка в официальных текстах» [4].

Швейцарию также отмечают как стремящуюся к гендерному равенству в языке, но ситуация осложняется тем, что в стране четыре государственных языка. *Bulletin Suisse de Linguistique Appliquée* (Швейцарский бюллетень прикладной лингвистики) обратился к этому вопросу в 2000 г. в специальном выпуске, посвященном феминизации языка. В бюллетене была предпринята попытка критики языка этой страны путем создания составного образа всех языков в Швейцарии и того, как они взаимодействуют с полом [39].

В России на официальном уровне изменения, касающиеся феминистского языка, происходили последний раз в 1917 г., когда в языке появилось и закрепилось множество новых феминитивов: *активистка, революционерка, нэпманка, милиционерка, укладчица, грузчица, вагонищица, контролерша, физкультурница, спортсменка, атлетка, штангистка, шахматистка*. Сегодняшние обсуждения по поводу введения новых феминитивов или проведения каких-либо феминистских языковых реформ остаются уделом маргинальных обсуждений, провокационных выпусков блогеров и интервью с авторитетными лингвист(к)ами по этому поводу.

Несмотря на косность политических систем и их сопротивление феминистским преобразованиям в языке, в широкой общественности вопросы языка и, в частности феминистского языка, являются актуальными. Это может быть доказано тем, что в 2020 г. Ассоциация немецкого языка объявила *Gendersternchen* одним из 10 немецких слов года (речь о знаке *, используемом для образования гендерно нейтральных слов, например, *Alex ist ein*e Künstler*in* (Алекс – художник*ца)). В 2005 г. словом года стало *Bundeskanzlerin* (форма женского рода для обозначения женщины-канцлера, вследствие того, что Ангела Меркель стала первой женщиной, занявшей пост канцлера Германии). В США в 2015 г. словом года стало *they* (гендерно нейтральное местоимение единственного числа 3-го лица). В 2017 г. словарь Вэбстера назвал словом года *феминизм*, а в 2019 г. – уже упомянутое местоимение *they*.

Феминистская языковая активность разделяется и направлена на письменную и устную гипотетические нормы. Представляется, что прорабатывать устную и письменную нормы необходимо параллельно, как взаимодополняющие друг друга элементы. Ответить на вопрос о том, какую норму легче пролоббировать, довольно сложно. Впрочем, очевидным преимуществом письма перед устной речью является возможность использования

графических приемов, невозможных при произнесении слов. Существует несколько графических способов инклюзивного написания слова, например, круглые скобки: *un(e) ami(e)* (друг, подруга), *les travailleur(euse)s* (работник, работница); или косая черта *un/e ami/e*, *les travailleur/euse/s*, *un-e ami-e*, *les travailleurs-euses*; или уже упомянутый знак * в немецком языке. Официально такие формы письма еще нигде не зафиксированы, однако уже встречаются в текстах некоторых СМИ.

Инклюзивное письмо, равно как и использование феминитивов или гендерно нейтральных слов, помогает побороть так называемую женскую невидимость в языке. Повсеместное использование номинаций в мужском роде в случаях, когда обозначается смешанная группа (*преподаватели, учителя, художники*) или даже для номинации лица женского рода (*депутат, автор, дизайнер, мэр*), делает женщин невидимыми, непредставленными в языке, что скрывает их важность и значимость, например в различных профессиональных сферах, отвлекает внимание от самого факта их существования, ведь практически вся современная гендерная номенклатура отражает гендерную предвзятость. Существуют убедительные психолингвистические доказательства того, что при восприятии предложений, в которых используются лексемы в мужском роде, чаще думается о мужчинах, чем о женщинах (например: *when a student comes into the room, he should pick up a handout* (когда студент заходит в класс, он должен взять раздаточный материал); *mankind's great achievements* (великие достижения человечества); *это врач третьей категории, заслуженный учитель*). Это дает феминист(к)ам веские основания возражать против использования слов в мужском роде в качестве гендерно нейтральных или общих [40]. В *Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов* нет практически ни одной профессии в женском роде (за исключением таких, как няня или медицинская сестра) [41].

Стремление быть услышанными, увиденными и представленными в языке при помощи «собственного» слова в женском роде дает очередной повод для критики современных феминистов и феминисток. Им вменяется в вину, что они ушли в противоположную сторону от изначальных принципов феминизма, которые подчеркивали стремление к всеобщему равенству и единению, зиждились на том, что женщины хотели быть как мужчины. Теперь же женщины не хотят быть как мужчины, а хотят быть как женщины. Правомерность подобных заявлений спорна, ведь основной идеологией феминизма было и есть не желание женщины стать мужчиной, а стремление оказаться с ним наравне в социальном, экономическом и политическом плане.

Пока гендерные лингвистки(ы) пытаются охарактеризовать вторичное – речевые особенности, навязанные социумом и воспроизводимые его представительницами(ями), феминистские лингвистки(ы) обращают внимание на первичное – на саму систему языка, на необходимость деконструкции андроцентризма в языке, добиваются комфортной и благоприятной языковой среды для женщин, предлагают различные пути решения оскорбительной гендерной асимметрии языка. С одной стороны, для пафоса феминистского дискурса хотелось бы говорить о необходимости глобальных изменений в языке, чтобы оправдать столь сильное сопротивление в лице не только идеологически ангажированных патриархалов, но и обычных носителей и носительниц языка. Но приходится отметить, что речь идет, по сути, о совсем небольших изменениях с точки зрения самого языка, его

структуры, лексических и грамматических особенностей. В Большом академическом словаре русского языка насчитывается около 150 000 слов (и это только литературная норма), а в лингвистической феминистской повестке речь идет лишь о десятках слов и единицах грамматических добавлений, которые разнообразили бы язык и при этом улучшили бы жизнь половины населения планеты весьма качественно.

В современном лексиконе русского языка мы сталкиваемся с повсеместным использованием англицизмов – *лайкать, юзать, постить, зачекиниться, рандомно, по фасту, го*, не говоря уже о совершенно особом сленге тех, кто играет в компьютерные игры. Удивительно, но такие языковые формы не вызывают возмущения у большинства носителей и носительниц языка, как это происходит в случае с феминитивами. Это приводит к мысли о том, что, прикрываясь аргументами вроде «не надо портить язык», люди заявляют: «Мы не поступимся своими идеологическими позициями».

Заключение. Переоценить значимость феминистской лингвистики, как и всего феминистского движения в целом, вряд ли возможно, особенно в контексте российской действительности. Еще два года назад в отечественных СМИ (от консервативных до прогрессивных) вопросы о феминизме не считались достойной или важной темой, проблемы домашнего насилия не казались заслуживающими внимания широкой публики. Сегодня мы видим все больше примеров того, что вопросы о положении женщин в обществе не являются табуированной темой, хотя они все еще и находятся на стадии завоевывания своего места в политической и идеологической повестке. Например, громкое дело сестер Хачатурян заставило многих осознать необходимость принятия закона о домашнем насилии (который до сих пор у нас не принят). Несмотря на возрастающую (пусть и медленно) гражданскую осознанность, со стороны правящей элиты отклика пока не наблюдается. Недавно принятые поправки в Конституцию пропагандируют традиционные семейные ценности как единственно верные, что подразумевает создание препятствий на пути к свободному выбору женщины от развода до аборта. Показательным является дело активистки, художницы Юлии Цветковой, осужденной по статье за распространение порнографии и гей-пропаганды за изображение обнаженного женского тела, но получившей у широкой общественности поддержку: за Юлию вступились такие видные общественные деятели культуры, как Людмила Петрушевская, Владимир Познер, Рената Литвинова, Ксения Собчак, Максим Матвеев, Евгений Стычкин [42]. 16 апреля 2020 г. Юлия получила международную награду «Index on Censorship» в номинации «Искусство», став второй награжденной россиянкой после Анны Политковской, а 23 ноября в ВВС опубликовали список ста самых влиятельных и вдохновляющих женщин 2020 г., включив в него и Юлию Цветкову [43]. Также в ноябре она получила премию «Женщины года–2020» журнала Glamour [44].

Феминистская лингвистика на пути реализации своих стратегий встречает множество сложностей и препятствий, связанных с общественно-политическим наследием прошлого. В противопоставлении с традиционным гендерным языкознанием феминистские лингвистические исследования приобретают в наше время особую ценность, как практическую, так и теоретическую. Интерес к изучению языка как антропоцентрического социокультурного феномена неуклонно возрастает, а феминистское движение во всем мире становится все более значимым. Все чаще феминистские тенденции становятся предметом языковой политики.

Можно ли увидеть взаимосвязь между социальной дискриминацией женщин и дискриминацией женщин в языке? Безусловно. Не станем превозносить теорию о том, что язык определяет мышление, но то, что мы мыслим категориями языка (или языков) – это неоспоримый факт, ведь как сложно бывает иногда пересказать сон, в котором мы видели что-то фантастическое, такое, для чего в языке нет слов, и как легко объяснить любую свою мысль или описать всем известный предмет или явление, прибегая к существующим и общепонятным языковым средствам.

У феминистской лингвистики и феминистской языковой политики есть активно формирующееся настоящее и, с уверенностью можно заявить, твердое, надежное будущее, которое позволит отстоять права женщин в языковой сфере, и рядом с уже написанной *history* появится *herstory*, тем более что этимологически этот корень восходит к праиндоевропейскому *wid – «знать, видеть», уже нашедшему в рамках гендерного языкознания свое особое выражение: в английском языке как «witch» и «witcher», а в русском – как «ведьма» и «ведьмак». Феминистская языковая активность обогатит современные языки новыми элементами, для объяснения которых арсенала традиционного гендерного языкознания будет недостаточно, и лингвистики(ы) обратятся к новым прогрессивным направлениям, в числе которых феминистская лингвистика займет, на наш взгляд, одно из важнейших мест.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Крапивенский С. Социальная философия. 1996. URL: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/krapiv/01.php (дата обращения: 20.01.2021).
2. Шевченко З. В. Биодетерминизм // Словарь гендерных терминов. URL: <http://a-gender.net/biodeterminizm.html> (дата обращения: 20.01.2021).
3. Кирилина А. В. Гендерные исследования в лингвистике и теории коммуникации. М.: Российская политическая энциклопедия, 2004.
4. Антропова Н. А. К вопросу реформирования современного немецкого языка под воздействием феминистской критики языка // Филология: научные исследования. 2015. № 4. С. 292–301. DOI: 10.7256/2305-6177.2015.4.17404.
5. Хрестоматия феминистских текстов. Переводы / под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. URL: http://cisr.pro/files/publ/Xrest_fem_texts.pdf (дата обращения: 20.01.2021).
6. Кузнецов А. М. Феминизм и лингвистика: гендерные аспекты языка // Человек: образ и сущность. 2005. № 1 (16). С. 165–186.
7. Толстокорова А. В. Гендерно-чувствительная реформа языка как элемент глобальной социальной политики: опыт международного женского движения // Журн. исследований социальной политики. 2005. Т. 3, № 1. С. 87–110.
8. Казнин Л. Н. Гендерная теория в социальном знании // Вестн. СПбГУ. 2009. Сер. 12. № 4. С. 71–77.
9. Lakoff R. Language and Woman's Place. N. Y.: Harper and Row, 1975.
10. Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / пер. с фр. С. Табачниковой. М.: Магистериум; Касталь, 1996.
11. Электронный сборник научных работ Е. Горшко // Текстология.ru. URL: <http://www.textology.ru/razdel.aspx?id=17> (дата обращения: 20.01.2021).
12. Воронина О. А. Конструирование и деконструкция гендера в современном гуманитарном знании // Вестн. Пермского ун-та. Сер. Философия. Психология. Социология. 2019. № 1. С. 5–16. DOI: 10.17072/2078-7898/2019-1-5-16.

13. Beauvoir S. *The second sex* / Transl. by C. Borde, Sh. Malovany-Chevallier. N. Y.: Vintage books, 2010. URL: https://www.academia.edu/32540858/1949_simone_de_bauvoir_the_second_sex_pdf (дата обращения: 20.01.2021).
14. Кирилина А. В. *Гендер: лингвистические аспекты*. М.: Институт социологии РАН, 1999.
15. Ласкова М. В. *Грамматическая категория рода в аспекте гендерной лингвистики: дис. ... д-ра филол. наук / РГЭУ (РИНХ). Ростов-на-Дону, 2001.*
16. Jespersen O. *Language, its nature, development and origin*. London: Allen & Unwin, 1922.
17. Mauthner F. *Beiträge zu einer Kritik der Sprache*. Stuttgart: Cotta, 1921.
18. Labov W. *Sociolinguistic patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972.
19. Mead M. *Male and female: a study of sexes in a changing world*. N. Y.: William Morrow & Co, 1949.
20. Tannen D. *Gender and discourse*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
21. Goffman E. *Interaktion und Geschlecht*. Frankfurt am Main: Campus, 1994.
22. Колосова О. А. *Когнитивные основания языковых категорий: на материале современного английского языка: дис. ... д-ра филол. наук / МГУ. М., 1996.*
23. Homberger D. *Männersprache – Frauensprache: Ein Problem der Sprachkultur? // Muttersprache*. 1993. Vol. 193. P. 89–112.
24. Key M. *Male/Female Language*. Metuchen, N. Y.: The Scarecrow Press, 1975.
25. Докинз Р. *Бог как иллюзия*. М.: КоЛибри, 2008.
26. Добровольский Д. О., Кирилина А. В. *Феминистская идеология в гендерных исследованиях и критерии научности // Гендер как интрига познания*. М.: Рудомино, 2000. URL: <http://www.owl.ru/library/002t.html> (дата обращения: 20.01.2021).
27. Tafel K. *Die Frau im Spiegel der russischen Sprache*. Wiesbaden: Harassowitz, 1997.
28. Samel I. *Einführung in die feministische Sprachwissenschaft*. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1995.
29. Maccoby E. E., Jacklin C. N. *The Psychology of Sex Differences*. Stanford, CA: Stanford University Press, 1974.
30. Hirschauer St. *Dekonstruktion und rekonstruktion. Plädoyer für die Erforschung des Bekannten // Feministische Studien*. 1993. Vol. 2. P. 55–68.
31. Кирилина А. В. *Гендерные исследования в зарубежной и российской лингвистике (философский и методологический аспекты) // Общественные науки и современность*. 2000. № 4. С. 138–143.
32. *Когда женщины получили право голоса в разных странах мира // Locals*. URL: <https://locals.md/2018/kogda-zhenshhinyi-poluchili-pravo-golosa-v-raznyih-stranah-mira-karta/> (дата обращения: 20.01.2021).
33. Горшко Е. *Гендерная проблематика в языкознании*. URL: <http://www.owl.ru/win/books/articles/goroshko.htm> (дата обращения: 20.01.2021).
34. Edwards J. *Language, Prestige, and Stigma // Contact Linguistics*. 1996. Vol. 1. P. 703–709.
35. Ferguson G. *Language Planning and Education*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006.
36. Liddicoat J. A., Baldauf B. R. *Language Planning in Local Contexts: Agents, Contexts and Interactions // Language Planning and Policy: Language Planning in Local Contexts*. 2008. P. 3–17. DOI: 10.21832/9781847690647-002.
37. *Gender equality in Swedeen*. URL: <https://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/> (дата обращения: 20.01.2021).
38. *Global gender gap report 2020 // World Economic Forum*. 2020. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf (дата обращения: 20.01.2021).
39. *Реформа феминистского языка*. URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Feminist_language_reform (дата обращения: 20.01.2021).
40. *Feminist Philosophy of Language // Stanford Encyclopedia of Philosophy*. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-language/> (дата обращения: 20.01.2021).

41. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. URL: <http://okpdtr.ru/> (дата обращения: 20.01.2021).
42. Старцева М. Порнография – арест Юлии, а не ее рисунки. В чем суть дела художницы Юлии Цветковой и почему оно важно для всех // Горизонтальная Россия. 2020. 27 июня. URL: <https://7x7-journal.ru/articles/2020/06/27/pornografiya-arest-yulii-a-ne-ee-risunki-v-chem-sut-dela-hudozhnicy-yulii-cvetkovej-i-pochemu-ono-vazhno-dlya-vseh> (дата обращения: 20.01.2021).
43. Активистка Юлия Цветкова вошла в список самых влиятельных женщин мира // Радио Свобода. 2020. 24 нояб. URL: <https://www.svoboda.org/a/30966931.html> (дата обращения: 20.01.2021).
44. Женщины 2020 // Glamour. URL: <https://www.glamour.ru/woty2020/woty2020> (дата обращения: 20.01.2021).

Информация об авторе.

Ульяницкая Любовь Александровна – кандидат филологических наук (2019), доцент кафедры иностранных языков Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), ул. Профессора Попова, д. 5, Санкт-Петербург, 197376, Россия. Автор более 30 научных публикаций. Сфера научных интересов: языковая политика, социолингвистика, теория языковых контактов, лингвистическая интерференция. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0163-3243>. E-mail: ulianitckaia_liubov@mail.ru

REFERENCES

1. Krapivenskii, S. (1996), *Sotsial'naya filozofiya* [Social philosophy], available at: https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/krapiv/01.php (accessed 20.01.2021).
2. Shevchenko, Z.V., "Biodeterminism", *Slovar' gendernykh terminov* [Dictionary of gender terms], available at: <http://a-z-gender.net/biodeterminizm.html> (accessed 20.01.2021).
3. Kirilina, A.V. (2004), *Gendernye issledovaniya v lingvistike i teorii kommunikatsii* [Gender studies in linguistics and communication theory], Russian political encyclopedia, Moscow, RUS.
4. Antropova, N.A. (2015), "To the question of reforming the modern German language under the influence of the feminist criticism of the language", *Philology: scientific research*, no. 4, pp. 292–301. DOI: 10.7256 / 2305-6177.2015.4.17404.
5. *Khrestomatiya feministских текстов. Perevody* [Reader of feminist texts. Translations] (2000), in Zdravomyslova, E. and Temkina, A. (eds.), Dmitrii Bulanin, SPb., RUS, available at: http://civr.pro/files/publ/Xrest_fem_texts.pdf (accessed 20.01.2021).
6. Kuznetsov, A.M. (2005), "Feminism and linguistics: gender aspects of language", *Chelovek: obraz i sushchnost'* [Human: image and essence], no. 1 (16), pp. 165–186.
7. Tolstokorova, A.V. (2005), "Gender Sensitive Reform of Language as an Element of the Global Social Policy: Experience of International Woman's Movement", *The Journal of Social Policy Studies*, vol. 3, no. 1, pp. 87–110.
8. Kaznin, L.N. (2009), "Gender theory in social science", *Bulletin of St. Petersburg State University*, ser. 12, no. 4, pp. 71–77.
9. Lakoff, R. (1975), *Language and Woman's Place*, Harper and Row, N.Y, USA.
10. Foucault, M. (1996), *Volya k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti* [The Will to Truth: Beyond Knowledge, Power and Sexuality], Transl. by Tabachnikova, S., Magisterium, Castal, Moscow, RUS.
11. "Electronic collection of scientific works by E. Gorshko", *Tekstologiya.ru*, available at: <http://www.textology.ru/razdel.aspx?id=17> (accessed 20.01.2021).
12. Voronina, O.A. (2019), "Construction and deconstruction of gender in modern humanitarian knowledge", *Bulletin of Perm University. Philosophy. Psychology. Sociology*, no. 1, pp. 5–16. DOI: 10.17072/2078-7898/2019-1-5-16.

13. Beauvoir, S. (2010), *The second sex*, Transl. by Borde, C. and Malovany-Chevallier, Sh., Vintage books, N.Y., USA, available at: https://www.academia.edu/32540858/1949_simone_de_beauvoir_the_second_sex_pdf (accessed 20.01.2021).
14. Kirilina, A.V. (1999), *Gender: lingvisticheskie aspekty* [Gender: linguistic aspects], Institute of Sociology RAS, Moscow, RUS.
15. Laskova, M.V. (2001), "Grammatical category of gender in the aspect of gender linguistics", Abstract of Dr. Sci. (Philol.) dissertation, RSUE, Rostov-on-Don, RUS.
16. Jespersen, O. (1922), *Language, its nature, development and origin*, Allen & Unwin, London, UK.
17. Mauthner, F. (1921), *Beiträge zu einer Kritik der Sprache*, Cotta, Stuttgart, DEU.
18. Labov, W. (1972), *Sociolinguistic patterns*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, USA.
19. Mead, M. (1949), *Male and female: a study of sexes in a changing world*, William Morrow & Co, N.Y., USA.
20. Tannen, D. (1996), *Gender and discourse*, Oxford University Press, Oxford, UK.
21. Goffman, E. (1994), *Interaktion und Geschlecht*, Campus, Frankfurt am Main, DEU.
22. Kolosova, O.A. (1996), "Cognitive foundations of language categories: on the material of modern English", Abstract of Dr. Sci. (Philol.) dissertation, MSU, Moscow, RUS.
23. Homberger, D. (1993), "Männersprache – Frauensprache: Ein Problem der Sprachkultur?", *Muttersprache*, vol. 193, pp. 89–112.
24. Key, M. (1975), *Male/Female Language*, The Scarecrow Press, Metuchen, N.Y., USA.
25. Dawkins, R. (2008), *Bog kak illyuziya* [God as an illusion], CoLibri, Moscow, RUS.
26. Dobrovolskii, D.O. and Kirilina, A.V. (2000), "Feminist ideology in gender studies and scientific criteria", *Gender kak intriga poznaniya* [Gender as the intrigue of cognition], Rudomino, Moscow, RUS, available at: <http://www.owl.ru/library/002t.html> (accessed 20.01.2021).
27. Tafel, K. (1997), *Die Frau im Spiegel der russischen Sprache*, Harassowitz, Wiesbaden, DEU.
28. Samel, I. (1995), *Einführung in die feministische Sprachwissenschaft*, Erich Schmidt Verlag, Berlin, DEU.
29. Maccoby, E.E. and Jacklin, C.N. (1974), *The Psychology of Sex Differences*, Stanford University Press, Stanford, CA, USA.
30. Hirschauer, St. (1993), "Dekonstruktion und rekonstruktion. Plädoyer für die Erforschung des Bekannten", *Feministische Studien*, vol. 2, pp. 55–68.
31. Kirilina, A.V. (2000), "Gender studies in foreign and Russian linguistics (philosophical and methodological aspects)", *Social sciences and modernity*, no. 4, pp. 138–143.
32. "When women gained the right to vote around the world", *Locals*, available at: <https://locals.md/2018/kogda-zhenshhinyi-poluchili-pravo-golosa-v-raznyih-stranah-mira-karta/> (accessed 20.01.2021).
33. Gorshko, E., *Gendernaya problematika v yazykoznanii* [Gender issues in linguistics], available at: <http://www.owl.ru/win/books/articles/goroshko.htm> (accessed 20.01.2021).
34. Edwards, J. (1996), "Language, Prestige, and Stigma", *Contact Linguistics*, vol. 1, pp. 703–709.
35. Ferguson, G. (2006), *Language Planning and Education*, Edinburgh University Press, Edinburgh.
36. Liddicoat, J.A. and Baldauf, B.R. (2008), "Language Planning in Local Contexts: Agents, Contexts and Interactions", *Language Planning and Policy: Language Planning in Local Contexts*, pp. 3–17. DOI: 10.21832/9781847690647-002.
37. *Gender equality in Sweden*, available at: <https://sweden.se/society/gender-equality-in-sweden/> (accessed 20.01.2021).
38. "Global gender gap report 2020" (2020), *World Economic Forum*, available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf (accessed 20.01.2021).
39. *Reforma feministского yazyka* [Reform of the feminist language], available at: https://ru.qaz.wiki/wiki/Feminist_language_reform (accessed 20.01.2021).
40. "Feminist Philosophy of Language", *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, available at: <https://plato.stanford.edu/entries/feminism-language/> (accessed 20.01.2021).

41. *Obshcherossiiskii klassifikator professii rabochikh, dolzhnostei sluzhashchikh i tarifnykh razryadov* [All-Russian Classifier of Workers' Professions, Employee Positions and Wage Grades], available at: <http://okpdtr.ru/> (accessed 20.01.2021).

42. Startseva, M. (2020), "Pornography is Yulia's arrest, not her drawings. What is the essence of the case of the artist Yulia Tsvetkova and why is it important for everyone", *Gorizonta'naya Rossiya*, 27 June, available at: <https://7x7-journal.ru/articles/2020/06/27/pornografiya-arest-yulii-a-ne-ee-risunki-v-chem-sut-dela-hudozhnicy-yulii-cvetkovej-i-pochemu-ono-vazhno-dlya-vseh> (accessed 20.01.2021).

43. "Activist Yulia Tsvetkova entered the list of the most influential women in the world", *Radio Svoboda* [Radio Liberty], available at: <https://www.svoboda.org/a/30966931.html> (accessed 20.01.2021).

44. "Women 2020", *Glamour*, available at: <https://www.glamour.ru/woty2020/woty2020> (accessed 20.01.2021).

Information about the author.

Liubov A. Ulianitckaia – Can. Sci. (Philology) (2019), Associate Professor at the the Department of Foreign Languages, Saint Petersburg Electrotechnical University, 5 Professor Popov str., St Petersburg 197376, Russia. The author of more than 30 scientific publications. Area of expertise: language policy, sociolinguistics, language contacts, language interference. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0163-3243>. E-mail: ulianitckaia_liubov@mail.ru

В редакцию журнала «ДИСКУРС» необходимо представить:

- по e-mail discourse@etu.ru либо на электронном носителе:
 - электронную копию статьи, подготовленную согласно разделам «Правила оформления текста статьи» и «Структура научной статьи»;
 - каждый рисунок отдельным файлом в формате тех редакторов, в которых они были подготовлены, согласно правилам оформления. Размещение рисунка в электронной копии статьи не освобождает от его представления отдельным файлом;
 - сведения об авторах (на русском и английском языках) (1 экз.);
- документы на листах формата А4 (по 1 экз.):
 - распечатку рукописи, подписанную всеми авторами (объем статьи 20 000–40 000 знаков, включая пробелы). К публикации принимаются статьи на русском и английском языках;
 - рекомендацию кафедры (подразделения) к опубликованию (следует указать предполагаемую рубрику);
 - сопроводительное письмо (только для авторов, не работающих в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»).

Правила оформления текста статьи

Текстовый редактор – Microsoft Word версии не ниже 2003 г.

Формат бумаги – А4.

Параметры страницы: поля: верхнее 2.75 см, правое и левое по 2.25 см, нижнее 2.5 см; верхний колонтитул 1.7 см, нижний колонтитул 2 см.

Для создания *формул* используется редактор MathType.

Текст статьи: объем до 1 п. л. (20 000–40 000 знаков, включая пробелы), шрифт «Times New Roman» 12 pt; выравнивание по ширине; междустрочный интервал «Множитель 1.15»; автоматическая расстановка переносов.

Текст в таблицах печатается через одинарный интервал, шрифт «Times New Roman»; основной текст 10 pt, индексы 8 pt, подындексы 6 pt. Нумерационный заголовок содержит слово «Таблица» и ее номер арабскими цифрами. Номер и заглавие таблицы указываются на русском и английском языках.

Рисунки в электронном виде и подписи к ним создаются в черно-белом виде средствами Word или других программ [CorelDRAW, Visio, Adobe Illustrator, Excel (с предоставлением оригинала рисунка в электронном виде)]. Качество рисунков и фотографий (в форматах .jpg, .tif) должно быть не менее 300 dpi. На каждый рисунок и таблицу в тексте статьи необходимо дать ссылку. Каждый рисунок и таблица, если в статье их содержится более одного, должны быть пронумерованы (например: рис. 1, рис. 2, табл. 1, табл. 2).

Описание содержания рисунка, а также введенных на нем обозначений следует приводить в основном тексте статьи. Подпись под рисунком содержит его номер и название на русском и английском языках. Буквенные обозначения фрагментов рисунка ставятся под фрагментом перед нумерационным заголовком; в тексте ссылка на фрагмент ставится после нумерационного заголовка через запятую (например: рис. 1, *a*).

Структура научной статьи

Авторам рекомендуется придерживаться следующей структуры статьи:

• *Заголовочная часть:*

- УДК (выравнивание по левому краю);
- авторы (перечень авторов – ф. и. о. автора(-ов) полностью, инициалы ставятся перед фамилиями, после каждого инициала точка и пробел; инициалы не отрываются от фамилии, если авторов несколько – ф. и. о. разделяются запятыми);
- место работы каждого автора и почтовый адрес организации. Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов из одной организации дается ее наименование, а затем приводятся список авторов, относящихся ко второй организации, наименование второй организации и т. д.;
- название статьи;
- аннотация – 200–250 слов, характеризующих содержание статьи;
- ключевые слова – 5–7 слов и/или словосочетаний, отражающих содержание статьи, разделенных запятыми;

- текст статьи;
- приложения (при наличии);
- список литературы (библиографический список);
- справка об авторах.

Англоязычная часть (по порядку расположения структурных элементов и оформлению соответствует русскоязычной части статьи):

- авторы (Authors);
- место работы каждого автора (Affiliation). Необходимо убедиться в корректном (согласно уставу организации) написании ее названия на английском языке. Перевод названия возможен лишь при отсутствии англоязычного названия в уставе. Если авторы относятся к разным организациям, то после указания всех авторов из одной организации дается ее наименование, затем приводятся список авторов, относящихся ко второй организации, наименование второй организации и т. д.;
- название (Title);
- аннотация (Abstract);
- ключевые слова (Keywords);
- список литературы (References);
- справка об авторах.

Авторство и место в перечне авторов определяется договоренностью последних. При примерно равном авторском вкладе рекомендуется алфавитный порядок. Если авторов несколько, необходимо указать контактного автора по работе редакции со статьей.

Название статьи должно быть информативным, четко отражать ее содержание в нескольких словах. Хорошо сформулированное название – гарантия того, что работа привлечет читательский интерес. Следует помнить, что название работы прочтет гораздо больше людей, чем ее основную часть.

Аннотация представляет собой краткое описание содержания изложенного текста. Она должна отражать актуальность, постановку задачи, пути ее решения, результаты и выводы. Рекомендуется содержание аннотации представить в структурированной форме согласно структуре самой статьи: Введение (Introduction), Методология и источники (Methodology and sources), Результаты и обсуждение (Results and discussion), Заключение (Conclusion).

В аннотации не следует приводить ссылки и сноски, упоминать источники, использованные в работе, пересказывать содержание отдельных параграфов, упоминать цифры и формулы.

При написании аннотации необходимо соблюдать особый стиль изложения: избегать длинных и сложных предложений, излагать мысли максимально кратко и четко, составлять предложения только в настоящем времени и только от третьего лица.

В русскоязычном издании *Abstract* является для иностранных читателей основным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по авторскому резюме оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на нее ссылку, открыть дискуссию с автором, запросить полный текст и т. д. Текст резюме должен быть связным и информативным; целесообразно при написании резюме использовать Past Indefinite и Present Perfect Tenses. Рекомендуемый объем – 200–250 слов.

Ключевые слова – набор слов, отражающих содержание текста в терминах объекта, научной отрасли и методов исследования. Рекомендуемое количество ключевых слов/фраз – 5–7, количество слов внутри ключевой фразы – не более 3.

Текст статьи структурируется в определенной последовательности: Введение (Introduction), Методология и источники (Methodology and sources), Результаты и обсуждение (Results and discussion), Заключение (Conclusion).

При необходимости авторы могут вводить дополнительные разделы, например *Обзор литературы* и т. п.

Благодарности – выражается признательность коллегам, которые оказывали помощь в выполнении исследования или высказывали критические замечания в адрес статьи. Однако необходимо заручиться согласием тех, кого планируете поблагодарить.

Источник финансирования – указываются источники финансирования (гранты, совместные проекты и т. п.).

Соблюдение этических стандартов – раздел необходим в том случае, если проводились опыты с участием животных или людей. Подробнее: <http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/ethics-statements/>

Конфликт интересов – авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи. Например: «Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов». Если конфликт интересов возможен, то необходимо пояснение (см. <http://pleiades.online/ru/authors/guidlines/ethics-statements/>)

Возможен раздел *Информация о вкладе авторов* (по желанию указывается, какая часть работы при подготовке и написании статьи выполнена конкретным автором).

Приложения – при их наличии.

Библиографический список включает:

– заголовок «Список литературы»;

– библиографическое описание источника с порядковым номером ссылки на него по тексту статьи, подряд начиная с первого, выполненное по ГОСТ Р 7.0.5–2008.

В ссылках на материалы конференций обязательно указание даты и места их проведения; при ссылках на статьи в сборниках статей обязательно приводятся номера страниц, содержащих данный материал. Во всех случаях, когда у цитируемого материала есть *цифровой идентификатор* Digital Object Identifier (DOI), его необходимо указывать в самом конце библиографической ссылки. Проверять наличие DOI статьи следует на сайте <http://search.crossref.org/> или <https://www.citethisforme.com>.

References (стиль Harvard): для зарубежных баз данных приводится полностью отдельным блоком, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники. Если в списке литературы есть ссылки на иностранные публикации, то они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите. В *References* совершенно недопустимо использовать российский ГОСТ 7.0.5-2008. Библиографический список представляется с переводом русскоязычных источников на латиницу. При этом применяется транслитерация по системе BSI (см. <http://ru.translit.net/?account=bsi>). Онлайн-помощник оформления библиографии (только статьи из газет или журналов): <http://publishing-vak.ru/clearance-bibliography.htm>

Авторская справка содержит: фамилию, имя, отчество (полностью) автора, ученую степень (год присвоения), ученое звание (год присвоения), должность по основному месту работы; указывается количество научных публикаций автора; сфера научных интересов (несколько слов, словосочетаний); e-mail; контактный телефон. Также требуется включать идентификационный номер исследователя ORCID (Open Researcher and Contributor ID), который отображается как адрес вида <http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx>. При этом важно, чтобы кабинет автора в ORCID был заполнен информацией об авторе, имел необходимые сведения о его образовании, карьере, публикациях.

Перечень основных тематических направлений журнала

Философия (по научным специальностям):

- 09.00.01 – Онтология и теория познания;
- 09.00.03 – История философии;
- 09.00.04 – Эстетика;
- 09.00.05 – Этика;
- 09.00.07 – Логика;
- 09.00.08 – Философия науки и техники;
- 09.00.11 – Социальная философия;
- 09.00.13 – Философская антропология, философия культуры;
- 09.00.14 – Философия религии и религиоведение.

Социология (по научным специальностям):

- 22.00.01 – Теория, методология и история социологии;
- 22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и процессы;
- 22.00.05 – Политическая социология;
- 22.00.06 – Социология культуры;
- 22.00.08 – Социология управления.

Языкознание (по научным специальностям):

- 10.02.04 – Германские языки;
- 10.02.19 – Теория языка;
- 10.02.21 – Прикладная и математическая лингвистика.

Рукописи печатаются бесплатно.

Технические вопросы можно выяснить, написав на адрес discourse@etu.ru

Редакторы: *Н. В. Кузнецова, М. И. Попова,
Е. А. Ушакова*
Компьютерная верстка *Е. А. Орловой*

Editors: *N. V. Kuznetsova, M. I. Popova,
E. A. Ushakova*
DTP Professional *E. A. Orlova*

Подписано в печать 23.04.21. Формат 60 × 84 1/8.
Бумага офсетная. Печать цифровая. Гарнитура «Times New Roman».
Уч.-изд. л. 20,8. Печ. л. 20,0. Тираж 300 экз. (1-й завод 1–150 экз.). Заказ 46.
Цена свободная.

Signed to print 23.04.21. Sheet size 60 × 84 1/8.
Educational-ed. liter. 20,8. Conventional printed sheets 20,0. Number of copies 300.
Printing plant 1–150 copies. Order no. 46.
Free price.

Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
197376, С.-Петербург, ул. Проф. Попова, 5. Тел. / факс: +7 (812) 346-28-56

ETU Publishing house
5 Professor Popov Str., St Petersburg 197376, Russia
Tel./Fax: +7 (812) 346-28-56